



ЮНОСТЬ





А. МОРДАНЬ.

Матери посвящается.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ

3/1979

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРАВДА“
МОСКВА

март (286)

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН
В. И. АМЛИНСКИЙ
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ
В. Н. ГОРЯЕВ
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора)
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
Р. Ф. КАЗАКОВА
К. В. КОВАЛЬДЖИ
К. Ш. КУЛИЕВ
Г. А. МЕДЫНСКИЙ
А. С. ПЬЯНОВ
(ответственный секретарь)
В. А. ТИТОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101524, ГСП,
МОСКВА,
И-8,
УЛИЦА ГОРЬКОГО,
№ 32/1
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
251-32 83

АНАТОЛИЙ КОРОТЕНЬКОВ,

депутат Верховного
Совета СССР



4 марта состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Среди вновь избранных депутатов — прославленный сталевар, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, лауреат Государственной премии СССР Анатолий Романович Коротеньков. Он живет в небольшом подмосковном городе Электросталь, работает на электрометаллургическом заводе имени И. Ф. Тевосяна. Завод — первенец советской металлургии, его сталеплавильный цех, где ныне работает Коротеньков, дал первую сталь в октябре 1917 года. Ныне завод «Электросталь» — один из главных поставщиков для нашей промышленности сталей и сплавов со специальными свойствами. Рабочие предприятия по праву гордятся тем, что каркасы звезд Московского Кремля сделаны из стали, выплавленной в заводских цехах. Но главная гордость — люди, рабочий класс — кузнецы, прокатчики, машиностроители, сталевары. Электросталь молода: всего сорок лет назад бывший поселок Затишье получил статус города. Молоды и люди, умножающие его трудовую славу.

Мы публикуем беседу нашего корреспондента с ровесником города, депутатом Верховного Совета СССР, сталеваром Анатолием КОРОТЕНЬКОВЫМ.

Фото Б. МЕЩЕРЯКОВА.



Анатолий Романович, эти выборы в Верховный Совет — первые после принятия новой Конституции СССР. Как это обстоятельство, по-вашему, отразится на депутатской деятельности? Приходилось ли вам до этого работать в Советах? Я имею в виду, каким опытом вы располагали к моменту избрания в Высший законодательный орган страны?

— Ну, прежде всего изменилось само название: Советы народных депутатов. Смысл, вкладываемый в эти слова, отражает те внутренние процессы, которые происходят в нашем обществе, его дальнейшую демократизацию, постоянное сближение классов и социальных групп — рабочих, крестьян, интеллигенции. За примерами ходить далеко не надо, взять хотя бы наш сталеплавильный цех: и образовательный и культурный уровень рабочих мало чем отличается от уровня инженеров, служащих «конторы», как мы по старинке называем административные службы.

Два года назад я был избран депутатом городского Совета. Работал в комиссии по промышленности. Так что определенный опыт имеется. Но все-таки от местного Совета до Верховного — дистанция огромная.

Справлюсь ли я со своими депутатскими обязанностями? Конечно, я понимаю, что до сих пор, будучи партгруппоргом, депутатом городского Совета, я принимал на себя немалую ответственность. Теперь мера этой ответственности неизмеримо больше. Будет трудно. И еще тут важно не испортить отношения с товарищами, не считать себя личностью исключительной. А такие случаи, чего греха таить, бывают. В свое время В. И. Ленин очень точно определил эту болезнь, дав ей хлесткое название «комчванство». Авторитет не дается на веки вечные, его надо завоевывать каждый день, каждый час. Вот такой «программы» я постараюсь придерживаться.

— Вы сейчас говорили о постоянном поддержании авторитета рабочего человека. А вот молодому человеку, только что пришедшему в производственный коллектив, надо сначала завоевать этот авторитет. Расскажите, пожалуйста, как складывалась ваша трудовая биография?

— На заводе «Электросталь» я вначале работал вальцовщиком, потом перешел в сталеплавильный цех, стал канавщиком. Есть в металлургическом производстве такая профессия. Канавщик — это человек, который готовит сталеразливочную канаву. Всего месяцев семь поработал. Больше меня тянуло к электроплавильным печам. Ходил, присматривался, очень хотелось стать сталеваром. Написал даже соответствующее заявление. Старшим мастером тогда работал Иван Павлович Солодихин. Заметил он мою склонность, тягу к сталеварскому ремеслу. В один прекрасный день подходит и говорит: «Мы подготовили приказ — переводим тебя в подручные сталевара». Так все и началось. Ну, по существу, стал я тогда учеником подручного. Сначала я работал на печи у Ивана Сорокина. А потом меня перебрали на печь № 1, к Виктору Ивановичу Егорову. За семь лет работы подручным мне посчастливилось поучиться у всех сталеваров нашей смены. Так что к тому времени, как я стал сталеваром, я мог выбрать из опыта многих мастеров самое лучшее. Нужно было только всем этим правильно распорядиться и «выплавить» свой стиль, свой почерк.

Но главная моя опора — это тозарищи по бригаде. Сергей Никандрович Ермонов — мой первый подручный. Человек немолодой, спокойный, выдержанный, кавалер ордена Трудовой славы. Он общественный конструктор нашего цеха, очень много полезного сделал для усовершенствования и рационализации многих механизмов, технологии плавки. Второй подручный, Виктор Гудков, — человек молодой. Он у нас еще до армейской службы начинал работать, отслужил, вернулся в цех.

Горячий, энергичный парень, с задором. Так что два моих подручных как бы дополняют и уравнивают друг друга. Приятно работать в таком составе. Не только наша бригада, но и весь коллектив смены давно уже стали для меня родными. Мой нынешний авторитет сталевара следует поделить на весь наш коллектив — подручных, крановщиков, мастеров, инженеров. Ведь он создается их помощью, участием, знаниями. Об этом я советую помнить каждому молодому человеку, начинающему свою трудовую жизнь.

— Вы стали лауреатом Государственной премии СССР за 1977 год. За что была присуждена эта высокая награда?

— Я думаю, здесь были учтены не только производственные показатели нашей бригады, но и та инициатива, с которой мы выступили еще в 1972 году: «Вчера — рекорд, сегодня — норма». С той поры это начинание широко распространилось по всей стране. Этому способствовала поддержка газеты «Правда», на страницах которой было рассказано о начале нами движения. Как же расшифровать девиз соревнования «Вчера — рекорд, сегодня — норма»?

Если вернуться на шесть-семь лет назад и вспомнить то положение, которое сложилось на нашем заводе, то надо сказать, что оно было далеко не блестящим. Конечно, и заводские инженеры и металлурги ведущих институтов страны работали над внедрением новых технологических процессов на нашем заводе. Но партийная организация обратилась и к нам — сталеварам, прокатчикам, кузнецам: все ли внутренние резервы используются на рабочих местах, достаточно ли производительны мы работаем?

Мы собрались бригадой. Прикидывали, взвешивали свои возможности. Обратились к нашим цеховым экономистам. Совместными усилиями выбрали самые лучшие показатели на своей печи по производительности и по качеству за один из месяцев минувшего года.

И вот этот месяц стал для нас ориентиром: ежедневно нужно было давать сталь и качеством не ниже и количеством не меньше, чем в тот рекордный месяц. И в течение года мы держали производительность на выбранном за ориентир уровне. Конечно, отклонения были и в ту и другую сторону, но среднегодовая производительность выросла значительно. А через год мы повторили всю процедуру: то есть опять взяли за норму показатели рекордного месяца.

Если бы такого рода обязательства принимались только в нашей бригаде, проку было бы немного. А когда по такому принципу стал работать целый завод, повышение производительности и качества сказалось весьма ощутимо. Ну, вот хотя бы такой факт. В то время, когда мы выступили со своей инициативой, плановое задание на пятитонную сталеплавильную печь составляло 11 тонн в смену. Сейчас план на печь увеличился до 14,5 тонны стали.

По-видимому, резервы роста выработки, качества

неисчерпаемы. Находятся всегда возможности не только выполнять план, но и перевыполнять его.

— Анатолий Романович, «Юность» выписывают люди разного возраста, но главную часть нашей читательской аудитории составляет молодежь. Вам постоянно приходится работать с молодыми, делиться с ними своими профессиональными знаниями, опытом общественной работы. Но, вкладывая свой профессиональный и нравственный «капитал» в подрастающее поколение, люди старшего возраста вправе ждать от него эффективной отдачи. Что вы по этому поводу можете сказать нашим молодым читателям?

— Видимо, привлекательность нашей работы и в том, что она трудна. Вот, знаете, есть такая поговорка: «Пошел по легкому пути». Говорят эти слова с оттенком презрения, говорят их о человеке, не сумевшем стать на путь преодоления трудностей. А я убежден, что напряженная работа, постоянные испытания закаляют характер человека.

Сейчас наш ПТУ дает и среднее образование. Ребята приходят в цех эрудированные, они разбираются не только в технических вопросах, но и имеют широкий кругозор. Очень многие сразу же начинают учиться в вечернем техникуме или в институте. Причем это вызвано не стремлением перейти на инженерно-техническую должность, а действительной потребностью производства: сегодня для сталевара среднетехническое образование не роскошь, а естественная необходимость.

Нельзя уже считать работу сталевара только физической. Очень много приходится думать. А кроме того, я не чувствую себя просто исполнителем. На мне лежит ответственность: дать плавку высокого качества, быстро и экономично. Приходится считать каждую минуту, каждый киловатт-час электроэнергии, каждый килограмм ферросплавов. Конечно, люди есть разные. Встречаются и такие, кто старается работать «от» и «до». Все дело тут, по-моему, в том, насколько любишь свою профессию. А если любишь, то просто не можешь работать плохо.

Огромное влияние на молодых, на воспитание у них любви к своему делу оказывают окружающая среда, коллектив, в котором они начинают свою рабочую дорогу. На нашем заводе молодые попадают в хорошую атмосферу товарищества, взаимовыручки. Таких прославленных сталеваров, как Герон Социалистического Труда Павел Иванович Абашкин или Владимир Иванович Корягин, всегда отличали не только высокое профессиональное мастерство, но и высокие человеческие качества. Таким людям по плечу воспитывать учеников, которые сумеют в дальнейшем превзойти своих учителей.

Мне минуло сорок лет. Вроде бы не так уж много. А с другой стороны, по нашим сталеварским меркам — десять лет до пенсии осталось. Приходится оглядываться на пройденный путь, подводить кое-какие итоги. И, поверьте, самое радостное — видеть достойных учеников. Работает в нашем цехе Николай Сергеевич Зайцев. Он был у меня первым подручным, сейчас сталевар. И прямо надо сказать, у нас с ним серьезное соревнование. Порой он начинает обходить меня. И это закономерно.

Ученик, превзойди учителя! В этом залог постоянного развития нашего общества, неизменного поступательного движения вперед.

Беседа вел Мэрг ГРИГОРЬЕВ



Рисунок В. ГОРЯЕВА.



АГНИЯ
БАРТО



ПОДРОСТКИ, ПОДРОСТКИ...

Мысли грустные

Нагрубил вчера я маме,
Хлопнул дверью я,
Нет доверья между нами,
Нет доверия.

Я проснулся одинокий,
Вспомнил мамины упреки:
Я ее родное чадо,
Про меня все знать ей надо,
Почему неоткровенен!
Нет ли где в душе разлада!

Откровенничать не стану,
Зря надеется!
Откровенничать не стану,
Не младенец я!

И нарочно я туману
Напускаю,
Нынче маму
До души не допускаю.

Я проснулся одинокий,
Мысли грустные,
С горя выучил уроки,
Даже устные.

О рыцарстве

— Люблю я в старых книжках рыться,
Где чуть не каждая страница
О том, как благородный рыцарь
Своей прекрасной даме предан,—
Сказал парнишка за обедом.

Люблю я в старых книжках рыться,
И сам в душе я тоже рыцарь:
Я за прекрасной дамой следом
Ходил бы с шарфом или с пледом.

Из книги «Все время разные...»

Я за нее — в огонь и в воду!..
Я лучше стал бы ей в угодю.

— Постой, сынок,— вздохнула мать.
Сидел он рядом с мамой.—
Никак не мог бы ты признать
Меня прекрасной дамой!

Без названия

В почетном карауле
Стояли комсомолки.
Вздыхнули...
Приумолкли.

И лишь одна девчонка
С замысловатой стрижкой
Была спокойна слишком:

Конечно, жаль солдата,
Погибшего за нас,
Но он погиб когда-то,
А мы живем сейчас.

Как видно, ей казаться —
При чем же здесь она!!
Ее же не касалась
Далекая война...

Ей погрустить бы малость,
Погоревать бы мапость,
Молчанье храня
У Вечного огня.

Март — апрель

Был лес как лес,
В глаза не лез,
Белеп зимой в сторонке,
Но вдруг открылся
Этот лес
Задумчивой девчонке.

Она бродила там везде,
Но это было летом,
А нынче лес сверкнул в воде,
Где он стоит раздетым,
Как будто в озере большом
Стоят березы нагишом.

В сиянье солнечных лучей
Березы — тысячи свечей
Вдруг сразу заблестели,
И льет сверкающий ручей
С вершины каждой ели.

С промокшей варежкой в руке
Стоит девчонка на пенке,
Не вымолвит ни слова
И смотрит, смотрит снова.

Был пес как лес,
В глаза не лез
Но он поведал ей тайком,
Что он уже разбужен
И что березы босиком
Идут к весне по лужам.

Недоразумение

Сергей о чувстве власти
Заговорил со мной,
Что он уже отчасти
Добился чувства власти,
Но не простой ценой.
Я поняла: он власти
Добился надо мной.

— Ну ладно, ну и что же,—
Сказала я Сереже,—
Но ты имей в виду:
Я не ханжа, не плакса,
Но никогда без загса
Я замуж не пойду.
Сказала неудачно,
Я вижу и сама...
А он кричит: — Чудачка,
Ты что, сошла с ума!!
Я говорю о счастье
Не о таком,—
О чувстве власти
Над станком.

Молчалив я

Зря вздыхала ты и охала,
Повторяла вновь и вновь:
— Это все кругом да около,
Это вовсе не любовь.

Я в словах своих не ловок,
Молчалив я, на беду,
Для любви формулировок
Подходящих не найду.

Вот в лесу бы очутиться,
Помолчать наедине,
Чтоб на ветке пела птица
Нам с тобой. Тебе и мне.

Девичий форум

Собрался девичий форум
На скамейке у ворот.
И кричат девчата хором:
— Совершим переворот!

— Понапрасну столько дней
Мы равнялись на парней!
Парень девушке в лицо
Скажет глупое слово,
Нам обидно, между прочим.
Но зачем-то мы хохочем.

— Мы старались быть на равных —
Никаких движений плавных!
Мы ходили руки в брюки,
Даже дрались в эти дни!

— А не то умрешь со скуки,
Мы остались бы одни!

— Нет, девчонки, вы не правы!
Я такой даю совет:
Мы должны ходить, как павы,
А за нами парни вслед.

Собрался девичий форум
На скамейке у ворот.
И кричат девчата хором:
— Совершим переворот!
Согласиться все решили,
Неизвестно, от души ли!

Двое

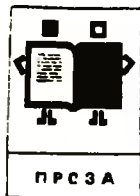
В весеннем кружеве
Аллея...
Они молчат,
От счастья млея.

И вдруг она
Поспешно шепчет:
— Ты обними меня
Покрепче,
Пусть позавидует
Лариска!
Ну, обнимай!
Она уж близко,
А ты стоишь,
Как невлюбленный!

— Показ устроить
Для Ларисы!
Ты что готовишься
В актрисы!! —
Он восклицает
Уязвленный.
Он хочет скрыть
Свою обиду:
— Я непонятливый,
Тупой:
Тебе любовь
Нужна для виду!
Ну, хочешь, я
На площадь выйду
Тебя обнять
Перед толпой!!

☆☆☆

Если в сердце неурядица,
Надо верить — все уладится,
И нередко так случается,
Незаметно все смягчается.
Вот подчас горюет девица,
На любовь и не надеется,
А любовь сама появится,
Никуда она не денется.



ЭЛЬЧИН

РАССКАЗ

ТУМАН ШУШУ ОКУТАЛ

«Шуша — 1800 метров над уровнем моря, Давос — 1560, Теберда — 1330, Дилижан — 1285, Абастумани — 1250, Кисловодск — 950»

Досна перед зданием шушинского санатория.

Туман Шушу окутал,
Пришла ко мне надежда,
Ты не исчезнешь утром,
Потому что ты — надежда

Из «Душевной тетради» местного поэта Хусаметдина Аловлу

Мелодия кеманчи¹, рожденная длинным смычком хромого Дадаша, звучала сегодня как-то особенно в прозрачном вечернем воздухе. В этой мелодии было что-то от светлого журчания родников, от мягких прикосновений цветов и трав, от очень отдаленного звона цикады. Большая голова хромого Дадаша на длинной, как у жирафа, шее раскачивалась в такт движениям его руки, а з печальных черных глазах с длинными ресницами отражалось, как в зеркале, то, о чем пела кеманча.

Мелодия кеманчи, разливавшаяся в этот августовский вечер по двору шушинского санатория, затронула и чувствительные струны сердца Хусаметдина Аловлу, и он впервые в своей жизни принялся сочинять стихи на русском языке, глядя при этом на голубоглазую Марусю Никифорову. Маруся смотрела куда-то мимо Хусаметдина Аловлу, а он задержал взгляд на ее плечах, покрытых белым шерстяным платком с вывязанными цветами, на ее полных, таких белых руках, которые она сложила на груди; он был поражен в самое сердце. Так и родилось это четверостишие.

С последним звуком кеманчи хромого Дадаша Хусаметдин Аловлу, попросив слова у затейника Садыха-музллама, ведущего культурно-массовую работу среди отдыхающих, вышел на середину площадки и, не сводя глаз с Маруси Никифоровой, прочитал:

Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

Но Марусины глаза были устремлены все так же не на Хусаметдина Аловлу. Слушая кеманчу хромого Дадаша, она думала о том, что ее младшая сестра Василиса, впервые в жизни поехавшая на тамбовский базар продать урожай с приусадебного участка, не сможет сделать все как следует: вдруг Василису обманут, обведут вокруг пальца или еще что случится, вот из-за всех

Рисунок
М. ЛИСОГОРСКОГО.

¹ Кеманча — струнный музыкальный инструмент.

этих мыслей и были так далеки голубые глаза Маруси Никифоровой.

Конечно, Хусаметдин Аловлу, выпускник финансового училища в Агдаме, а ныне счетовод шушинского колхоза Халфали, отдыхающий этим августом в санатории и без памяти влюбившийся в чистенькую, аккуратную, беленькую, как хлопок, Марусю Никифорову, не мог угадать, о чем думает девушка, и вот, испытывая большое удовольствие от собственного творчества, он еще раз прочитал:

я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

— У этого болвана других слов будто и нет: «Очень хорошо, очень хорошо...» — передразнила сидевшая на балконе с вязаньем Гюлендам-нене; чтобы лучше увидеть, что происходит на танцплощадке, она приподняла рукой очки, потом, улынувшись Джаванширу, спросила: — А чего же ты, детка, не идешь на танцы?

Хусаметдин Аловлу убрался наконец с середины танцплощадки, аккордеон Гюльмаммеда заиграл свое знаменитое танго, и люди начали танцевать, постепенно заполняя площадку; отдыхавшие в санатории девушки танцевали друг с другом, местные парни, каждый вечер приходившие в санаторий, также образовывали пары, и вот тут-то, под множеством завистливых взглядов, Хусаметдин Аловлу приблизился к Марусе и, слегка поклонившись, пригласил ее на танец. Марусины голубые глаза наконец-то обратились на Хусаметдина Аловлу, и она приняла приглашение смуглого парня с черными усиками. Он был чуть ниже ее ростом.

— Ой, не могу! — сказала Гюлендам-нене и, смеясь, покачала головой. — Комедия! — Она еще раз взглянула с балкона вниз и снова спросила у Джаваншира: — Что ж ты не идешь танцевать, э? Не дорос еще? — Гюлендам-нене любила иногда пошутить, поддеть внука; он же обычно не лез за словом в карман и отвечал ей тем же, но сегодня, в этот августовский вечер в шушинском санатории, Джаваншир почему-то разозлился на старуху.

— Хватит! — сказал он. — Хватит уже! — Потом пошел в комнату и, как был в брюках, сел на кровать, откинулся на подушку и заложил руки за голову.

Все его такие прекрасные планы на это лето полетели ко всем чертям; была бы его воля, Джаваншир не сидел бы сейчас с бабушкой в шушинском санатории и не пил бы простоквашу, а ходил бы по Москве с Акшином и Орханом. Акшина, правда, тоже не отпустили, а Орхан поехал и теперь со своим приятелем Фазилем разгуливал себе по улице Горького.

Прошлым летом, закончив первый курс университета, Джаваншир хотел поехать куда-нибудь один, как взрослый человек; ему не разрешили, сказали — пока рано, в будущем году поедешь. В общем, миновал год, он уже перешел на третий курс, но, когда снова завел речь об этом, отец с матерью стали опять его отговаривать, потом мать заплакала, отец разозлился — короче, его одного опять не пустили. И теперь, лежа на кровати в шушинском санатории и вспоминая все это, Джаваншир вновь пережил тот вечер, он вспомнил, что вдруг заплакал во время разговора о поездке в Москву, когда отец и мать вместе уперлись, как говорится, «сунули ноги в один башмак» и сказали «нет». Даже теперь он покраснел от стыда, снова представив себе всю эту картину, как он, уже та-

кой взрослый парень, не сумев сдержаться, плакал, словно маленький, и, плача, кричал:

— До каких пор я буду для вас ребенком? Что вы все меня за руку водите?

Нечего и говорить, веселого мало... Некоторое время после того случая Джаваншир почти не разговаривал ни с отцом, ни с матерью, да и они, в свою очередь, глаза отводили, потом отец предложил: пусть Джаваншир один поедет в Шушу, в санаторий, у них на работе была путевка, а Джаваншир сначала сказал, что никуда он не поедет, что все лето будет на даче в Бузовнах, но, подумав день-другой, решил, что Шуша все же лучше, чем Бузовны, и согласился; после этого отец с матерью стали его упрощать: мол, возьми с собой и бабушку, пусть поедет отдохнет в Шуше старая женщина, устала тут всех обслуживать, ты уже, слава аллаху, совсем взрослый, повези ее с собой в Шушу. «Возьми меня с собой, Джаваншир, родной, возьми меня в Шушу, повидать те места, десять лет я там не была, кто знает, увижу ли еще раз Шушу, будет судьба или нет...» — говорила Гюлендам-нене, но Джаваншир хорошо понимал, что, по существу, не он везет бабушку, а бабушка везет его; бабушку специально представляют к нему для безопасности, бояться его одного отпускать: как же, «он жизни еще не знает»; не понимают они, что он уже познал жизнь с лица и с изнанки, ведь для того, чтобы познать жизнь, не обязательно прожить сто пятьдесят лет... Привести бы домой какую-нибудь нахалку из тех, что не промах, и сказать: я не ребенок, вот моя жена, прошу любить и жаловать...

Через три дня Джаванширу исполнилось девятнадцать лет.

В то время, когда Джаваншир вот так мстил домашним в своем воображении, раздался стук в дверь, потом вошла Дурдане и, увидев лежащего на кровати Джаваншира, постояла немного в растерянности, потом, запынаясь, проговорила:

— Бабушка послала меня попросить у вас иголку с ниткой.

Дурдане тоже приехала в санаторий со своей бабушкой и теперь придумала маленькую хитрость: нашла какую-то оторвавшуюся пуговицу и, зная, что у бабушки иголок нет, забыла она их, сказала ей, что, наверно, у Гюлендам-нене есть, пойду, мол, попрошу...

Дурдане недавно исполнилось восемнадцать лет.

Джаваншир позвал Гюлендам-нене с балкона: — Бабушка!

Хусаметдин Аловлу, не удержавшись, снова вышел на середину танцплощадки и снова прочитал свое стихотворение.

— О аллах, этот парень, кажется, совсем спятил, — сказала Гюлендам-нене. — «Очень хорошо, очень хорошо...» — Потом обернулась, увидела Дурдане и, легко поднявшись, вошла в комнату: — Проходи, пожалуйста, дочка, добрый вечер, садись...

— Нет, большое спасибо, — сказала Дурдане. — Бабушка послала меня за иголкой с ниткой.

— Да? Сейчас... — Потом, пошарив взглядом по столу и тумбочке, Гюлендам-нене вдруг спросила: — Джаваншир, детка, ты не брал нитки с иголками?

В то же мгновение лицо Джаваншира словно вспыхнуло:

— Иголки-нитки... Я иголки-нитки беру в руки?

Дурдане, тоже покраснев, сказала:

— Если нет, ничего...

Гюлендам-нене взяла свою непонятно как уцелевшую со времен Ноя сумочку.

— Сейчас... сейчас! — Она долго копалась в сумочке, наконец достала иголку с ниткой и, протянув Дурдане, улыбнулась:

— Возьми, милая, возьми... Этот наш Джаваншир ужасно злой!

Джаваншир хотел сказать бабушке: «Знай свое место, эй, женщина», — но при Дурдане не сказал, еще и потому не сказал, что Дурдане, по-видимому, серьезно отнеслась к словам Гюлендам-нене; бросив на Джаваншира испуганный взгляд, она пробормотала:

— Извините... — И торопиво вышла из комнаты.

— А-а-а... Девочка не сказала даже, черная нитка нужна или белая... — Тут Гюлендам-нене встретила глазами с Джаванширом: — Ну, а ты что нос повесил, мой маленький? Во дворе люди поют-пляшут, а ты сидишь тут, нахохлился...

Джаваншир смерил бабушку взглядом.

— Да что с тобой говорить, эй! — сказал он и поднялся с кровати.

Уже три дня, как они приехали в шушинский санаторий, и все эти три дня Джаваншир думал о своей неудавшейся жизни, думал о том, что никто его не понимает и вряд ли когда поймет, думал о том, что все в этом мире ему уже давно известно, в общем, грустные мысли одолевали Джаваншира, в такие минуты он часто незаметно для себя начинал придумывать другую, воображаемую жизнь: то он был завсегдатаем ресторанов и никто не знал, что этот кутила — человек, постигший мир; то он видел себя этаким демоном, одиноко и молча бродящим среди людей, а все люди, в том числе девушки и женщины, пытаются отгадать, какая тайна скрыта в его сердце, но никто никогда не сможет открыть эту тайну... Никто... Но все же иногда в видениях Джаваншира возникал образ такой же одинокой прекрасной женщины, она такая же мудрая, как Джаваншир, может быть, она даже немного старше его; Джаванширу казалось, что он видит ее высокую, стройную фигуру, тонкое лицо с мягкими, всепонимающими глазами; да, только такая женщина могла бы понять Джаваншира.

Кеманча хромого Дадаша опять заливалась, на этот раз было очевидно, что она говорит о любви, о тайне ее возникновения, о мучительной тоске и безудержной радости, и снова голова хромого Дадаша сопровождала движения смычка, наклоняясь то влево, то вправо, а большие черные глаза смотрели прямо перед собой, как будто видели все, о чем пела кеманча.

Люди на танцплощадке слушали кеманчу хромого Дадаша, здесь был и Хусаметдин Аловлу, и на этот раз голубые глаза Маруси Никифоровой смотрели на Хусаметдина Аловлу с симпатией и еще с каким-то другим, странным и довольно сильным чувством, которое до сих пор самой Марусе испытывать не доводилось, но которое было так совместимо с этими прекрасными горами, чистым, прозрачным воздухом Шуши, и, пока кеманча пела о любви, выражение глаз Маруси Никифоровой становилось все более определенным.

Джаваншир, хмурый, вышел из подъезда своего корпуса, он все еще сердился на бабушку. Прошелся по тутовой аллее, немного остыл и вдруг подумал, что, вот ведь странное дело, порой при бабушке — ни при отце, ни при матери, ни при других пожилых людях, — так вот при бабушке он иногда, надо сказать, очень редко, действительно чувствовал себя ребенком, он верил ее лукавым глазам: «Эй, кого ты обманываешь? Не задавайся, не строй из себя взрослого, ты еще жизни не отведал, это еще все впереди, мой маленький».

Выходя во двор, он краешком глаза заметил, что Дурдане стоит на своем балконе и вроде бы смотрит, что делается на танцплощадке; он знал, что не этим заняты ее глаза и мысли — именно для то-

го, чтобы увидеть его, Джаваншира, она так часто выходит на балкон; но он упорно делал вид, что это ему безразлично, и попросту не замечал Дурдане, даже не здоровался; вот уж кто и в самом деле ребенок, так это, конечно, Дурдане.

Она учится в университете, на курс младше Джаваншира, и в прошлом году, когда только начались занятия, эта девушка вдруг подошла к Джаванширу в университетском коридоре.

— Вас Джаваншир зовут? — спросила она.

Джаваншир ответил:

— Да, Джаваншир, — а про себя удивился, откуда знает его эта невысокая черноволосая девушка; потом, через несколько дней, Джаваншир наконец вспомнил, что три года назад, летом, был он в Кисловодске вместе с родителями и жили они на одной улице с этой девочкой; ну, эта девочка вроде повзрослела, но, кажется, не слишком...

Этот разговор, если его так можно назвать, и был единственным за все время их знакомства; сначала Дурдане здоровалась с Джаванширом, и Джаваншир небрежным кивком ей отвечал; потом она, наверно, обиделась, перестала здороваться, но каждый раз при встрече с Джаванширом мягкие темные глаза ее оживали и как бы ждали продолжения того единственного разговора, но Джаваншир проходил мимо.

Вчера во время завтрака Гюлендам-нене спросила у Джаваншира:

— Что это за девушка смотрит на нас?

Джаваншир поднял голову и увидел, что через столик от них сидит Дурдане рядом с пожилой женщиной; наверно, она только что приехала, подумал Джаваншир, и невольно поздоровался с Дурдане, и похоже было, что это приветствие Джаваншира сделало Дурдане счастливой, так засияли вдруг ее глаза и лицо сразу похорошело. Пожилая женщина рядом с Дурдане посмотрела сначала на девушку с некоторым удивлением, потом перевела глаза на Джаваншира и тоже поздоровалась с ним и с Гюлендам-нене.

— Кто же эта девушка, а, малыш? — спросила тогда Гюлендам-нене.

Джаваншир привычно поморщился, буркнул:

— Кто ее знает? — И склонился над тарелкой с вермишелью.

А Гюлендам-нене сказала на этот раз не шутя:

— Ну, конечно, откуда тебе их знать? Дома тоже сидеть невозможно из-за этих паршивок...

В Баку действительно девушки часто звонили и просили к телефону Джаваншира, а он и, правда, не знал ни одну из них, то есть, может, и узнал бы в лицо, если бы увидел; они со смехом говорили, что хотели бы с ним познакомиться, что он симпатичный парень, но слишком уж серьезный; Джаваншир с ними долго не разговаривал, просто вешал трубку, эти девушки, что сами к нему навязывались, не могли его заинтересовать. Джаваншир снова поднял глаза на Дурдане, и ему почему-то показалось, что слово «паршивка» к этой девушке не подходит, и, что было самое странное, Гюлендам-нене, как будто прочитав его мысли, произнесла:

— Об этой девушке я не говорю...

В полдень Гюлендам-нене сообщила Джаванширу, что эту девушку зовут Дурдане, она тоже с бабушкой приехала в шушинский санаторий. Отца в отпуск не пустили, мать осталась с отцом в Баку.

Ахкордеон Гюльмамеда снова заиграл свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу снова пригласил на танец Марусю Никифорову, и снова стали танцевать друг с другом девушки, приехавшие в санаторий, и друг с другом — местные парни.

Скоро этот обыкновенный, а для кого и особенный вечер в шушинском санатории подойдет к концу: поднимется в санаторий из шушинского дома отдыха малый оркестр Муслима-кларнетиста в составе его самого, зурначи Анушавана да Мелика, играющего на нагаре, и начнется последний танец. Так завершится рабочий день массовика Садыха-музллама.

Диетолог Искандер Абышов, все еще в белом халате, подошел к танцплощадке и очень серьезно взирал на Садыха-музллама, который стоял в центре и, ввиду запаздывания кларнетиста Муслима, развлекал публику фокусами; помахав целой газетой, он затем разорвал ее на куски, собрал обрывки в горсть, достал из рукава другую газету, а обрывки первой должен был под прикрытием новой газеты незаметно спрятать в карман; этот фокус он показывал часто, и, как всегда, один-два обрывка не хотели попадать в карман, летели на землю, и Садых-музллим переминался с ноги на ногу, пытаясь наступить на них так, чтобы никто не заметил.

Диетолог Искандер Абышов не раз видел этот фокус, но каждый раз искренне удивлялся.

— Молодец, Садых-музллим! — сказал он и взглянул на Джаваншира, стоявшего рядом.

Искандер Абышов уже год отработал в шушинском санатории после окончания медицинского техникума в Баку и за этот год снискал небывалое уважение среди местных работников; не только медицинские сестры, фельдшеры, все — от шеф-повара до официантки — обращались к Искандеру Абышову не иначе как «доктор». Среднего роста, с аккуратно зачесанными назад курчавыми волосами и двумя родинками на щеке — он всегда был в накрахмаленном белоснежном халате и белой рубашке с черным галстуком, заколотым булавкой с маленьким стеклышком. Регулярно перед завтраком, обедом и ужином Искандер Абышов устраивал проверку на кухне, пробовал все блюда и частенько бывал недоволен — морковь перепарена, гуляш недожарен, — чем приводил в трепет шеф-повара. В столовой, прохаживаясь между столиками, он смотрел на лица отдыхающих, определяя, нравится ли им еда, некоторым давал советы. «Тыква — лекарство против воспаления желчного пузыря, ешьте больше моркови, в ней много витамина А, чрезвычайно полезен чай из шиповника, это сплошной витамин С», — говорил он. «Витамины не менее нужны человеку, чем свежий воздух» — это было его любимым высказыванием, и Гюлендам-нене называла Искандера Абышова «парень-витамин», добавляя, что этот «парень-витамин» похож на парикмахера в белом халате, но это было мнение только Гюлендам-нене.

Но вот и Муслим со своим оркестром спешит, почти вбежал во двор санатория. Музыканты достали инструменты, расположились в центре площадки, и кларнет Муслима, поднявшись до самой высокой ноты и затем опустившись до самой низкой, повел за собой мелодию, окрыляемую зурной и нагарой.

Солнце уже село, быстро стало темнеть, появились звезды; в хорошую погоду Шуша со всех сторон бывала окружена звездами, звездами в небе и огнями внизу — в селах Мухетер, Шише, Кешим, в далеком Степанакерте; в теплые ясные вечера как бы исчезало расстояние между небом и горами, между человеком и небом.

Джаваншир вынул из кармана сигарету, закурил, а потом вдруг обратился к стоявшему рядом с ним Искандеру Абышову:

— Пойдем с тобой куда-нибудь, выпьем вина.

— Вина? — Искандер Абышов искренне удивился.

— Ну да. А что тут такого? Выпьем немного сухого вина.

Предложение Джаваншира было весьма неожиданным, диетолог задумался и наконец сказал:

— Ладно, стакан сухого вина можно. Даже профессор Герасимов рекомендует выпивать стакан сухого вина на ночь. Профессор Герасимов говорит...

— Правильно говорит профессор Герасимов. Пошли.

— Я пойду сниму халат.

Тут только Джаваншир заметил этот халат на Искандере Абышове и сказал:

— Жду.

Наконец Садых-музллим пожелал всем спокойной ночи, затем повторил это еще раз, уже по-русски, и люди постепенно, парами, по трою начали расходиться: сегодня киномеханик Ахверди должен был показывать индийский фильм «Бобби», кроме того, можно было, например, успеть посетить местный театр.

Хусаметдин Аловлу подошел к Марусе Никифоровой, рядом с которой стояла ее подруга Людмила, и пригласил девушек в театр. Людмила многозначительно посмотрела на Марусю, а Маруся слегка покраснела, потом улыбнулась, и приглашение Хусаметдина Аловлу было принято.

Ожидая Искандера Абышова, Джаваншир с удивлением размышлял о своем внезапном желании выпить: ведь он очень плохо воспринимал спиртное; что тут поделаешь — тошнило его; наверно, дело было в том, что эти темные кусты и деревья с электрической подсветкой, эти как будто настоящие звезды, этот стрекот цикад в наступившей тишине стали раздражать Джаваншира, ему показалось, что Шуша — это не та Шуша; та, прежняя, осталась далеко-далеко, там, в детстве, когда Джаваншир двенадцатилетним мальчиком собирал на месте этого санатория ежевику, играл в футбол с местными ребятами, ходил с ними за малиной чуть не до самого Исабулага, на спор залезал в темный страшный подвал сгоревшей мечети; теперь была совсем другая Шуша, а та, что была раньше, пропала, исчезла, давным-давно исчезла и больше никогда не вернется...

Вернулся Искандер Абышов.

— Я готов.

И Джаваншир, еще не вполне очнувшийся от воспоминаний, даже не узнал его; да и в самом деле Искандер Абышов в костюме, без халата, был как будто и не Искандер Абышов, а совсем другой человек.

Когда они выходили со двора шушинского санатория, Искандер Абышов сказал:

— Ты только посмотри, как она на тебя уставилась...

— Кто?

— Вон та девушка. — Искандер Абышов кивком головы показал на балкон, где стояла Дурдане.

«Вот как, — подумал про себя Джаваншир, — оказывается, этот парень интересуется не только калориями и витаминами». И вдруг, сам не понимая, как получилось, Джаваншир снисходительно так усмехнулся: мол, кто я и кто эта девушка? Нашел, с кем меня равнять... И что удивительно — Искандер Абышов принял эту усмешку Джаваншира за честную монету; спускаясь по дорожке, ведущей из санатория в город, он сказал:

— Конечно, у тебя, небось, тысяча таких...

— Ты не представляешь, как они мне надоели... — Что его дернуло за язык, зачем он играет в эту игру с Искандером Абышовым, да пусть даже и не с Искандером Абышовым?

Заведующий шашлычной Абульфат, одновременно повар, буфетчик и официант, весивший сто двадцать восемь килограммов, принес два шампура с шашлыком из молочного барашка, зелень, овечий сыр, армянские маринованные овощи и две бутылки вина. Искандер Абышов глянул на Джаваншира: — Две бутылки много.

— Почему много? — спросил Джаваншир и, перевернув поставленные вверх дном стаканы из толстого стекла, наполнил их вином. — Твое здоровье, — сказал он и одним духом опорожнил свой стакан.

Искандер Абышов даже побледнел, удивляясь такой удали: он хотел и свой стакан точно так же опрокинуть, но поперхнулся и сумел выпить только половину.

Выпитое вино немедленно подействовало на Искандера Абышова, он порозовел и так разговорился, как будто до этого всю жизнь молчал; признался, что хотел бы жениться, да нет подходящей девушки, нет и квартиры, в горсовете обещали в этом году дать, но в старом доме он не хочет, хочет в новом доме и чтобы были все удобства; как получить квартиру, так и маму сюда поселит, перевезет из Сабирабада, а потом и женится; но вот беда, ни одна девушка пока не приглянулась; в прошлом месяце он получил любовную записку без подписи, долго гадал, от кого бы это, вдруг это от библиотекарши санатория Наргиз, но если это Наргиз написала, то очень жаль, потому что какая-то она странная, эта Наргиз, вертится все время под носом у Искандера Абышова — к чему бы это? — а любить ее Искандер Абышов пока никак не может; впрочем, аллах ведает, может, и полюбит когда-нибудь; но одно знает точно, что полюбит девушку местную, шушинскую, потому что шушинские девушки славятся своим здоровьем, но нет пока еще никого на примете, и вообще Искандер Абышов просто не представляет себе, как бы он подошел к какой-нибудь девушке и познакомился с ней, то есть теоретически, он, конечно, допускает такую возможность, только вот...

Искандер Абышов все говорил и говорил без умолку, никак не мог остановиться. Сам Джаваншир не произнес ни слова, только иной раз кивал головой да легонько так усмехался, давая понять, что все эти переживания Искандера Абышова ничто по сравнению с его, Джаваншира, жизненным опытом; при этом Джаваншир прекрасно понимал, что поступает нехорошо. Но вот ведь что: если бы Искандер Абышов не увидел в глазах Джаваншира этого превосходства, которое он считал совершенным естественным, то не был бы таким откровенным, именно из-за этой всепонимающей усмешки Джаваншира и прорвало Искандера Абышова...

Между тем Абульфат, двигающийся между столиками с легкостью, неожиданной для его ста двадцати восьми килограммов, подвижный, как ртуть, Абульфат, бегающий к буфету, наливающий водку, нарезающий зелень, колдующий над мангалом, — этот Абульфат возник вдруг перед их столиком и, обращаясь к Джаванширу, спросил:

— Еще по шампуру на брата, свет моих очей?

Джаваншир посмотрел на Искандера Абышова, и тот сказал:

— Больше не могу. Все!

Джаваншир снова улыбнулся снисходительно и опять поймал себя на том, что поступает нехорошо... Взяв у Джаваншира деньги за два шампура шашлыка, две бутылки вина, зелень, сыр, маринованные овощи, Абульфат, не считая, сунул бумажки в карман и сказал:

— Дай аллах достаток! — Потом забрал со стола вторую, запечатанную бутылку вина и бегом отнес ее в буфет.

Джаваншир с Искандером Абышовым вышли в парк, и Искандер Абышов, не в силах остановиться, все говорил и говорил о своих планах на будущее, но не только о них; говорил о том, что нет у него настоящего друга, да и товарищей нет, что дни проходят тоскливо, неинтересно, один день похож на другой. А Джаваншир — то ли от выпитого вина, то ли еще от чего — настолько вошел в свою роль, что и впрямь стал ощущать свое превосходство: вот он, Джаваншир, гуляет сейчас в шушинском парке, дышит чистым шушинским воздухом, отдыхает от городской жизни и от всяких походов, главным образом любовных...

В парке было темно, безлюдно, в лунном свете чернели стволы деревьев, и огни горели только в верхней части парка, возле здания театра. Агдамский театр, прибывший в Шушу на гастроли, сегодня показывал премьеру любовной драмы «Когда танцуют вдвоем» одного из местных драматургов. В это время Хусаметдин Аловлу, Маруся Никифорова и ее подруга Людмила сидели в зале и смотрели на сцену. Хусаметдин Аловлу, правда, часто переводил взгляд со сцены на Марусю, сидевшую рядом, но не смел даже прикоснуться плечом или нечаянно задеть локтем девушку; только время от времени он угощал Марусю и Людмилу ирисками, кулечными в театральном буфете, и тихонько переводил на русский язык речи героев. Когда же актер, изображая муки несчастной любви, заматывался по сцене, Маруся Никифорова не смогла удержаться от слез и достала платочек.

И как раз в этот момент Искандер Абышов сказал Джаванширу:

— Ты только посмотри! Вах!

Шагах в десяти, на пересечении аллеи показавшаяся высокая стройная женщина в темном костюме и шляпе с широкими полями. Походка ее была удивительно легкой и мягкой и в то же время очень неспешной. Женщина проплывала мимо них в лунном свете, делая, как показалось Джаванширу, великое одолжение шушинскому парку и вообще всей Шуше, она как бы бросала вызов дикой неупорядоченной красоте этих мест.

— И бывают же такие женщины, о аллах! — тихонько сказал Искандер Абышов, сказал и посмотрел на Джаваншира, странно так посмотрел, будто побуждая его, такого опытного человека к действию.

И тогда, совершенно неожиданно для себя самого, Джаваншир ускорил шаг, приблизился к этой женщине и произнес:

— Извините...

Женщина посмотрела на Джаваншира, и только теперь он понял, что сделал, что совершил, в горле у него внезапно пересохло, и уже каким-то не своим голосом он повторил:

— Извините...

Женщина оказалась очень красива, хотя ей, наверно, было около сорока, и удивительно то, что возраст свой она и не стремилась скрыть, была только чуть подкрашена, аромат тонких духов еле уловим.

И перед этой красотой и естественностью Джаваншир показался себе самым уродливым и глупым человеком на свете.

Искандер Абышов смотрел на них глазами, полными счастливого изумления и тоски. Еще бы! Парень, который всего минуту назад шел рядом, пил вместе с ним вино в шашлычной Абульфата, уже, как видно, познакомился с этой прекрасной женщи-

ной, с этим неземным существом, совершенно недостижимым для него, Искандера Абышова.

Женщина еще раз скользнула взглядом по лицу Джаваншира, и Джаваншир сразу почувствовал, что она видит его насквозь, понимает всю глупость его поступка. Чувствуя, что краснеет до корней волос, Джаваншир все же выдал из себя:

— Скажите, пожалуйста... Вы не знаете, где здесь театр?

Незнакомка внимательно посмотрела на Джаваншира, она будто пыталась как следует разглядеть в лунном свете лицо этого длинного молодого нахала, и Джаванширу представилось, что сейчас эта женщина надаёт ему пощечин обеими руками с грубостью, совсем ей не подобающей, но, как ни странно, женщина плавно повела своей красивой рукой в сторону театра и произнесла:

— Театр там...

Мягкий голос ее прозвучал очень тепло и очень приветливо, и это сразу ободрило Джаваншира. Некоторое время они молча шли рядом. Сердце Джаваншира уже билось не так сильно, однако он еще не вполне пришел в себя, к тому же усиленно искал тему для продолжения разговора, и все казалось ему банальным и глупым, он страшно злился на самого себя — зачем он затеял все это?

А зади шел Искандер Абышов.

Вдруг женщина сказала:

— Ваш товарищ... он ждет вас...

И снова слова ее прозвучали мягко. Джаванширу даже показалось, что ласково; он удивился, как это она, ни разу не оглянувшись, заметила Искандера Абышова, и сказал первое, что пришло в голову:

— Ничего... — И тут же снова залился краской.

Так они дошли до здания театра. Джаваншир от досады на себя не мог даже смотреть на спутницу, он готов был просто убежать куда-нибудь, спрятаться в какую-нибудь нору от стыда, но зади шел Искандер Абышов...

На досках для афиш висели написанные от руки объявления о спектаклях, и, взглянув на них, женщина сказала:

— О-о-о, у них даже «Клеопатра» в репертуаре. При этом она слегка усмехнулась, и усмешка немного — не вполне, конечно, — походила на усмешку Джаваншира, когда он сегодня разыгрывал свою роль перед Искандером Абышовым. — Надо будет пойти... Потом внезапно спросила у Джаваншира тоном учительницы: — А вы смотрели «Клеопатру»?

Этим вопросом она застигла Джаваншира врасплох, и, торопливо застегивая верхнюю пуговицу на рубашке, он ответил, как ученик, не выучивший урок:

— Нет, не смотрел.

Они отошли от афиши, и тут — странное дело — женщина стала вдруг разговаривать, словно сама с собой, теперь Джаваншир уже мог глядеть на нее: так красиво слетали слова с ее чуть подкрашенных губ, и слова эти как будто доносились из того, другого мира, в который Джаваншир обычно уносился в своих мечтах, лежа на кровати и глядя в потолок; и постепенно ему стало казаться, что ее слова — естественное дополнение, даже не дополнение, а как бы просто часть этой теплой августовской шушинской ночи.

А говорила она о том, что все в мире непрочное, все уходит в никуда и чувства, мысли человеческие, страсти — все, все — ничто, только искусство способно остановить бег времени, оно не увядает, оно вечно, и потому вечны чувства, мысли человеческие, страсти, запечатленные мастером.

Джаваншир понимал, что он должен сейчас под-

держивать разговор, сказать тоже что-нибудь в этом духе, но все слова вдруг куда-то исчезли, он ощущал мучительную тоску и не мог произнести ни слова. Тем не менее выяснилось, что женщина — бабинка, что по профессии она архитектор, а сейчас отдыхает в шушинском доме отдыха, в Шуше она не впервые, очень любит эти места, скучает без них, буквально влюблена в шушинский ханский дворец и мечеть, а какова крепостная ограда — ведь это же само совершенство, бездна вкуса, и как удачно расположены все здания, как хорошо вписываются в окружающий ландшафт; поистине древние архитекторы лучше нас понимали, что здание должно дополнять природу, а не противоречить ей, а теперь такую вот очевидную мысль приходится отстаивать на ученых заседаниях.

Джаваншир только кивал головой, соглашаясь со всем, что говорила женщина, иногда, правда, вставлял что-нибудь вроде «конечно» или «верно». Других добавлений он сделать не смог, и все это время, пока они прогуливались по темным аллеям шушинского парка, Искандер Абышов сопровождал их зади. И, что удивительно, ему совсем не было скучно; не то чтоб он слушал речи прекрасной незнакомки: он шел на таком расстоянии, что ничего разобрать не мог, а просто почему-то чувствовал и себя героем сегодняшнего вечера.

Джаванширу давно хотелось узнать имя незнакомки, но он никак не мог заставить себя произнести простые три слова, ему казалось, что они так не подходят к этой фантастической, невыносимой ночной прогулке. Наконец, пересилив себя, он все-таки произнес их; выяснилось, что женщину зовут Медина-ханум, тогда и Джаваншир представился, а затем Медина-ханум спросила Джаваншира:

— А вы где работаете?

Этот вопрос снова привел в замешательство начавшего было успокаиваться Джаваншира: он не предполагал все же, что выглядит таким взрослым, и, снова покраснев, ответил неопределенно:

— Я филолог. В университете...

— Преподаете?

«Что это она? Издевается?» — подумал Джаваншир.

— Нет... Я — аспирант... — сказал он и посмотрел на Медину-ханум, как кролик на удача; он был уверен, что сейчас она громко расхохочется, а вслед затем и Искандер Абышов умрет от смеха. Но, к удивлению Джаваншира, ничего этого не произошло, просто Медина-ханум длинно так произнесла:

— А-а-а... Тогда для вас все еще впереди...

Джаваншир, потупившись, переживал эту неприятную минуту и молчал.

А Искандер Абышов по-прежнему следовал за ними в некотором отдалении, по-прежнему совсем не чувствовал себя лишним, и, как видно, напрасно, потому что между Джаванширом и Мединой-ханум произошел такой короткий разговор:

— Ну что ж, я должна возвращаться...

— Позвольте, я вас провожу?

— Но ведь вас ждет товарищ?

— А он мне не товарищ...

— Тогда скажите ему, чтоб не ходил за нами, — произнесла Медина-ханум с некоторым раздражением.

Джаваншир сначала не понял, почему вдруг при этой женщине он отрицал свои приятельские отношения с Искандером Абышовым, но ведь с одной стороны, они действительно не были товарищами — Джаваншир только сегодня вечером с ним познакомился, а с другой стороны, все же то, что он отрекся от Искандера Абышова, показалось Джа-



ванширу предательством: впрочем, он внял словам Медины-ханум, отстал от нее и, подождав, когда с ним поравняется Искандер Абышов, произнес:

— Ты, пожалуй, иди... Мы еще погуляем...

Искандер Абышов заморгал глазами, затем буд-то что-то уяснил для себя и сказал:

— Хорошо! — повернулся и исчез в темноте.

Медина-ханум опять говорила о своей привязанности именно к Шуше; ей было с чем сравнивать: Теберда, Дилижан, Абастумани, Кисловодск, Сочи, Карловы Вары, Золотые пески, Ницца; но чигде, считала Медина-ханум, нет такого воздуха, как в Шуше, только в Шуше, говорила она, чувствуешь всю полноту настоящего отдыха, забываешь обо всех заботах и печалях, снова радуешься жизни. И душа очищается и становится восприимчивой к новым, не испытанным еще чувствам...

Джаваншир шел, слушая Медину-ханум, и уже не смущался, как прежде, хотя, конечно, просто уму непостижимо, что именно он, Джаваншир, не во сне, а наяву идет с такой женщиной и слушает такие признания...

Когда они дошли до ворот шушинского дома отдыха, было уже около одиннадцати. Медина-ханум, протянув Джаванширу руку, сказала:

— До свидания. Спокойной ночи.

При свете электрической лампочки, висящей над воротами шушинского дома отдыха, серые глаза Медины-ханум выражали приязнь и приветливость, кажется, они еще о чем-то говорили, и теплая тонкая рука Медины-ханум подтверждала то, о чем говорили ее глаза.

Джаваншир понимал, чувствовал — надо что-то сказать, обязательно надо сказать или сделать нечто такое, от чего исчезнет едва различимая в глубине ее глаз ирония... И вот, призвав на помощь

все свое мужество, с отчаянием в голосе он спросил:

— Завтра увидимся?

Медина-ханум улыбнулась с той же приветливостью и приязнью:

— Увидимся.

Они условились, что завтра в семь часов вечера (когда хромой Дадаш во дворе санатория начнет настраивать струны своей кеманчи) они встретятся в тувовнике (это место предложила сама Медина-ханум), и после этого Медина-ханум, высвободив руку из большой ладони Джаваншира, вошла в калитку своего дома отдыха.

Джаваншир немного постоял перед воротами, думая о собственной глупости, неловкости и в то же время продолжая ощущать своей ладонью теплоту, ласковость руки Медины-ханум. Потом закурил и, пройдя по темным, вымощенным толстыми плитами улицам Шуши, стал подниматься к своему санаторию.

И тут как раз кончилась драма «Когда танцуют втроем», и Маруся Никифорова, Людмила и Хусаметдин Аловлу вышли из театра, причем Хусаметдин Аловлу сразу закурил.

Джаваншир, гуляя с Мединой-ханум, не осмелился на это...

Когда Джаваншир вошел во двор санатория, свет горел только у Гюлендам-нене, и на балконах никого не было, не считая Дурдане; накиннув на плечи шерстяной жакет, она, дрожа от холода, стояла на своем посту.

Джаваншир добрался до кровати, разделся, лег... всю ночь он был с Мединой-ханум, всю ночь они с Мединой-ханум бродили по шушинскому парку. Находясь между сном и явью, Джаваншир видел большие серые глаза Медины-ханум, слышал ее

мягкий голос, ощущал аромат ее духов, чувствовал пожатие ее руки, но все, кажется, чего-то не хватало, он испытывал какое-то беспокойство, и только уже под утро Джаваншир понял внезапно, чего же ему все-таки не доставало, — оказывается, раздающихся позади шагов Искандера Абышова.

— С чего это ты так вырядился, мой маленький? К добру ли?

Джаваншир искоса посмотрел на Гюлендам-нене. Надвигался вечер, скоро Садых-музллим, выйдя на середину танцплощадки во дворе санатория, улыбнется отдыхающим, а потом заговорит, залыется кеманча хромого Дадаша, затем аккордеон Гюльмамед заиграет свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу под завистливыми взглядами местных парней пригласит Марусю Никифорову танцевать.

Этот день пролетел очень быстро.

Когда утром Гюлендам-нене с Джаванширом спустились в столовую, Искандер Абышов в своем чистейшем накрахмаленном и выутюженном халате будто только их и ждал, он уделил им особенное внимание, поздоровался с Джаванширом с большим почтением, да и потом часто поглядывал в их сторону, а когда Гюлендам-нене, съев утренний люля-кебаб, не тронула испеченный помидор, Искандер Абышов подошел к их столу.

— Простите, — сказал он. — Если бы вы только знали, от чего вы отказываетесь!

Гюлендам-нене поглядела сначала на печеный помидор, потом на сдвинутые брови Искандера Абышова.

— А от чего? — спросила она.

Искандер Абышов сказал:

— Вы не представляете, сколько в нем витаминов!

Гюлендам-нене снова уставилась в свою тарелку, доводы Искандера Абышова как будто подействовали на старуху, и она опять взялась за вилку.

Искандер Абышов, конечно, был очень доволен.

После завтрака Дурдане по просьбе своей бабушки пришла в комнату Джаваншира за ножницами, потом она причесла ножницы обратно; спускаясь днем в столовую на обед, она столкнулась с Джаванширом лицом к лицу, поздоровалась, и Джаваншир на этот раз отдал себе отчет в том, что девушка при встречах с ним совершенно теряет и краснеет.

— Послушай, малыш, что ты так косо — а меня смотришь, а? Опять придешь в двенадцатом часу ночи? — Гюлендам-нене, сидя на кровати, глядела на Джаваншира поверх очков и улыбалась, привычно подтрунивая над внуком.

Джаваншир стоял перед зеркалом и причесывал, укладывал свои длинные волосы. Он посмотрел на Гюлендам-нене в зеркало и сказал:

— Сегодня, может, и совсем не приду...

И тут произошло нечто вроде чуда: Гюлендам-нене не рассмеялась, не стала издеваться над его словами, — она почему-то сразу поверила, даже всхлипнула вдруг.

— Джаваншир...

— Ну что, что Джаваншир?

Дурдане стояла на балконе, и ее глаза, полные скрытой тревоги, долго провожали Джаваншира.

Он подошел к условленному месту на полчаса раньше срока.

В тутовнике были не одни только тутовые деревья, здесь возвышались и шушинские дикие яблоны, и дикие черешни, и на поляне, усыпанной

цветами, росли кусты шиповника, ежевики; эти места хорошо запомнились Джаванширу, — сколько раз играл он тут в детстве, и однажды удивился, что шиповник в этих местах, может быть, единственное растение, которое сначала покрывается листьями, а уж потом зацветает.

Когда-то, кажется, очень давно, Джаваншир с матерью, отцом и бабушкой каждое лето приезжали в Шушу, жили тут все лето, и, оглябая тутовые деревья, Джаваншир снова вспоминал те далекие детские годы: как они, мальчишки, набивали свои майки дикими яблоками, еще неспелыми синими сливами, и все эти дикие яблоки, синие сливы они ели до оскомины, до полного онемения губ, и все никак не могли остановиться, а потом еще перемазывались с ног до головы красным соком дикой черешни.

Солнце понемногу склонялось к закату; в ожидании предстоящего вечера, предстоящей ночи Джаваншир чувствовал себя свободно, но не очень-то спокойно, хотя уже поверил в себя, ведь больше не было необходимости притворяться, ни при Искандере Абышове, ни при ком другом, Джаваншир должен быть самим собой, потому что он тот самый Джаваншир, который познакомился с Медина-ханум и сейчас ее ждет.

Он как следует подготовился для сегодняшней встречи, он больше не будет молчать, набравши в рот воды: теперь-то он уж знает, что скажет Медина-ханум, и, бродя по тутовнику, Джаваншир повторял про себя слова, которые он ей скажет. Да, прогуливаясь с Медина-ханум под этими тутовыми и грушевыми деревьями, между стволами дикой яблони, дикой черешни, сливы, среди кустов шиповника и ежевики, Джаваншир завоеует уважение и любовь этой необыкновенной женщины; кто знает, чем все это кончится, может быть, даже и пожениятся они с Медина-ханум...

Джаваншир часто поглядывал вниз, на тянущуюся от шушинского дома отдыха тропинку.

Джаваншир сначала почувствовал появление Медина-ханум, как будто по цветам, по кустам, и деревьям пробежал очень легкий, очень нежный ветерок, потом Джаваншир, посмотрев в сторону дома отдыха, увидел поднимающуюся по тропинке Медина-ханум.

Медина-ханум уже издали, неспешно помахала ему рукой, сердечно приветствуя Джаваншира, и он внезапно почувствовал себя недостойным этого расположения, ему опять показалось, что он ничто перед этой женщиной — самим воплощением приветливости и в то же время радостной зальности и свободы.

Медина-ханум сегодня была в светлом широком платье, и это со вкусом сшитое светлое и широкое платье тоже, казалось, говорило о радости, зальности и свободе; Медина-ханум шла без шляпы, длинные золотистые волосы рассыпались по ее плечам, груди, и эти золотистые волосы тоже, казалось, чуть не кричали сейчас о радости, зальности и свободе; все это вместе предназначено для Джаваншира, Джаваншир должен был, обязан был в это поверить...

В глубине души он боялся, вдруг Медина-ханум не придет на свидание с ним.

Медина-ханум пожала руку Джаваншира, и пожатие это было таким искренним и милым. А потом Джаваншир с Медина-ханум стали прогуливаться рядышком под тутовыми деревьями среди цветов, и опять заготовленные, только что повторяемые про себя слова вылетели из головы Джаваншира, и он в который уже раз удивился, что нашла в нем, глупце, верзиле, столь прекрасная, умная женщина,

за что это счастье такому ничтожеству, как он? А самое странное — Джаваншир внезапно почувствовал: те далекие годы, которые прошли вот здесь, в Шуше, под туловыми деревьями, вовсе не остались вдали, все было как будто вчера; это ощущение потрясло Джаваншира, и он некоторое время даже не слышал, о чем говорит Медина-ханум, затем, не попросив у нее разрешения, он дрожащими руками достал и закурил сигарету, потом подумал, что нужно было бы предложить сигарету и Медине-ханум и вообще сейчас надо взять Медину-ханум под руку, сказать ей что-нибудь интересное или хотя бы что-нибудь особенное.

Какая прекрасная держалась погода, какой чудесный ожидался закат, каким долгим был этот день! Медина-ханум на отдых всегда ездила одна — может быть, это эгоистично; конечно, вот такое наслаждение красотой, такое острое ощущение ее не всегда сочетаются с альтруизмом, не правда ли? Чувствовать красоту, наслаждаться ею — разве само по себе не эгоизм? Видимо, эгоизм в природе человека, избавиться от него, совсем избавиться невозможно, а может быть, и не надо? По существу, и чувство одиночества тоже приводит к эгоизму, вот это ужасно, это плохо, вот тут нужно обязательно думать о других, чувствовать их, не замыкаться в одиночестве, в такое время надо уметь разделять радость других; конечно, одиночество порой преследует человека настолько, что от него невозможно убежать, тяжкий бич двадцатого столетия редко оставляет человека в покое.

После всех этих слов, размышлений, этих признаков Медина-ханум как ни в чем не бывало, просто и естественно взяла Джаваншира под руку и, на мгновение прижавшись к нему, спросила:

— Куда мы пойдем?

Конечно, Джаваншир не ожидал такого вопроса и застыл в недоумении; внезапно ему вспомнился Искандер Абышов. вспомнилась стипендия в кармане, и он неожиданно для себя предложил:

— Пойдемте в парк... в шашлычную...

Медина-ханум посмотрела на Джаваншира с некоторым недоумением

— Вы проголодались?

Джаваншир почувствовал, что краснеет, и, чтобы Медина-ханум этого не заметила, нарочно поднес руку ко лбу; на мгновение перед его глазами появился сто двадцативосьмипрограммовый Абульфат, в нос Джаванширу ударил запах шашлыка, водки, и он изумился, как ему могла прийти в голову такая идиотская мысль — здесь, среди цветов, рядом с этой прекрасной женщиной...

— Нет... не проголодался... — промолвил Джаваншир. — Просто так сказал...

Медина-ханум снова взглянула на Джаваншира, потом, будто внезапно обнаружив то, что искала давно, сказала едва ли не заговорщицки, понизив голос:

— Знаете что... Давайте пойдем ко мне. Я в комнате одна, никого другого не бывает...

Джаваншир не поверил своим ушам.

— Из моего окна и закат виден, — продолжала Медина-ханум — Вместе полюбуемся...

Слова Медины-ханум о закате прозвучали, пожалуй, не очень естественно.

Они спустились по тропинке, ведущей в дом отдыха. Они направлялись в комнату Медины-ханум, и, кроме нее и Джаваншира, в этой комнате никого не будет. Джаванширу хотелось хотя бы пять минут побыть одному, прийти в себя.

Визу виднелись двух- и трехэтажные корпуса шушинского дома отдыха, постепенно свет загорался в окнах.

Джаваншир сказал:

— Пойду куплю коньяк...

Медина-ханум ответила:

— Не нужно... У меня есть коньяк...

Все это прозвучало так, будто они в самом деле были заговорщиками.

Медина-ханум держала Джаваншира под руку, тропинка круто шла вниз, и, чтобы не споткнуться о камень, не поскользнуться на траве, Медина-ханум прижималась к Джаванширу.

У Джаваншира совсем в горле пересохло, и он не мог понять почему — от радости ли, от робости...

Медина-ханум остановилась у алычового дерева, дальше начиналась асфальтовая дорожка.

— Вместе нам заходить неудобно, — сказала она. — Все-таки Шуша — это Шуша, не Карловы Вары. — Она улыбнулась. — Видите вон то крайнее двухэтажное здание, слева самое первое окно мое, на втором этаже... Видите?

Джаваншир ответил:

— Да, вижу...

Медина-ханум продолжала:

— Давайте сначала пойду я, а потом вы — через пять-шесть минут... Дверь я оставляю открытой... — Медина-ханум опять улыбнулась. — Хорошо? — спросила она.

Джаваншир кивнул.

Медина-ханум отпустила руку Джаваншира, повернулась и пошла вниз по асфальтовой дорожке.

Когда Медина-ханум убирала руку, ее горячие пальцы скользнули по голому запястью Джаваншира, это прикосновение было жгучим...

Но вот задул прохладный ветерок, охлаждая запястье Джаваншира. Дул прохладный ветерок, заходило ярко-красное солнце. Цикады вели свою вечернюю стрекотню, время от времени слышалось откуда-то кваканье лягушек.

Дождь пойдет?

Внезапно Джаванширу показалось, что он давно уже тоскует по дождю; ливня жаждала его душа — чтобы страшно загреметь гром, засверкала молния, чтобы все вокруг содрогнулось; Джаваншир всем телом ощутил тугие струи сильного дождя.

Солнце закатилось, край неба постепенно бледнел...

В окне Медины-ханум загорелся свет.

Джаваншир, прислонившись к алычовому дереву, смотрел на освещенное окно и сейчас был на сто процентов уверен, что, когда он войдет в эту комнату, Медина-ханум встретит его уже в красивом длинном халате и, когда она сядет на диван, в просвете между полами халата будут видны ее ноги.

Самым скверным, самым страшным было то, что ноги Медины-ханум сейчас вовсе не возвещали Джаванширу о каком-то волшебном мире, о каких-то неземных наслаждениях, эти стройные, красивые ноги были несовместимы со страшной тоской по дождю, по ливню в сердце Джаваншира...

Конечно, он понимал, что так делать нельзя, что это не по-мужски, это — мальчишество, совершенное мальчишество, однако непонятная сила влекла Джаваншира прочь от этой тропинки, от алычового дерева и, самое главное, от этого света в окне.

Джаваншир, сойдя с тропинки, пошел по траве и сам не заметил, как шушинский дом отдыха остался позади, осталось позади зовущее, ждущее окно, совсем теперь незаметное, когда Джаваншир поднялся в полной темноте на террасу в нижней части Шуши.

На террасе никого не было. Звезды не светили. Горели только огоньки сел, расположенных в межгорьях, — словно далекие созвездия. Джаваншир

ощутил, почувствовал близость этой дали, свет селений как будто приютил тепло.

Джаваншир сидел на скале, поворачивая голову, он следил за огоньками машин на петляющей по склонам дороге. В какой-то момент ему показалось, что он как будто не один, кто-то дышит рядом, причем какой-то знакомый ему человек.

Здесь было очень тихо, только едва слышно журчала речка Дашалты, текущая по дну ущелья. А на той стороне возвышалась отвесная скала Хезне. Она была совсем как живая, эта скала, она дышала, слышала, видела и молчала.

Если в мире существовала вот эта скала Хезне, если слышалось журчание реки Дашалты, если вот так согревали огоньки далеких сел, то почему Искандер Абышов был недоволен своей жизнью и почему он говорил об однообразии дней?

Потом вдруг ударила молния, полил дождь, а через некоторое время весьма малое время этот шуминский ливень прекратился так же внезапно, как и начался.

В глубине души, в самой сокровенной глубине Джаваншир не боялся, что вдруг Медина-ханум не придет к нему на свидание; Джаваншир не хотел, чтобы Медина-ханум пришла. Он не отдавал себе в этом отчета, но это было так.

Потом постепенно наплыл туман, огоньки напротив сначала расплылись, потом совсем исчезли, исчезла и скала Хезне, и Джаванширу показалось, что наступил завтрашний день, день его рождения, и одна девушка, милая, стеснительная девушка поздравляет его, она принесла испеченный ею очень любимый Джаванширом яблочный пирог, она считает Джаваншира самым храбрым человеком на свете, гордится тем, что Джаваншир ничего не боится, ни перед чем не отступает, и это действительно так; юная девушка, милая стеснительная девушка больше ничего не говорит; страшно смущаясь, краснея, она заставляет себя поцеловать Джаваншира в щеку, и этот легкий поцелуй как бы приподнимет Джаваншира над землей, теперь он может смотреть всем прямо в глаза, потому что Джаваншир любим, потому что Джаваншир — опора, потому что Джаваншир — защита, и в окутавшем все вокруг тумане он ясно увидел глаза, лицо, волосы Дурдана...

А музыкантам во дворе шуминского санатория играть не пришлось, Шушу туман окутал, но перед тем, как Садых-музллим пожелал отдыхающим спокойной ночи, Хусаметдин Аловлу попросил у него разрешения, вышел на середину танцплощадки и прочитал свое новое стихотворение, написанное сегодня:

Ты опять приедешь,
Очень хорошо!
Навсегда приедешь,
Очень хорошо!

И эти строки Хусаметдина Аловлу были явно по душе Марусе Никифоровой, как строки самого прекрасного в мире стихотворения.

А Искандер Абышов, стоя в белом халате в дверях библиотеки шуминского санатория, поглядывал на библиотечаршу Наргиз и думал: «Интересно, кто же ему отправил любовное письмо без подписи? Неужели все-таки Наргиз?»

Перевел с азербайджанского
Александр ОРЛОВ



ПАВЛО
МОВЧАН



Хвала звуку

Как греет нас любовь на белом свете!
Песок пересыпаем, словно дети,
пасем цветочек, в профиль на жар-птицу
похожий; ключевую пьем водицу;
и время кажется малоподвижным,
ступая шагом медленным, неслышным.
Куда спешить деревьям и растениям!
Взбираются слова, как по ступеням,
и новым наполняются значеньем,
и мы их смысл еще дороже ценим.
А рыбка в речке зеркальцем сплясавшим
блеснет в глаза, чтоб мы в древесной чаще,
ее веселый блеск припоминая,
не заблудились там, где тьма сплошная.
Любовью ум проверив и поправив,
струны далекой различая пенью,
мы, как во сне, в волшебной этой яви
стоим — и трудно нам сдержать волненье.
А звук растет, пронизывая душу,
ее до дна, как влагу, прогревая,
она вскипает, просится наружу
в слезах — в твои объятья, дорогая.
Как будто в гору мы с тобою рядом
бредем, а звуки с кручи водопадом
стекают, пену белую взбивая, —
дымится звуков пряха золотая.



Каждое утро будит синица
стукотом в окошко — тотчас встаю...
Хвойный мерцает ковер и сонится —
иглы засыпали тропку мою.
Тянут деревья темные длани,
треснет сучок, сповно щелкнет рычаг, —
звук односложный гаснет в тумане,
сбив на минуту размеренный шаг.
По лесу красться на цыпочках надо,
чтоб не спугнуть невзначай тишину,
строю ее не нарушить и лада,
не оборвать золотую струну.
Жухлые листья с птичьей повадкой
прыгают, бьются, порхают в ветвях,
может, поэтому кажется шаткой
жизнь и дрожит и трепещет в глазах.
Может, приснилось — размытое ветром
издали в слух заплывает «курлы».
Словно прочерченные геометром,
синее небо пронзают углы.
Память о прошлом ли, старая рана,
боль ожила ль в подсознанье, во тьме —
только душа встрепенулась, отпрянув
от искушений, готовясь к зиме.

Перевел с украинского А. КУШНЕР



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

На разъезде

Ты проснулся один в темноте.
И, как в детстве от тихого счастья,
захотелось заплакать тебе.
Так тревожно дохнуло ненастье...

Пахнет клевером теплая ночь.
Даешь открыла е попя проводница!
За Днепром полыхает зарница.
Кто еще тебе может помочь!

Вспоминай, вспоминай, вспоминай...
Воздух детства...
Разъезд безымянный.
Дядька в бепоп рубахе, как пьяный,
носит сено в пахучий сарай.

Плачь!.. Пока еще в тамбур сквозит
и от счастья заплакать не поздно.
Плачь! Пока еще поезд стоит
в ожидании встречного поезда.

Сквозь сон

Лень двинуться. Костер потух.
В тумане подошел пастух,
и слышу я уже сквозь сон,
что вечером на водопое
опять доил корову сом.
И эхо повторяет в поле:
— Все с молоком, одна пустая.
И кровь на вымени видна.
Вернусь домой — вода лесная
любимых ужасов полна...

☆☆☆

Мать за работой заскукает.
— Ну а в газете что, Иван!
Отец серьезно отвечает:
— Сегодня в Англии туман.

А непехая новость в мире.
Все тот же, что и при Шекспире,
при Диккенсе —
туман большой
с его таинственной душой.

Холмы, лужайки и каналы
заволокло. Горит камин.

В огонь глядит пастух усталый.
Его укутал пледом сын.

Туман над Темзою... А значит,
не так уж мир переиначен.
Еще не высохла земля.
И пахнет вереском зола...

Предчувствие

Вершины ветер загибал.
Висела туча. Брат сказал:
— Спыыву до первого порога
и там папатку разобью.
А я пошел на запад строго,
где ветер раздувал зарю.
● Вернулся я уже впотьмах.
И до утра мне снился страх.
А раньше в дождь — спалось так спадко!
Проснулся с ноющей тоской.
Смотрю —
поставлена палатка.
под наклоненною сосной.
Вода уже размыва глину.
Свисают корни. И сосна
со скрипом клонится в долину.
Отпыпы. Рухнула она...

Любимый страх

Кончается хлеб. Вертопета не жди.
Палатку опять обступили дожди.
На мокрой березе трепещет зарница.
С охоты придеешь, и убитая птица
не мучает совесть...
Кончается хлеб.
Приснились руины, полынь, курослеп.
Обстали причуды воды дождевой,
как будто мне сладко с забытой нуждой.
Тревожно дохнули в лицо пустыри,
О, детская радость — считать сухари.
Как будто живу, со счастливыми споря...
А ветер с хоподного русского моря
стихает... Любимый кончается страх.
И дыры синеют уже в облаках.

Небыль

Рыбак с Подкамениой Тунгуски
иад песом заприметил тусклый
предмет...
А был он не в падах
с законом и припег в кустах.

Как бы в светящемся тумане.
предмет припизился, и вдруг
подумалось: а где же звук!
Что за инспектор в глухомани!

Тревожно стало. Звука нет...
И вроде бы не свой ответ
родился быстро и топково.
А передать — ие сыщешь слово.
И между прочим, тот рыбак
не пьет. И даже не чудак.
Предмет рассеялся.

Однако
не возвратипась в дом собака...

Письмо

Из дому пишет мать...
Отец уже не встает.
Хочет тебя обнять.
Младший все время пьет.
Вчера мне приснился сон.
По крыше большого дома
с бутылкой крадется он.
Шагает страшнее грома.
А следом его дружок,
бобочет: — Оставь глоток.
А тот от него бегом.
Хотел на соседний дом
скакнуть...

Оглянулся дико.
И вниз полетел без крика.
Как он в пустоту шагнул,
я вся изнутри застыла,
а он поглядел тоскливо.
И, падая,

отхлебнул...
Прснулась. А он за дверью.
Целую. Трясу. Живой!
И снова глазам не верю.
На камни летит спиной...
Сон отцу рассказал.
— Все,— говорит,— отдай,
только живет пускаяй.
И с этого дня, сынок,
глазами я слабой стала.
И вовсе не чую ног.
Думы идут. а ноги стоят.
Машем уже на закат.
А в сквере траву скосили.
Сено. Теплынь. Луна.
Отец сидит у окна.
А выйти уж нету силы.
— Иван,— говорю,— а помнишь,
как ты на Урале косишь,
а я пою над рекой:

— Куда полетит одуванчик,
оттуда и будет невеста.
Куда полетел — неизвестно...

Забываю песню. Бог с ней.
Сынок, приезжай скорей.

Презрение

Он шеп по улице родной.
А трое ждали под луной.
Он отбивался и кричал.
В глухие двери он стучал.

С крыльца хозяин смочит кровь.
Вернется — выступила вновь...
Соседи тоже не в лице.
Кровь проступает на крыльце.

А ночью в лунной тишине
гуляет гость с ножом в спине.
Он достучаться к ним не смог.
В крови порог! В крови порог...

☆☆☆

В пустом саду живет скворец.
И на земле еще не тесно.
Пошел на кладбище отец,
там побродил и выбрал место.

Крестов и дорогих могил
немало в городе и в поле.
Живи, отец!

И так до боли
я эту землю полюбил.

Она и без твоей могилы
мне дорога

и вкривь и вкось.
Расслабь изношенные жилы.
Не спорь о том, что не сбылось.

Осенняя песня

Осень стоит за рекою.
Ящик почтовый открою,—
выпадут желтые листья.
Осень прислала мне письма.
Осень уже у порога.
Сердце кольнула тревога.
Все мы в делах закружились.
Письма писать разучились.
Чей-то отец одинокий
в домике возле дороги
ящик пустой открывает.
Желтый листок выпадает...
В сумерках долгой разлуки
матери слабые руки
ящик открыли почтовый...
Что ей звонки и обновы!
В пору такую, бывало,
в школу тебя провожала,
чтобы писать каучился
и на слова не скупился.
Как ты еще пожапеешь...
Ты еще сам постареешь.
С тихим шуршаньем и звоном
осень придет почтальоном.

☆☆☆

Здесь мне единственно родная —
полоска темная, сырая.
Придет и отойдет волна.
На линию прибоя стану —
земле принадлежит она,
принадлежит и океану.
Здесь от волны и до волны
виднеются следы свиданья...
Здесь пишутся все обещанья...
Все клятвы вечные даны...

☆☆☆

В степи на глухом полустанке —
брезентом покрытые танки.
Внимательный сытый солдат.
И дымом пропахший закат.
Таинственной воле покорны,
гремя, покатились платформы,
в задумчивых отблесках дня...
И ветром шатнуло меня!

☆☆☆

Счастливому — тебе у моря
для песен не хватает горя.
В царапину морская соль
войдет. Но разве это боль!
В дорогу, черт возьми, в дорогу.
Пинаешь сытую треугоу!
Обиду старую простишь.
В больнице друга навестишь.



**ЕЛЕНА
АНАНЬЕВА**

Преподаватель

Снег монотонно сыплет за окном
и на карнизах важно умиравт.
Преподаватель черкает мелком,
неповторимость мира объясняет.
Втолковывает тайны теорем,
законы неохватного пространства.
А за окошком — белый пилигрим —
снег падает с завидным постоянством.
Преподаватель очень стар и смел,
и мне понятно, почему спокойно
рукой иссохшей он терзает мел
и говорит и мыслит так достойно.
Он очень сед, как этот снег в окне,
он тянет по-московски гласный.
я чувствую как радостно во мне
звучат его потоки интонаций!
Он вдохновлен внимательностью глаз,
сосредоточенностью на усталых лицах.
Очки поправив, он сейчас
неспешно повернет страницу...
Но вот звонок и мел уже ничей.
И я бездумно вглядываюсь в стены,
а снег кружит — наивный чародей —
над нашим углком всепенной!

Истоки

Мы будем долго вспоминать
веселые глаза Сибири!
Покажется, что мы опять
стоим на маленьком буксире.
Так изумилась я тогда!
— Вот го, что посмотреть мечтапа,—
шептапа я. Кофейная вода
курилась пвной у причала.
Мы плыли мерно по реке,
И мягкий втер гладил щеки,
И мне казало: вдалеке
Я отыщу свои истоки.
Казало, женщина стоит
и зябко укрывает печи,
и ждет угрюмо, и молчит,
и снова ждет, когда под вечер
устапо бакенщик придет,
придет родной и неведимый!

Так будет давней жизни плот
куда-то ппыть, куда-то мимо...
Я буду долго вспоминать,
друзьям рассказывать, как где-то
шли к речке бабушка и мать —
вот так я представляю это!
Потом скажу: «Сибирь моя,
Я от тебя беру начало,
все корни здесь мои, и я
теперь у твоего причала!»

☆☆☆

Что пожелать тебе, мой друг!
Что мне сказать тебе!
Я зимний очертила круг
в твоей, в своей судьбе.

Что рассказать тебе, родной!
Ушел наш год, как день.
И ты стоишь ко мне спиной,
и я молчу, как тень.

Друзьям

Когда мне тяжело, когда покой нарушен,
я жду, что вот придут мои друзья,
послышатся шаги знакомые
снаружи,
им торопливо дверь открою я.

Привычно заскочив минут на двадцать,
они поймут, что хворь сильна моя,
потушат сигареты... Им расстаться
со мной захочется — их понимаю я!

И все же каждый раз, когда мне худо,
и за стеклом тоскливо и темно,
я ожидаю от друзей, как чуда,
как знака доброго — снежка в мое окно!

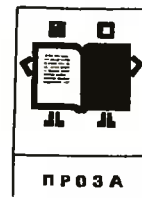
Круг

Есть круг. Очерчены судьбой
два человека в круге этом,
Не ты, а я стою с тобой —
так предназначено сюжетом.
Не ты, а я вошла в тот круг
и намертво замкнула звенья.
Ты слышишь тихий, тихий стук
однообразного движенья!

Вот видишь — это мы с тобой
идем, глаза не поднимая,
ты впереди, я — за спиной,
а рядом мне не быть, я знаю!

☆☆☆

Та лженаука мягких вздохов,
которая, сомкнув глаза,
бежит за мною скоморохом,
бездонной памятью грозя,
та лженаука гайных писем,
вранья и суетности слов
так вкрадчиво идет, что слышен
лишь только стук ее пподов.
Та лженаука мелких истин
прикрыта мудростью. И ты,
мой друг, мой друг, ты из корысти
укрылся зреньем слепоты!



ПОВЕСТЬ



«Р-78»

Ему было тридцать лет, когда он взял себе нового сменщика.

Лыжник, боец, стрелок; в гараже его звали «хищник».

Из-за нелепого прозвища он не переживал.

Прозвище его даже веселило, взбадривало. Про себя он думал: «Есть к чему тянуться, молву надо оправдывать».

А в гараже стшучивался: «На вас, мужиков, бычков пегих, должен быть один лютый зверь, а то заснете».

Шоферня — свои, и молодые и старые, в большинстве относились к нему с дозой восхищения: ну и ловкач, ну и темнило, ну и стрелок — одним словом, хищник. Многие, наверно, хотели бы быть на него похожими — не получалось. Для того нужно было иметь особый склад характера, внутреннюю струнку, бойцовость.

Все понимали, что он какой-то другой, хотя вроде и свой брат шофер, но так выходило, что машина у него всегда была самая лучшая, новая, сменщик самый безответный, заработки самые большие. Он всегда ходил чистый, подтянутый, без капли жира на широких плечах, с плоским животом. Осенью и зимой — куртка, затянутая в талии, летом джинсы — не индийские, американские плотные джинсы и из джинсовой же ткани голубая стильная рубашка с медными пуговицами. Рубашка и глаза были одного цвета. Волосы светлые, русые. Летом он быстро, не смотря на светлую кожу, загорал. Диспетчерши, бухгалтерши, мойщицы машин — женщины молодые и старые — его любили. Улыбнется — и ему утром первому дают путевку.

Вечером в слякоть и распутицу, когда возле базы выстраивался километровый хвост машин, он умудрялся без очереди мыть свою сверкающую «Волгу». Десятикопеечную конфетку вынет из кармана, полтинничек, анекдотек расскажет, пошутит, улыбнется. «И куда, Игорь, торопишься?» — ворчали пожилые мойщицы. «У меня дома жена молодая. Караулю. Ждет». «Ладно, ставь, сходи, машину сразу за директорской».

С точностью затвора на фотоаппарате — улыбка...

1. СНАЙДЕР

Благосполучная жизнь Игоря Глуценко начала катиться под сткос с того момента, как взял он себе нового сменщика.

Дело это, как считал Игорь, было ответственное: от сменщика зависело все — и исправность машины, и отношения с «хозяйством», и очередность стпусков. С прежним своим сменщиком Василием Игорь вел долгую позиционную борьбу. Василий парень был сговорчивый, ладный, но после того как, разойдясь с женой, запил, несколько раз не вышел на работу и его срочно пришлось подменять, Игорь решил от него отделаться. Конечно, можно было бы махнуть на Василиевы художества рукой да и не выйти в его смену, но хорошо сложенную персональную машину, пока «болел» лхисой Василий, могли на одну-две смены отдать в чужие руки, и после замучаешься в ремонтах. А машина для Игоря — кормилица, дойная корова, радетельница за его безбедную жизнь. Игорь отдежурил за Василия один раз, потом второй. День по городу — гараж — домой, спал — снова в гараж; здоровья, правда, у него еще хватало, но Игорь человек плановый, все у него учтено наперед, и нарушений в расписании жизни он не любил. Тогда Игорь и понял, долго еще Васек будет бултыхаться в семейных неурядицах: или вернется к жене, или ухватит его другая стчаянная женщина, — а пока пора спускать сменщика с подножки. Это оказалось делом нелегким, пришлось подключить жену шефа Наталью Сергеевну, намекнуть ей, что в гараже, дескать, всем ст Василия известно, что ездит сна в Серебряный бор к частной массажистке и на рынок на служебной машине мужа. Потом Василий вовремя не подал шефу автомобиль, потому что внезапно по дороге лопнул вроде бы новый ремень на вентиляторе, а запасной, лежавший в багажнике с инструментами, — выписывал-то запасной со склада сам Василий, — запасной ремень почему-то оказался ремнем не от «Волги», а ст «Москвича», тут хоть плачь. Шеф счел все это за нерадивость, и, хотя то, что его жена раз в неделю и съездит куда-либо, это не волновало, мелочь, но было досадно, что пошли разговоры. Выходя из машины у подъезда министерства, он перестал говорить Василию: «Ты свободен на полтора часа» или «Подашь к одиннадцати»; Василий изнывал в бездействии, мрачнел, потом шеф начал напутевке писать время, когда он отпустил своего шфера, а значит, вечером ни одной лишней ездки, на сигареты не приработаешь. Васек вянул, тускнел и как-то шефу сказал: «Вы бы отпустили меня на разгон, но полторы смены я стал уставать, а в разгоне хоть каждый день, но по всем часам». Шеф, не любивший перемен, внезапно легко согласился. На следующее утро он уже сказал Игорю: «Василий от нас переходит, ищите сменщика». «Слушаюсь, Юрий Викторович. Пожелания будут?» «На ваше усмотрение. Лишь бы парень был хороший». «Это правда», — подумал Игорь. — Лишь бы парень был хороший. А быть хорошим шфером я его научу».

Полтора месяца после того, как Василия пересадили за руль разгонной машины, пришлось преработать Игорю одному. Начальник колонны несколько раз предлагал ему сменщиков, но Игорь был чудовищно разборчив и нетероплив. Посадить за руль персональной автомашины нового человека нетрудно, каждому лестно, да и понимают, работа хстая и напряженная, все время начеку, но зато нет ни дальних изматывающих рейсов, ни бездорожья,

знай себе катать по столице, да и с текущим ремонтом проще, чуть машина не вышла на линию, сбегаются всей автобазой: и завгар Максимыч, и механик, и дежурные слесари — как же, перссналка! — но вст снять плохого, неугодного сменщика с машины — задача посложнее, тут нужны веские причины. Поэтому так тщательно Игорь и занимался кандидатурами. Со всеми закомился, будто бы ненароком, с усмешечками, с анекдотами, многих из шферов знал раньше. Один пил — значит в работе ненадежный; другой слишком любил деньги — будет гонять машину и в хвост и в гриву, а машина Игорю нужна и самому; третий вроде парень ничего, но курил — Игорь же десять лет к сигарете не притрагивался, в машине, кроме жены шефа — сна не спрашивала, — не разрешал дымить никому: берег свое здоровье, ведь хорошая минута, кейф ст сигареты это временно, а здоровье, солдатская крепость организма — на всю жизнь; у четвертого нелады в семье — значит, будет нервничать, суетиться; у пятого недавно родился первый ребенок: молдой стец вместо того, чтобы, приехав в гараж, лишний раз прейтись тряпкой по молдингам, будет ваться демсой. Игорь искал сменщика, как жену: ошибиться здесь нельзя, ошибка на всю жизнь.

И наконец Игорь в свсих смотрах остановился, выбор его, правда, многих удивил, но завгар Максимыч сказал: «В конце концов тебе, Игорь, с ним работать...»

Недели две Игорь наблюдал за новым слесарем, принятым недавно на базу. Был парнишка худ, вежлив, робок. Челочка косенькая надо лбом, серые глаза; не курил. Готов постерсниться, чтобы дать проход встречному. Жмет руку крепко, старательно, а рука большая, мужицкая, и хотя и слесарь, а чувствуется рука чистая, каждый раз после смены хорошо стдраенная. И весь парнишечка ладненький, подтянутый — и верно, сказалоь, из армии, лимитчик, значит, еще не испорченный московской жизнью, неизбалсванный. Светленький весь, румяный, если кто-нибудь выругается при нем, краснеет до шеи.

Случай свел их на ремонте. На линии у Игоря застучал передний амортизатор. В свободный час он заехал в гараж, по-барски, как всегда, бросил машину дежурному механику, а когда вернулся из диспетчерской, возле машины, поднятой на подъемник, возился молоденький слесарь. Амортизатор он уже сменил и теперь старательно ковырялся под задним мостом.

— Ну, а там что ты забыл? — спросил Игорь.

— На всякий случай решил сменить масло в карттере.

— Ладно, снимай скорее, мне пора ехать.

Парень нажал на кнопку гидравлики и, пока машина спускалась, быстро прстер тряпкой хремисванные диски, запывившиеся на смене.

— А это тоже на всякий случай?

— А это для красоты, — сказал парнишка и покраснел. И уши, и лоб, и шея.

— А сам-то ты сткуда, красавец?

— Я вологдский.

— Из деревни?

— Из деревни.

— А что в горд подался?

— У нас машин мало, деревня дальняя. А я машины люблю.

— Ремонтировать?

— И ездить умею.

— Учился-то где?

— Учился ездить, — сбстоятельно ответил парень, — у себя в деревне, а права получил в армии.

- Третий класс?
- Второй.
- А чего же пошел в слесаря?
- Да Москва такая путаная, я здесь ездить не смогу.
- А с жильем как?
- В общежитии живу.
- Ну, а зовут?
- Мама Володькой кликала.
- А меня Игорем. Вот мы и знакомы.

Отъезжая с базы, Игорь уже решил, что надавит на Максимыча, чтобы тот отдал ему в сменщики этого робкого Володьку. «Сначала договорюсь с Максимычем,— думал Игорь,— потом улетаю мальчишку, чтобы подал заявление, ну, а потом уж займусь его воспитанием. Сядем где-нибудь для строгости за бутылкой. Поговорим. Не век же малому ходить в мужиках».

Отметить новую должность Владимира решили в ресторане. Обычно Игорь был против хмельного— это для слабых духом и телом; лично его, Игоря, бодрить нечего, он и так всегда, как десантник, в состоянии боевой готовности, не протухнет ни в зарплатке, ни при встрече с «прекрасной незнакомкой»,— но здесь надолго влезешь в одну упряжку. Такое дело надо запомнить, торжественно отпраздновать.

Ни в «Якорь» на улице Горького с его скромной рыбой кухней, ни в плавучую «Ласточку» возле Каменного моста, ни в роскошную «Россию» Игорь для празднования торжественного момента Володю не повел. Ему требовалось что-нибудь истинное, не убивающее внешней роскошью и имитируемой суетой официантов, нужно было, чтобы сама атмосфера, привычный и отработанный комфорт, изысканная, несжидаемая и плотная кухня, чтобы они безотказно, как выстрел из духового ружья, действовали на воображение, демонстрируя на уровне таинства лишь одну его сторону: ритуал коллективного— да— принятия пищи, по извечной человеческой традиции связывающий, как обряд, все самые важные моменты человеческой жизни. Ведь недаром и похороны, и свадьбы, и рождения, и вселение в новый дом— все это сопровождается совместным вкушением пищи. Игорь выбрал старинный и вышелегальный «Метрополь».

Уже возле входа в ресторан— с улицы, через стеклянные двери,— глядя на мраморные ступеньки, развесистые канделябры, на старинную живопись, точнее, на отсветы от богатых рам, на зеркала в тяжелых багетах, на мрамор, блеск, на бородатого, недвижимого швейцара, пылающего галуном, глядя из-за стеклянной двери на иной, действующий, видимо, по другим правилам и законам мир, столь отличный от простецкой деревенской атмосферы, в которой воспитывался он сам, Володя взмолился, тербя Игоря за рукав:

— Дядя Игорь, а может быть, не пойдем? Может, посидим в пивбаре на Пресне? Может, и не пустят сюда? Как увидят мою лапстную морду, так и не пустят. Как узнают они— эти «они» для Володи были слицеванием людей, живших в блеске искусного хрусталя и мягкости ковров,— как узнают они,— говорил Володя,— так еще осрамят. Да кто сюда, дядя Игорь, ходит?— почти хныкал Володя.

— Ходят сюда, Володя,— сказал Игорь, решительно взявшись за огромную, похожую на скрипичный ключ медную дверную ручку,— ходят сюда только те, и лишь те,— многозначительно подчеркнул,— у кого хорошие деньги. А другие не ходят. На валюту ли, на рубли. Запомни это и не тушуйся и вообще не тушуйся. Со мной, зайченок, не пропадешь.

Но на пути у Игоря и Володи возникло осложнение. Швейцар. Когда они поднялись по мраморной лестнице в гардеробную, то стоявший на пороге служитель сделал навстречу небольшой шаг, вернее, просто отступил вперед, как бы преграждая дорогу, но тут Игорь, вызывая в Володе чувство глубокого восхищения своей умелостью, чуть приостановился и пристально и внимательно поглядел в глаза швейцару. И швейцар как бы смяк, и уже ненароком отступил, и пропустил двух непривычных посетителей.

Огромный, как крытый стадион, зал ресторана поразил Володю. Он, конечно, и раньше знал, как украшают вокзалы, столовые и кафе, но никогда такого великолепия не видел. Над головами таинственно мерцала разноцветным стеклом крыша, по бокам зала, мягко подсвеченные снизу, тянулись колонны, в центре, как бы подчеркивая совсем не комнатные размеры сооружения, был мраморный фонтан, и его мягкий, ненавязчивый шепот единым фантом перекрывал стелющиеся выкрики официантов, звяканье дорогой посуды и нестройный приглушенный звук шагов.

Такого великолепия Володя еще никогда не видел. Вся эта атмосфера изысканного, редкостного старинного барства поражала, воссвию демонстрировала несоответствие его скромной зарплаты швейцару этому огромному залу, возможности вкушать здесь пищу, сидеть, слушая негромкий, как музыка, барственный шумок этого храма веселья, тонких, неизвестных ему, Володе, отношений, иных слов и жестов.

И Володя снова стушевался: ну куда ему-то с кушанным рылом в эти буржуазно-интеллигентские воздушы; как последнее спасение, мелькнула вялая мысль: рвануть плечом, на котором ускользающе тяжелела рука Игоря, кинуться в три прыжка мимо бородатого швейцара, мимо гардеробщиков в галунках с красными набряжками лицами и— на улицу, на свежий воздух, где несуется машины, ходят такие же усталые после работы люди, где шумно, суматошно и где, главное, он, Володя, знает, как ходить, как спрашивать, во что быть одетым, где, сказать попросту, он знает свои права и обязанности. Володя был на грани этого сладостного, нелегкого для него поступка, но рука Игоря настойчиво сдвигала плечо, и, словно бы понимая, что происходит сейчас в душе его маленького товарища, Игорь тихо, почти на ухо сказал:

— Нешадача, Володя, сюда вовсе не пойти. А вот чтобы все эти шестерки,— Игорь подбородком, взглядом указал на торжественных, одетых в черную белую униформу служителей,— чтобы шестерки эти вокруг тебя крутились, чтобы признали за человека— это, зайченок, не просто.— И уже ничуть не волнуясь, не переживая за свой не совсем ресторанный, а скорее спортивный, но, впрочем, по нынешним меркам вид достаточно солидный и respectable— джинсы, кожаная бельгийская куртка в талию— все импортное, дорогое, свидетельствующее не только о том, что обладатель всех этих светских успехов человек не без денег, а главное, со связями,— не суетясь, не запуская руку в затылок, не сдерживая на себе одежду, а небрежно и холодно, что дается бывалоюстью и закалкой, проанализировав всю свободную наличность мест, сориентировавшись таким образом, чтобы было безусловно удобно, чтобы не тыкнуться за резервированный столик, чтобы было видно зал, чтобы рядом со столиком не чадила кухня, не гулял по ногам сквезняк из гардероба, и сам, чувствуя себя молодцом и умельцем, Игорь чуть аффектированно сказал Володе:

— Я думаю, мы сядем около фонтана: и людям видно и нам удобно. — И подошедшему официанту тут же сказал вразумительно и спокойно: — Надеюсь, эти места свободны? — Конечно, садитесь, у нас в это время, в пять, почти никого нет.

— Вот и прекрасно. Иногда и мы кончаем так рано, что в вашем храме еще нет напыла гостей.

За круглым столиком возле фонтана Володя почувствовал себя увереннее. В конце концов тарелки обычные, побольше только вилок да чашек, и стоят фушеры, а так — наверное, Игорь прав — обычный «Общепит», и потом, они же за все: и за улыбку официанта и за лепетание фонтана — они же за все заплатят. Полновесным рабочим рублем: вот и у него, у Володи, резервные полсотни лежат под корочкой паспорта — «из». А значит, если есть материальная независимость, можно расслабиться и не так переживать. А может быть, по московским нормам так и положено, чтобы сыны Володьки, крестьянский сын, хоть изредка заходил в такое роскошное и уютное место?

Напротив Володи, полжизни смуглые кисти рук на скатерти, сидел Игорь. Лицо у него было, как всегда, чуть напряженно, но тем не менее той педантской твердости во взгляде, которую заметил Володя на пестнице, когда Игорь глядел в глаза швейцару, уже не было. Скорее наоборот, взгляд у Игоря был теплый, и он с сочувствием смотрел на своего нового друга, понимая, какое душевное напряжение испытал Володя, прежде чем сказался в своем удобном полукресле, словно за спасительный якорь, держась за крошечку круглого стола, накрытого белой, жесткой на ощупь скатертью. Определенно, в глазах Игоря видел Володя теплоту, от которой, судя по всему, тот стывал, да и Володя за армейской службой, неустойчивостью первых месяцев, скитаниями по общежитиям, за всей своей трудной начинающейся мужской жизнью забыл ее, эту ласковую, всепроникающую теплоту, которая струилась на него из голубых глаз, как из глаз старшего, всепроникающего брата или отца. И тут у Володи даже мелькнула мысль, будто он действительно для Игоря становится кем-то вроде младшего брата или даже сына, и про себя решил, что всегда будет относиться к сменщику честно и искренне, будет стараться из всех сил помогать ему и в гараже и на ремонте делать все, что только сможет, не считаясь со своим временем и трудом.

Игорь, конечно, по мнению Володи, этого стоил, потому что вытаскивал его из однообразной слесарской работы, взял к себе на машину, на ту должность, о которой, как представлял себе Володя, мечтали многие и более опытные, знающие и разбитые ребята. Вот только за что свалились на него эти блага, почему этот прекрасный человек Игорь, умный, уверенный в себе, самый рачительный из всех, кого Володя только узнал за свои двадцать два года, остановил на нем свой милостивый взгляд — этого Володя постигнуть не мог. И тут, пока эти мысли кочевали в сознании до того, как они выпили по первой рюмке, и начались у них разговоры.

Когда два товарища удобно расселись, несколько побывали — это касалось скорее Володи, — подошел прежний официант и очень доверительно, по-свойски, и за этой свойскостью, конечно, читалось стремление побыстрее отделаться от непривычных и, возможно, беспокойных посетителей, сказал:

— Значит так, ребятки, по салатике, по шашлычку, минеральной водички, а пить — водичку?..

Лицо у Игоря приняло упрямое и злое выражение, скулы сбиты. Игорь взглядом, как фокусник,

отодвинул от себя развязно склонившегося официанта, принудил его стоять собраннее и лишь только после этого негромким, даже простецким, но в меру внушительным голосом сказал:

— Нет, дорогой, — и взгляд его чуть потеплел, потому что официант уже стоял с каменным и напряженным лицом, — мы выберем несколько иное меню, и если вы нам, дружище, — в голосе Игоря не слышалось ликования оттого, что он так круто отбрил наглеца, — поможете, то мы будем вам признательны. Начнем, наверное, с меню, — продолжал Игорь, — а впрочем, может быть, не надо? Мы же не будем есть с тобой, Володя, — взгляд на товарища, — разносолев. Мы люди с тобой простые, — Игорь чуть куражился, — шофера, рабочий класс, работяги. Но если нам хочется гульнуть, мы можем себе это позволить. Итак... — Игорь уже постукивал пальцами по большой, похожей на почетную грамоту, карте меню. Карту официант сразу же, при первых признаках несогласия клиентов с его планами взял с сервировочного столика и подал Игорю, а сам снова застыл с раскрытым блокнотом. — Мы возьмем, если не возражаете, мой друг, следующее. В первых, конечно, салат. Мы не станем есть скверный салат, залитый майонезом, где горку вчерашней картошки прикрывают четыре стружки мяса. Раньше этот салат назывался «оливье», теперь «помосковский». Мы возьмем салат из овощей: из свежих помидоров и огурцов. Ведь в таком ресторане, как ваш, дружок, не может весной не быть помидоров и свежих огурцов?

— Имеем.

— Отлично. Мы люди не гордые, мы попросим у вас помидоров, один сгустец, зеленого лука, тарелку и заправку: немножечко уксусу и растительного масла. А еще на закуску, — что с нас возьмешь, грубые люди, шоферюги! — принесите нам селедочку и, пожалуйста, без вашего дурацкого гарнира. Так, грубо, по-солдатски, без украшений и трапез, но косточки чтобы были вынуты, и к ней — мы, конечно, готовы ждаться — свежесваренную, я подчеркиваю, — продолжал куражиться Игорь, — прямо с пылу, с жару, в кастрюльке, свежесваренную картошечку. На закуску мы не будем заказывать ни заливную осетрину, ни буженину — буженина, конечно, чуть лежала, и осетрина приваля, потому что все это в холодильнике со вчерашнего банкета. А попросим мы вас с моим другом принести нам пару порций сосисины, но только в том случае, если она у вас малосоленая, почти сырая. Есть?! Вот и прекрасно. И к этому, чтобы почти закончить с закуской, я подчеркиваю «почти», нам нужно всего двести граммсы водочки. Не поллитра. Ну, вы сами подумайте, жалакаемся мы водки — ни вам от нас удовольствия, ни нам удовольствия от еды и от беседы, а мы с другом собираемся здесь поговорить по душам. Согласны с моими доводами?.. Вот и прекрасно. И чтобы нам покончить с закуской, как шлифовочку под селедку и сосисину, вы нам дадите горячие шампиньоны в сметане. Эдак минут через пятнадцать после картошечки. И сразу же после шампиньонов можно нести новое блюдо. Конечно, блюдо это должно быть основательнее. Здесь мы на всякие остроумные заправки, жульены и заедки не пойдем. Нам две бараньи стбивные котлеты. Можно и пожирнее, мы еще молодые, болезней сосудов и гипертонии не наблюдается. Теперь перейдем к рыбе — мы ведь даем друг другу званый обед, поэтому все должно быть по-настоящему, хотя дичь мы, наверное, спустим. Итак, рыба. Вы, товарищ официант, согласитесь с нами, что шашлык из осетрины, осетрина на вертеле, судак орли, судак по-польски — несколько по-

нупчески. Мы останавливаемся на карпе в сметане. Естественно, перед тем, как карп попадет в сметану, он должен подавать некоторые признаки жизни.

И в этот момент официант, на лице которого за время монслога Игоря сменилось много различных выражений, какие тоже были достойны кисти художника, как бы дернулся, будто хотел вставить в тугою и сладкую, как нуга, речь Игоря свое замечание. Но Игорь жестом его перебил.

— Нет, нет, я ничего не хочу подумать плохого о вашем заведении. Свежие, живые карпы у вас, конечно, нис, нис, нис, но я вас прошу, не делайте для нас цирковых аттракционов. Не подвезите тележку с супницей, в которой в конце будут быть хвостами представители славного семейства скуновых. Не заставляйте нас выбирать, тыкать пальцем, тем более, что потом — мы-то с вами знаем! — вместо выбранного нашим тыканьем дышащего, бодрого карпа, на кухне вполне могут кинуть на сковородку заснувшего еще в прошлую декаду. И, конечно, карп требует завершения — десерта: это как обычно — мороженое, кофе и... счет, и тут мы сердечно поблагодарим вас за гостеприимство. Но мы не обсудили с вами еще одного пункта нашего праздничного меню. Вино. Мы, конечно, как шофера, а выпивший за рулем шофер — не шофер, люди малопьющие, но неужели два вполне здоровых хлопца, собравшихся на дружескую пирушку, не достойны доли более значительной, чем двести грамм водочки?! Что бы вы, к примеру, порекомендовали к нашему меню двум интуристам из стран с конвертируемой валютой? К рыбе — белое, к мясу — красное и по рюмке коньяка на десерт. Вы, конечно, не стали бы навязывать им «мартель», «наполеон», либо «кюрасо», вы же знаете, что коньяк для высшего любителя и знатока определяется не древними медалями, художественно обработанной сургучом пробкой и корбочкой, в которой хранится и бутылка, и пробка, и божественный напиток. И если иметь в виду лишь одну рюмку коньяка, как выражение редкостного духа напитка в его самом высшем, безусловном качестве... вы меня понимаете, вы человек современный и интеллигентный, — обратился Игорь уже непосредственно к официанту...

Весь этот полуриторический монслог был произнесен именно ему, холемсу и уверенному в себе официанту, хотя Володя и подозревал, что в известной мере ситуация разыгрывается и для его, Володя, образования, как бы в назидание будущим дням Володи. Но последние слова — и в этом тоже был какой-то особый смысл, еще не схваченный до конца им, Володей, — Игорь произнес, уже прямо глядя в лицо официанту, обрамленные косыми мужественными баками, — не на его плечо, не на черный галстук-бабочку, не в лацканы фрака, а непосредственно в лицо, в глаза. И от этого слова «вы человек современный и интеллигентный» прозвучали особенно значительно, наполненные каким-то тайным смыслом, понятным, пожалуй, лишь официанту, — Володя только сейчас обратил внимание, что возникла какая-то неувязная связь между валяжно сидящим Игорем и стоящим в подчеркнутой внимательной позе служителем. Возникла и неожиданно оказалась довольно прочной, то есть выкованной не только тут, внезапно вспыхнувшей симпатией, а более глубокой внутренней общностью. Вот так.

— ...Так вот, если вы меня понимаете, — предложил дальше Игорь; теперь он уже говорил, одновременно как бы обращаясь и к Володе, ища в нем внутренней поддержки и восхищенного зрителя, — то если бы на нашем месте, у фонтана сидела пара

господ, расплачивающихся свободно конвертируемой валютой, то во имя поддержания вашей профессиональной чести, славы нашего виноделия, вы не подали бы им ни очень дорогой «КВ», ни семизвездочные особые коньяки, ни эти новомодные, вроде «Большого приза», вы бы поставили две скромных рюмочки — и цена кстати, средняя — коньяка «Двин». А раз ваш точный вкус и производственная грамотность уже подсказали вам «Двин», то выбор вина к нашему обеду — это пустяк, загадка, которую вы разрешите, как маг, как Эмиль Кио, в одно мгновение — никаких болгарских и венгерских рислингов, ваш выбор очевиден — грузинское, и теперь детали: белое — «Цинандали», красное — «Мукузани». Итак, на этом все. Я прошу смиренно простить меня за влеречивый монолог, и теперь мы, наш дорогой кормилец, с нетерпением ждем вас скорее обратно, нагруженного припасами и по-прежнему доброжелательного и увлеченного своим делом.

Как только ухмыляющийся развеселившийся официант бодрой, упругой рысью отошел от стола друзей, Володя, уже несколько свыкнувшийся с обстановкой, спросил:

— Игорь Савельевич, а почему вначале, когда вы стали говорить, официант был весь сам не свой, я думаю, он нас пугает, а в конце он уже разулыбался?

— Если говорить по существу, по-солдатски прямо, мы заказ сделали с тобой ничего, на хорошую сумму, значит, он все с нас возьмет, зарабатывает, и, главное, он понял, что мы такие же, как и он, с п р а в н ы е мужики, не фланеры, не фуфлы, которые забрели случайно, не мелкие пижоны с пятеркой в кармане, не киряльщики, у которых душа так пылает скорее выпить, что им все равно, куда вороваться, а мы сюда явились, потому что знаем, что здесь лучше всего в Москве поят и кормят, и не куражиться, а просто требуем всего и своего не упустим. Он понял, что на дурика, за здорово живешь, чаевых он не схлопочет, но если хорошо потопает, попотеет, чтобы нас душевно обслужить, то ему соответственно скинут, обязательно скинут! Он сориентировался, а с п р а в н ы й мужик цену копеек знает, за ней надо и побегать и поклоняться.

— А что же такое «справный мужик»?

— Я тебе потом объясню. Вот я справный, официант справный, ты, если будешь слушаться, станешь справным: который мужик пьет, который зарплату пропивает — это не мужик. Но и который в получку за полмесяца жене приносит шестьдесят рублей и каждый день берет у нее на метро и пачку «Примы» — тоже не мужик. Ты думаешь, этот официант приехал на работу на автобусе? У него где-нибудь за два квартала отсюда стоят собственные «Жигули». Только он к подъезду на них не подъезжает, чтобы глаза не мозолили! Ему не важно казаться, важно быть. Справный мужик — это мужик, который умеет жить... Но только подробно я тебе потом объясню.

Тем временем официант вернулся с подносом и стал расставлять кушанья. Делал он все легко, быстро, и Володя смущало только, что в общем-то этой женской работой занимается здоровый парняга. А парняга этот, расторопный официант, был действительно завидный. Широкий в плечах, рослый, руки сильные, вселотые, мускулистые, а посмотришь на лицо — и симпатичный, голубоглазый, подбородок вслевый, чем-то даже парняга этот был похож на знаменитого актера Тихонова, игравшего Штирлица. Теперь, после рассказов Игоря, на этого официанта Володя уже смотрел несколько подзри-

тельно. Но «подозрительным» парень ничем не выделялся, лишь на сильной и крупной в запястье руке блестят — Володя уже видел такие, знает — дорogie, на тяжелом браслете, заграничные часы. Но какой же прекрасный стол накрыли эти «подозрительные» руки! Постарался парень на славу и всерьез: никакой скидки на простецкость клиентов. Выстроились ряды вилок и ножей, перед каждым прибором встала шеренга бокалов и рюмок. Тарелки закусочные, тарелки поддонные, тарелки для хлеба — сервировка по первому дипломатическому классу, будто премьер-министр английской королевы пригласил на ужин лидера оппозиции. И среди фирменного фарфора, хрусталя, мельхиора, накрахмаленного полотна целая редкая красота гастрономический натюрморт. Было даже неловко и неуважительно к чужому труду начинать рушить эту мастерскую композицию, где яркие тона свесцей соседствовали с пастельными лососины, с жемчужными селедочных спинок и мерцала почти прозрачная сангина сливочного масла, лежащего на кубиках льда. Официанту, увлеченному делом, видимо, и самому было грустно расставаться с этим произведением искусства, которое создал. Он долго крутился, поправляя то салфетку, то накидывая веточку укропа на блюдо, и наконец, как бы нанеся на картину последний штрих, снял с серебряной кастюльки с картонной крышечкой. Волна сухого и аппетитного пара на мгновение поднялась над столом — «пустые», холодные углы натюрморта на миг затянуло дорogieй, под старинных мастеров, патиной — все, картина закончена.

— Давайте, ребята, — совсем по-свойски сказал официант, — рубайте, счастливо вам провести время, справляйте...

Как и всегда, после первой рюмки, выпитой за знакомство и дружбу, за столом попримолкли и слышалось лишь звяканье вилок и ножей, — пища была вкусная, аппетитная. Ну, а потом, когда поугостили голод, стал Володя спрашивать у Игоря, а тот ему отвечать про ресторанный обычай: какой вилок что есть и как обращаться с хлебом; сказывается, не ломать его, кусками на скатерть не класть, а для этого есть специальная тарелочка. Много интересного и совершенно для Володи неожиданного рассказал здесь Игорь, он и в дальнейшем натаскивал и в быту, и в работе, и в жизни своего младшего товарища, как младшего братишку, — так много занимательного рассказал, что Володя даже не вытерпел:

— И откуда вы, Игорь Савельевич, про все знаете?

— И ты, Володя, узнаешь, если будешь правильно жить, а сейчас выпьем давай за главное. Завтра ты впервые приступаешь к новой работе. Это не обычная шоферская работа, и возможности здесь иные. Все, что связано с обслуживанием машины, с вожделением, — этому я тебя учить не стану. Ты и сам знаешь и должен знать. Завтра в твой первый рабочий день я тоже выйду на линию. Расскажу тебе маршруты, по которым приходится ездить, а уже со следующей смены — ты один. Старайся, Володя, все делать честно, добросовестно, но иллюзии, всякие фантазии тебя не должны увести в сторону. Каждому — по труду: запомни это твердо. Помочь каждому надо, но смотри, чтобы тебе не сели на шею. В жизни есть много интересного и заслуживающего внимания, но без денег, без знакомств ты ничего не достанешь. Копейку надо уметь делать и сохранять. Чужую не бери, но и то, что можешь заработать, урвать, — от этого не отказывайся. Помни, Володя, что начинается твоя жизнь

новый путь, тебе надо одеться, устроиться с хатой, постом создать семью.

— Дядя Игорь, — перебил Володя, — а вы-то женаты?

— Нет. Не перебивай. Пока нет. У меня это запланировано года через три-четыре. И ты должен жить по плану, так, чтобы суметь от жизни схватить кейф: живем-то действительно один раз, и прожить надо, чтобы все посмотреть, постараться почувствовать себя и барином и мужиком, понять, как живут люди, постараться иметь все, чтобы никому не завидовать, «чтобы не было мучительно больно»... Не быть слухом. Есть, конечно, такие, которые по три высших образования схватили, а все это им и не нужно, не знают, куда убить время, и специалистами хорошими не стали, а хвастают перед соседями своими корочками. А настоящий мужчина должен все делать рационально, никакой лирики, как в пекарне: должен быть выход продукции — и приварок. Ну, ты, может быть, меня и не до конца понял, но добра я тебе желаю искренне. Со временем разберешься, и что сейчас не ухватил — дососображаешь. Жизнь, сна, как пешеходный переход, как зебра — полосами идет. А сейчас помни, Володя, у тебя хорошая поспаса. Выпьем, за твоё здоровье.

В этот вечер, смакуя вино, шоферы, как и всегда в России за столом, много говорили о работе. То есть они, собственно, весь вечер переговаривали о работе, но, как всегда, пересказать этот разговор почти невозможно, потому что здесь шли волнующие воспоминания о сложных ситуациях на дорогах, об не вовремя спустивших баллонах, о карбюраторах, трагически портящихся в критические моменты, об узлах, системах, о сортах масла, о нагарах на поршнях, о зазоре на кулачках, о давлении в тормозной системе, и о многом таком, с чем помыслить может или шофер, или автолюбитель. Но за этой технической мозаикой один эпизод заслуживает внимания.

Когда официант подошел, чтобы подать очередную перемену, Игорь снова уловил восхищенный и заинтересованный взгляд, которым Володя смотрел на импортные часы. И тогда, чтобы сделать парню приятно, удовлетворить его любопытство, а может быть, имея в виду особые педагогические цели, Игорь спросил у официанта:

— Мой товарищ интересуется, какой у тебя марки часы?

— «Сейка», Япония, — ответил официант безо всякого вызова, отведнув рукав на запястье, чтобы часы были лучше видны.

— Справные часы, — подтвердил Игорь. — Фирма! На всю жизнь.

— Это верно, друг. И классные они мне показывают время.

2. СПРАВНЫЙ МУЖИК

Игорь не любил автомобилей, хотя относился к ним расчетливо-преданно, как жockey-профессионал относится к лошади: хлест ее и балует в надежде когда-нибудь выиграть на ней приз. Но машину Игорь знал хорошо. Когда-то, в ту пору он еще только впервые сел за руль такси, он потратил много времени и сначала в теории, по книгам, а потом и на практике со слесарями, которым часто, как они считали, по доброте душевной, помогал на ремонте,

беря на себя самую черную работу,— со слесарями этими вызубрил он машину наизусть, приобрел тот автоматизм в поисках неисправности и в ее устранении, который и свидетельствовал о высшем, безукоризненном профессионализме. Зато теперь такой фактор, как возможная поломка, внезапный сбой в механизме, он почти не принимал во внимание, когда, получив машину на два-три часа в собственное распоряжение, стремительно бросал ее, загрузив подвернувшимися пассажирами, во Внуково, в Шереметьево или в Домодедово. Учитывая лимит времени — только-только туда и обратно,— если машина по дороге портилась, он почти всегда успевал, подкрутив, поддув или заменив что надо, подать машину любившему точность шефу. Игорь считал, что все их взаимоотношения с шефом держатся на точности. Если шеф, Юрий Викторович, сказал, что машина нужна ему в три, значит, без двух минут три Игорь уже стоит у подъезда. Шефа не волнует, где Игорь пропадал два часа до трех, но зато так же не беспокоит, как и на чем Игорь добирается из гаража, если лишь в час ночи после срочной работы будет возвращаться домой. Но такой порядок Игоря устраивал. Машина практически в его распоряжении. Он и гонял ее в хвост и в гриву. И в те моменты, когда возникали «осечки», он предпочитал ни во что шефа не ввязывать. Один раз был такой случай. Юрий Викторович приехал на работу. Игоря отпустил. Тот предпринял небезыгодный дальний рейс в новый район. Когда по пути, на ухабах экспериментального квартала, расклинило передний мост и рядом не оказалось ни одного телефона, чтоб хотя бы предупредить секретаршу Юрия Викторовича, Игорь предпочел, предварительно перевез машину, на такси приехать к министерству и на этом же такси — за свой, конечно, счет, отвезти Юрия Викторовича обедать, нежели вызвать в том неудобстве собственным либерализмом, дескать, если ты, голубчик, в свободное время ломаешь автомобиль, то стой, голубчик, до потери сознания у подъезда конторы.

Игорь не брезговал ни часом, ни пятнадцатую минутами «вольной жизни». Снайпер, стрелок с мгновенной реакцией и точными, выверенными решениями. За деньги, за рубли надо и попотеть. Он и потел, иной раз до седьмого пота. И это было — Игорь работал через день — каторжный труд. А ведь все время надо было сохранять добротный вид и атмосферу барственной любезности — я вам, милые москвичи, сказываю любезности, подвожу вас к вокзалу или в аэропорт, а уж ваше дело подумать, как отблагодарить радивого шфера. Нет, нет, Игорь никогда не вымогал: разве любезность требует какой-либо благодарности? Но его благодарили. Он был физиономист, психолог. Он соображал, каким клиентам и не «подзаправиваться» с услугами. Но в конечном счете знал: разве он зарабатывает меньше, чем его шеф, перед которым ему приходится открывать дверцу? Разве он меньше него вкушает от прекрасного древа жизни? Только шеф прикован к своей пямке, к своему «долгу» по двенадцать часов в сутки, приезжает на работу в субботу, стареет в пыльных креслах представительского кабинета, а он, Игорь, гребится только через день, и то даже тут не шеф, а он, Игорь, хозяин положения, потому что терпит все и сносит, чтобы работать на себя, чтобы жить весело и достойно, с юности страдая свое здоровьишко от излишних стрессов, чтобы чувствовать течение жизни и счастье так, как шефу и не снилось. Чтобы иметь потом сильных и здоровых детей, вырастить их и суметь дать им перед выходом в жизнь хороший материальный импульс, чтобы им-то не приши-

лось... Игорь считал, что он живет правильно. И эту свою заслугу видел в главном: он вовремя определился.

В том, как сложился его характер, не следует искать социальных корней, потому что из той послевоенной скученности, где рос он, из того же дома, из тех же квартир, вышло много людей достойных, соединивших свою судьбу с глубокой преданностью делу, для которых понятие совести в ее глобальном значении не являлось незнакомым.

Наш спортсмен, снайпер не всегда был таким. Не всегда в глазах ближайшего окружения он был в распе. Его авторитет теплился скорее на скамье запасных, нежели в первой шеренге нападающих. Во дворе и в доме, полном такой же суровой послевоенной безотцовщины, Игорь не был лидером. Никогда не становился решающим его мнение, идти ли купаться, играть ли в лапту или в казаки-разбойники, а в школе его никогда не выбирали даже звеньевым, даже в редколлегии классной стенной газеты. Во дворе верховодили Абдулл, Сенька Ворснот, Петя Гуманюк, в школе — Венька Романский, Зойка Телегина. Это были приращенные лидеры, недаром Сенька стал потом прославленным бригадиром строительных комплексов, Абдулл в двадцать девять судился как руководитель и атаман банды и сгинул на большие сроки, Венька стал дипломатом, Зойка — в двадцать семь — доктором наук. Это был прекрасный, личностный двор и дом, населенный будущими гениями. В этом смысле Игорь с трудом вписывался в собственную компанию.

Маленький, купеческий особнячок стоял в Замоскворецке на границе довоенного, но все же нового квартала. В особнячке, в комнатах, выгоревших из бывших гостиных и парадных спален, жили дворничихи, медсестры, швеи из ателье, уборщицы, истопницы (уже появились первые мусоропроводы, но почти не было теплоэлектростанций, кустельные существовали при каждом доме), жила аристократия — паспортистка, официантка из «Астории» и техник-геодезист — мать Веньки Романского и его сестры Татьяны. Все женщины одинокие, несчастные, с детьми, которые при своей безотцовщине не чувствовали себя обделенными и задавали тон среди сверстников улицы. И в этой жизнерадостной и талантливой бригаде угнетенным чувствовал себя лишь Игорь. Не было в нем золотого сыночка. И если из вчера посмотреть на Игоря сегодня, то он, безусловно, как принято говорить в интеллигентных кругах сейчас, — «человек, сделавший себя сам».

Уже с девятого класса, особнячковая молодежь объединилась в небольшой кружок, куда посторонние допускались с большим разбором. Собирались обычно у Веньки Романского.

Это была прекрасная комната. В бывшем купеческом, с двумя рядами окон залы когда-то поверху шел большой фриз из античной жизни. Мчались короткогривые кони, запряженные в колесницы. Витали легконогие боги, могучие кентавры психищали прекрасных женщин у ожесточенных лапифов. Вмешивались в их битву копейносы, одетые в короткие панцири и пенюжи. Потом, в войну, когда народу жить было негде, высокий зал разгородили на два этажа, поставив перекрытия. И уж в каждом этаже повыгородили комнат, коридорчиков и комнатусшек. Так, мчавшиеся когда-то под постолком кони сказались рядом с людьми.

Игорь хотя и был посвященным, как свой, особнячковый, но не являлся жрецом, пересвященником. Хозяином положения, как и хозяином комна-



ты, лидером был Венька Романский. С тщательно подавляемым чувством зависти Игорь обычно сидел на огромном кованом сундуке — деревенское наследие Венькиной матери — геодезистки, по всей полевой геодезической компанейскости, позволявшей Веньке и его сестре Татьяне все: и собирать до любого часа гостей, и приглашать к себе кого им вздумается, и ездить в походы с субботы на воскресенье, и оставлять ночевать, на полу, на старой железнодорожной шинельке, принадлежавшей погибшему в войну стцу, своих гостей, а утром, несмотря на бескормицу и трудности с продуктами, — поить чаем с хлебом и сахаром и ставить на стол огромную сквородку картошки, жаренной на хлопковом или кукурузном масле.

Вечерами, сидя на могучем фамильном сундуке, на стульях, обтираемая худыми спинами античных коней, в маленькой комнате говорили категорично и небрежно, а в десятом классе говорили уже свободно и раскованно, и староста класса Алексей-граф — так прозывали парнишку с соседней улицы за легкую походку и подтянутое породистое тело — Алексей-граф, философствуя, почему-то не сводил взгляда с Татьяны, он, Игорь, тоже не сводил с нее взгляда, но Игорь был как бы вне игры, как его слова и высказывания, его взгляд не принимался всерьез. И если Алексей-граф изредка получал, как мячик в теннисе, свой же взгляд, только согретый в глазах Татьяны, обратно, то Игорь — никогда. Никто не замечал, когда он входил в комнату или выходил, и если его не было вечером, то общий разговор не становился ни скучнее, ни интереснее. Он был сесей, его терпели и даже, наверное, любили как товарища детских игр, свидетеля и участника общей многотрудной жизни, но он был ни как и м, ему еще предстояло кем-то стать, удивить, а быть может, и воспитать своих друзей, его слова, его поступки еще не были освещены неповторимостью его, Игоря, личности. Он только завидовал Алексею-графу, Веньке Романскому, их врожденному умению каждым своим словом, даже незначительным, приковывать к себе внимание, становиться, совершенно того не желая, в центре споров и мнений. И еще в такие вечера Игорь страстно мечтал взять у этой компании хоть когда-нибудь, хоть в чем-нибудь реванш, чтобы хоть раз Татьяна взглянула на него так же, как изредка глядела на Алексея-графа.

После окончания десятого класса Игорь в институт не попал. Его взяли в армию, и тут, по пути в часть, в вагоне, набитом такими же, как и он, стрижеными под нулевку угловатыми новобранцами, глядя в окно на пейзажи, размываемые сухими слезами стчаяния и зависти, весь напряженный от несправедливости жизни, поклялся себе взять этот реванш. И даже свою солдатскую долю он должен превратить в победу и в армии не должен потратить ни минуты даром. И тут же он составил себе план: а) использовать службу для своего физического развития; б) получить специальность, которая пригодилась бы ему на «гражданке».

План свой он выполнил.

Игорь оказался учеником шифера. Батальон не видел лучшего солдата. Солдат знал или старался узнать все; он был первым в стреловой подгруппе, лучше всех бежал кросс, чище всех драил автомат, явнее всех представлял себе материальную часть автомобиля, точнее всех усвоил правила уличного движения, был неслепым здоровьем, редкого оптимизма и неиссякаемого веселья. Солдат взял все, что возможно, за год пребывания в батальоне: московский художесный паренек вымахал в гладкого молодца. Стоячий ворстничек обхватывал сильную,

загорелую шею, лопалась по швам гимнастерка на плечах, и только широкий солдатский ремень по-прежнему стягивал тонкую мальчишескую талию. Это была надежда батальонного начальства, золотой фонд, но пока начальство было занято, куда же красавца распределить, कैसे осчастливить подразделение, красавец внезапно заболел. Глядя на эти несбываемые плечи, накачанные на турнике и напитанные сытным солдатским приварком, глядя на сильные кисти рук, на лицо, пышущее весенним румянцем, разве кто-нибудь мог предположить, что чудо-богатырь начал хиреть, что его подтачивает серьезный и совсем не юношеский недуг? На следующий день после получения видительских прав Игорь сказал сержанту: «Ты меня больше не тереби, я скоро демобилизуюсь».

Задолго до расковой фразы, поседавшей сержанту, что тот может не рассчитывать на доблестного шифера, не одну ночь под солдатским одеялом пролежал Игорь, обдумывая свои виды на жизнь.

Поска Алексей-граф демонстрирует перед Татьяной свою независимую раскованную походку, шепчет ей на ушко теплые слова, пока сама Татьяна, граф, Венька зубами грызут гранит институтской науки, он, Игорь, служит.

Золотые выходные дни в увольнении Игорь проводил в городской библиотеке, радуясь, что десятилетка в принципе не прокатилась для него даром: если и не толкнула она его, сердечная, в институт, то научила, где и что посмотреть. Он начал со «Справочника практического врача». Медленно, нащупывая основные узлы своего будущего лелеемого «заболевания», клеваясь и обстреливая зорким снайперским взглядом то «Медицинскую энциклопедию», то «Демоводство» с его медицинским разделом, постепенно расширял он круг специального чтения, доводя его до монографий и научных журналов.

В госпитале он сразу понял, что с лечащим врачом, милой и доброй женщиной-подполковником, у него установился контакт. Она вызвала его в свой кабинет в пять часов. Она смотрела в его честные глаза. Вместе с ним сокрушалась о его, Игоря, подточенном здоровье, которое вот мешает парню, рвущемуся отдать свой гражданский долг в рядах армии, по-настоящему служить... Когда хотел, Игорь был мудрым и точным психологом.

Может быть, он напоминал ей погибшего сына? Или друга, исчезнувшего на войне? Что-то произошло, когда подполковник медицинской службы Анна Григорьевна взглянула в глаза солдата. Может быть, именно поэтому она чего-то в последующем недоглядела? Но когда Игорь увидел эту мерцающую вспышку сожаления и острой боли, он как-то сам поверил, что ему стыдно не служить, как все ребята, и что, проделав вместе с ротой марш-бросок, он думал, будто умрет.

— Ну, что вы, вам еще надо жить. Ничего страшного нет. Здоровье мы вам подправим.

— Мне стыдно, доктор, все как люди, а я... На марш-броске или сержант, или ребята всегда мой противогаз забирают, несут.

Игорь точно и ненавязчиво подавал детали из монографии. С трогательно открытой шеей, в нелепой серой пижаме, подчеркивавшей беззащитность его юношеского сблика, он казался, несмотря на все свои стенания о службе, таким штатским, домашним, случайным в жизни, выверенной строгим армейским распорядком. Наверно, таким же казался Анне Григорьевне ее далекий, как предполагал Игорь, знакомый, а может быть, и сын на сурсвой и безжалостной войне. И опять ее глаза замерцали сочувствием и, может быть, допуская неискренность

Игоря, она ничего не смогла с собою поделать, взглянуть на происходящее критически, и принялась по-женски и матерински успокаивать и уговаривать солдата.

Потом она долго слушала и стучала согнутой в ладони рукой по его широкой грудной клетке, и, глядя сверху вниз на ее серые от седины, чуть подкрашенные у висков волосы, на ее лицо, Игорь старался определить, что же «тревожного» чувствует она в его организме. В этот момент ему даже хотелось, чтобы это тревожное, пусть и непоправимое, в его организме действительно нашлось. Невыносимо было думать, что по улице большого города ходит и близоруко щурится на весеннее солнышко Татьяна, каждый день звонит, а может быть, и встречается с ней Алексей-граф, и все они, его сверстники, торопятся взять от жизни главное, разобраться все, что только может она дать. Хотелось скорее встать в другой строй, чтобы в нем, в яростной атаке, штурмовать будущую и обязательно прекрасную жизнь.

Старые друзья, вся их прежняя компания обрадовались появлению Игоря. Венька даже собрал вечеринку. Все сидели на сундуке под конями и греческими колесницами, пили сухое вино, играла музыка, и отдельные пары танцевали. Вначале все радовались, что он снова с ними, демобилизовался из армии, что перед ним открываются некие возможности, а потом все его забыли, занялись друг другом, пошли иные, часто непонятные Игорю разговоры, и лишь Татьяна, танцующая с Алексеем, нет да нет бросала ему одобряющий, дружеский взгляд. Она стеснялась своих очков, поэтому, почти наугад взглянув на Игоря и улынувшись ему, на мгновение левой рукой прикладывала очки к глазам, как лорнет, лицо ее, розовея от смущения, делалось прекрасным. За год, что Игорь не видел Татьяну, она почти не изменилась, но вокруг нее возникла атмосфера духовного преимущества, трепетного обожания, при которой не только обидеть ее, но даже покуситься на обиду было невозможно, потому что по какому-то негласному уговору компании право выбора и его преимущества были за Татьяной. А она выбрала Алексея-графа. И когда ее рука лежала, вернее, касалась плеча Алексея, это была не только награда ему за многолетнюю верность, но одновременно и все награждали возможностью видеть этот говорящий женственный излом руки и медленный румянец, охватывающий ее щеки и шею, когда она снимала очки на металлической дужке, чтобы высвободить из-под стекла торжественный и настойчивый блеск голубых глаз. Это внимание Татьяны к Алексею больше всего ранило Игоря. Оно как бы подчеркивало его, Игоря, несостоятельность и те, пусть и немалые права детской дружбы, но, видимо, единственные, дающие ему возможность быть здесь, в компании, которая обогнала его, появились какие-то новые, уже не связанные с ним интересы, и теперь лишь снисходит к нему, изредка дарит ему дружеский взгляд Татьяна, по праву и, видимо, по любви выстрадавший и принадлежащий Алексею. А ему, Игорю, чужого не надо. Он еще возьмет свое, а, если нужно, и отберет.

В конце вечера произошел незначительный эпизод. Когда все было уже допито и пять-шесть традиционных бутербродов уничтожены, когда компания устала и энергия теплилась лишь в последних напряжениях споров, казавшихся им тогда умными и интеллектуальными, Татьяна занялась чаем. Все, кроме Игоря, сгруппировались, совсем продавив маленький диванчик, и фантазировали, перебивая друг

друга, в поисках какой-то модной тогда литературной истины. Но Игорю все это было неинтересно. Он не мог понять, почему же все не разделяют его удивительной радости, почему все не могут оценить, как он был терпелив и мужествен, чтобы воссоединиться с ними, с его друзьями, а они поздравляли его и уткнулись в свои дела. Где же здесь справедливость? И еще Татьяна улыбается не ему! Неужели она-то не понимает, что он ехал к ней?! Ехал, чтобы стать таким же, как она, как Алексей-граф и ее брат Венька. Даже ее светлая душа не поняла его.

И в тот момент, в момент сумеречных и тяжелых раздумий, которые Игорь вел под поднятым копьем греческого воина, Венька, стремящийся на правах хозяина все замечать, подошел к своему засмурневшему другу и, видимо, догадавшись о его состоянии и по сложившемуся стереотипу зная, чем вывести Игоря из раздумий, нарочито грубовато сказал:

— Ты бы, вместо того чтобы стенку подпирать, Татьяну бы потанцевать позвал, а то видишь, она мается с чаем.

Копье просвистело возле виска.

— Я устал, танцы — это уже не мой возраст, — ответил Игорь и тут же ушел из комнаты и с горечью подумал, что его ухода никто не заметил.

В ту ночь Игорю снился тяжелый сон. Ему снилось, что в шеренге знакомых греков он бежит по какой-то слабо освещенной каменной пустыне. Они бегут один за другим, тяжело дыша в затылок бегущего впереди. Все они одеты в короткие туники, шлемы, легкие латы и металлические поножи. Всю пустынную местность заливают холодный красноватый свет, струящийся навстречу то ли от еще не взшедшего над горизонтом, то ли уже закатного солнца. И в этом кровавом свете Игорь видит, что бесконечное пространство, которое они пересекают, завалено осколками шлемов, мечей, смятыми автомобильными фарами, продавленными сиденьями, отдельными автомобильными дверками. Навстречу попадают снесенные с шасси кузова «Москвичей», «Запорожцев» и «Жигулей». Потом плоскость как бы подвысипась, и опять вперемежку с древнегреческими колесницами, так хорошо Игорю известными по Венькиной квартире, с дышами повозок, круглыми, обтянутыми красной кожей щитами и поломанными, как стебли, дротиками, замелькал всякий современный, но еще ценный мусор, мешки с цементом, штабеля кирпичей, пластмассовые секции от устаревших холодильников. Все это во сне Игорь удивительно отчетливо и конкретно фиксировал и одновременно думал, что он очень устал вот так мерно и безнадежно пересекать без ясной цели пустынное пространство. На какой леший убивать ему его золотую молодость с этими мифологическими греками? А если невозможно приотстать, то из всего этого попадающегося на глаза хлама при его сноровке можно сделать что-нибудь ценное, попытаться, например, собрать автомобиль и на нем обогнать всю эту древнюю компанию или сложить себе прекрасный особнячок с балконом, разбить сад и в этом уюте покейфовать. И когда во сне мысль эта пришла, он сейчас же выпустил из рук тяжелый дротик, потом неприметно бросил щит и постепенно стал от строя отставать. И тут же, забыв о своих недавних товарищах, он с удивительной энергией замесился по окружающему пространству, принялся выворачивать из красноватой почвы какие-то плиты, балки, камни, громоздить их друг на друга, и постепенно из этой кучи, которую он наикадил, стал вырисовываться контур фантастической башни, похо-

жей на шахматную туру. В одно мгновение Игорь оказался на ее вершине и оттуда, с высоты, бросил взгляд на окружающую местность.

Красная долина, заваленная обломками всех эпох, простиралась — все эти предметы не меняли своего масштаба, а как бы под увеличительным стеклом гляделись отчетливо и крупно на любом расстоянии, — простиралась до самого горизонта. На небе не было облаков, птиц, ветер не шелестел над головой, все было тихо и мертво, и только на расстоянии выпущенной с башни стрелы виднелась все так же пересекающая эту страшную долину жизни и смерти группка бегущих людей. Лево́й рукой каждый прижимал к груди щит, а правой, напряженной и готовой к резкому движению, дротик. Их бег был размерен, мучителен и тяжел. И вдруг Игорю удивительно остро, непреодолимо захотелось бежать вместе со своими бывшими товарищами. Вот так же, из последних сил нести дротик и тяжело дышать, удерживая заданный темп. Надо скорее вниз, догонять товарищей и вместе с ними вперед, вперед по красной долине. Немедленно! Игорь во сне почувствовал, как от этого решения скорее забилось сердце. Немедленно! И он сделал огромный прыжок к лестнице. И этого прыжка башня не выдержала. Она зашаталась, и внезапно бетонные плиты, перекрытия, огромные тесаные камни, лестничные марши, вырубленные из целых глыб, все снова обрело первозданную свободу и стало рушиться. Он, Игорь, оказался где-то внизу на земле и со всей ужасающей очевидностью следил, как очень плавно, словно при замедленных съемках в кино, валяться на него обломки металла и камня. Дышать становится все труднее и труднее, он хрипит, задыхается — в этот момент открывает глаза.

...Свесив ноги с кровати, закутавшись в одеяло, как больной, Игорь долго в то утро сидел на постели. Что же делать? Как жить дальше? И постепенно, ожесточаясь все больше, Игорь принимает решение. Он тоже справится со своими житейскими проблемами. О, упорства, настойчивости ему не занимать.

Он встретился с Татьяной через шесть лет, когда уже работал в такси. Это было в июле. Город изнемогал от жары, и пока машина Игоря пробиралась по улицам, залитым горящим маревом, казалось, что шины прилипают к асфальту.

Как всегда зорко поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить своего клиента: узбека с тяжелым ковром на плече; подвыпившего командировочного; молоденькую актрису, опаздывающую на кино съемку, — этой все равно, она еще не знает настоящую цену деньгам; огромную кепку и разлет кавказских усиков, прихвотивших отчаянную миниюбку; скромно одетого воркутинца, набитого аккредитивами, — «пиджака». По-снайперски оглядываясь по сторонам, Игорь, словно тяжелый танк между баррикадами, тянул свою машину вдоль бровки пешеходной дорожки. Трогуар был заставлен ларьками с молочными продуктами, ящиками со свежей черешней и ранними помидорами, прилавками с дешевой галантереей, распространительницами театральных билетов, сидящими под зонтами за раскладными столиками, и отчаянно забит густой летней толпой.

Время было около двух.

Он увидел Татьяну в открытом дешевом сарафанчике. Руку ее оттягивала тяжелая авоська, набитая не очищенными от густой смазки банками с тушенкой. «Значит, живет на даче, не хочет возиться с

мясом», — подумал Игорь и, обрадовавшись, весело и звонко, на всю улицу закричал:

— Та-тья-на!

Перекинув авоську из правой руки в левую, Татьяна, близоруко озираясь, встретила взглядом с уже притормозившим и выбравшимся из машины Игорем.

— Игорь!

Они бросились друг к другу, будто не виделись двадцать лет.

— Игорь, милый, как рада тебя видеть! Куда же ты пропал?

Казалось, жаркий, наполненный суетливым бытом мир исчез, ушел, как в кино, в затемнение. Игорь отчетливо услышал, как бьется его сердце. Полно, мощно и нетерпеливо.

— Я увидел тебя случайно. Еду и вдруг вижу: Танька. Идем в машину, я тебя подвезу.

— Ты теперь работаешь в такси?

— Это целая история...

— Ты исчез так внезапно.

— Да вы, наверное, обо мне и не вспомнили.

Машина уже мчалась по городу.

— Мы живем с Алексеем в нашем старом доме.

— Его роскошная родня не пустила вас в свои хоромы?

— У них сложившийся быт, и они большие люди. Но мы получим квартиру.

— Тебе надо еще на работу?

— Нет, я в отпуске. Завтра уезжаю в Анапу. Алексей уже там, с ребенком. Делаю закупки. Мужиков надо кормить.

— У вас один?

— Мальчик. Сережа.

— Алексей стап примерным папашей?

— Да. Он скоро защитится.

— А я, как видишь, в такси...

— Ты помолодел. Успел загореть, и тебе идет голубая рубашка.

Татьяна протянула руку, коснулась запястья Игоря, лежащего на руле, и отдернула руку, стесняясь поломанных ногтей со стертым маникюром.

Игорь повернул голову и ласково, чуть улыбаясь, посмотрел на нее. И сразу же от взволновавшего его момента их встречи ничего не осталось. А ведь когда-то он любил эту женщину. Как быстро она постарела! Нет, сейчас у него девочки лучше. Выш-коленный жизнью, он и виду не подал, что эта встреча его разочаровала. Снайпер должен уметь маскироваться среди ландшафта. Его голубые глаза по-прежнему излучали тепло и радость. И только он знал, что это имитация. Под глазами у Татьяны серые тени, чуть отвис подбородок и через поплывшую шею легла складка: видимо, голова часто сгибалась — над книгами, над тазиком с бельем для малыша, над доской, на которой надо было резать лук. Танечка, ослепительная Танечка, королева большой умной компании, в которой он, Игорек, был так, сбоку припека, так сказать, по территориальному признаку, Танечка, тебе очень тяжело дается твоя счастливая, интеллигентная и размеренная жизнь. Бедный, умненький птенчик со школьной моралью и незнанием настоящей жизни, расхлебывать тебе придется за всех: за выхолонный аристократизм Алексея, за детское лидерство Венки. Он постарается. Он накажет ее так, что всю жизнь ей будет тошно от ее чистенькой морали. Безжалостно накажет, так сказать, в память «неразделенной любви». И пусть тогда она расскажет об этом мужу. Но только надо быть пока осторожным. В обязанности снайпера входит умение маскироваться на местности...

— А как Венька, Танюша, как братец?

— Веня женился. Закончил аспирантуру. Сейчас преподает физику на Кубе в университете...

— Сколотил диссертацию?

— Нет, не получилось. Все оказалось не так просто, — как бы извиняясь, сказала Татьяна.

...Бедный птенчик, как он, Игорь, боится, что этому птенчику выпало рассчитывать за всех. И он почувствовал, как прежняя и долго скрываемая обида поднялась в его душе. Что ж, может быть, близится одна из минут его горьчества? Может быть... Он своего не упустит. Мы все брали потом, нам ничего родители не подарили при рождении. И одновременно, как скрытый фон, возникла все же прежняя влюбленность в Татьяну, в ее мир, в ее руки, в ее близорукий отрешенный взгляд, влюбленность эта забила в груди, сделала все дальнейшее в поведении Игоря легким и почти органичным.

— Тебя домой, Танюша?

— Вообще-то нет, мне надо еще разыскать гречневую крупу и купить сандалеты для Алексея.

— А не заняться ли нам этим вместе?

— Я тебя, Игорь, разорю.

— Ты что думаешь, спидометр всегда крутится в пользу таксопарка? Не робей, Танюша...

Игорь махнул рукой на план, на приработок.

Весь оставшийся день они провели вместе. Они искали по городу гречневую крупу, потом объездили обувные магазины: на проспекте Мира, в центре, заезжали в ГУМ, в Дом обуви на Ленинский проспект, пока на Профсоюзной не наткнулись на сандалеты, «какие хотел Алексей». Они ездили и говорили в машине так, будто не прекращали жить в одном доме, встречались каждое утро и, когда Игорь приходил с работы, у Татьяны уже был готов ужин. Будто они зачеркнули, как несуществовавшие, годы разлуки, решили, что их не было, и за последним днем их встречи сразу следовала эта поездка по раскаленной Москве. Уже к вечеру, когда машина была полна пакетов, коробок, больших и маленьких сверточков, Игорь отвез Татьяну домой. Они выгрузили покупки из машины, и опять, с какой-то известной уже и неторопливой сноровкой то ли старого друга дома, то ли мужа, подхватив свою долю пакетов и кулчков, привычными с детства лестницами и коридорами Игорь поднялся в квартиру Татьяны.

Старая, знакомая комната показалась Игорю меньше. Все здесь было прежним, только возле двери встала новая широкая тахта с неубранной постелью, и у противоположной стены, у сундука, как раз под колесницей, управляемой бородатым возницей, одетым в короткий панцирь, стоял детский столик с сидящим на нем печальным тряпичным зайцем. Кругом пыль, лампочка над тахтой тлела, закутанная подгоревшей газетой, и через всю комнату на протянутой бечевке висело свежестиранное белье.

Извиняясь за беспорядок, Татьяна сказала:

— Я всю неделю бегаю по магазинам...

— Именно поэтому, — сказал Игорь, — и есть смысл сегодня устроить вечер отдыха. — И как о давно решенном: — Мы вместе едем в парк, я сдаю машину сменщику, мы садимся на такси, и я показываю тебе свою хижину.

Странное состояние овладело Татьяной. После встречи с Игорем, когда в свои руки он взял ее заботы, сидя рядом в машине, вспоминая недавние беспечные годы, она как бы разгрузилась от усталости трудной жизни, огляделась по сторонам, другими глазами увидела дома, людей, улицы, еще раз почувствовала, что она еще кому-то интересна, отпустила от судорожного расчета минут, и ей за-

хотелось продлить этот праздник, плюнуть на уборку, на сборы, на то, что надо бы напоить Игоря чаем, и она неожиданно для самой себя согласилась на предложение — Игорь ведь был ее товарищем, она, замужняя женщина, жена его друга, он был надежен, предупредителен, стабилен.

— Гулять, Игорь, так гулять.

Когда они уходили, то возница на стене поднял тяжелый дротик и, как показалось Игорю, приготовился метнуть ему в спину.

«Хижина» была на первом этаже панельного дома, и показ ее был беспроигрышным и отработанным аттракционом. Игорь знал силу воздействия своих апартаментов.

Уже стемнело. Во дворе от разросшихся деревьев, от индивидуальных палисадников под окнами стояла теплая сырость. Свежеполитая зелень блестела под светом фонаря над подъездом. Медвяно пахло резедой и смородиной, нагретой за день.

В подъезде стояли детские коляски, которые жильцы оставляли внизу. На пороге сидела маленькая черная кошка с белым галстуком и деликатно умывалась, сбликая гостей. Шагая впереди внезапно примолкнувшей Татьяны, Игорь поднялся неполным лестничным маршем до своей двери и достал ключ, на ощупь выделенный из связки в кармане.

Не прикасаясь к Татьяне, как должное, будто бы была она здесь не один раз и, как и он, привыкла к небрежному спокойному комфорту этой квартиры, маскирующейся за стандартной клееной дверью в панельном доме, Игорь включил в прихожей свет, простецки — и это он умел, когда хотел, — улыбнулся и сказал:

— Располагайся, Танюша, пойду порыскаю на кухне что-нибудь.

Татьяна уже давно не была в такой изысканной квартире. Все покойно, добротное и одновременно, как она понимала, все, что ее окружало, было дорогим, недоступным ей сейчас и вряд ли доступным в ближайшем будущем.

Под ногами большой, во всю площадь комнаты, ковер. Не скромный и дешевый палас — ковер с мягким, ненавязчивым, безусловно, шерстяным ворсом. По стенам за стеклами в финских матированных шкафах стояли книги — не привычные и никогда не читаемые собрания сочинений, а разрозненные тома всего лучшего, что выходило за последнее время. Возле журнального столика, покрытого стеклом, с лампой, переделанной из хорошей, тонкого фарфора вазы, большой, подобный тем, какие она видела в зарубежных кинофильмах, диван, обитый кожей. Тяжелые шторы из дорогого вельвета прикрывали окна.

Татьяна, пока на кухне раздавалось звяканье посуды, покопалась в пластинках и, выбрав японский диск с портретом европейского усатого трубача и с обещанием, если она правильно поняла, «Русских мелодий», опустила тяжелый адаптер. И сразу комната наполнилась пронзительно-светлой, грустной мелодией: «Степь да степь кругом...» Здесь были полет излучающей души, поиск счастья, тоска по забыванию. Мелодия, поднимаясь, беспричинно выжимала из глаз слезы.

Татьяна подошла к окну. Пахло резедой, выплеснувшей в ночь свои потаенные сладкие ароматы. Вдалеке, мягко шурша, пролетал, как волшебная сверкающая птица, троллейбус, а в прохладных кустах под окном настойчиво и нетерпеливо, переключаясь с мелодией из комнаты, говорила и говорила какая-то еще не уснувшая птица. «А жене скажи слово прощальное, передай кольцо обручальное...»

Татьяна очнулась от голоса Игоря и внезапно вспыхнувшего верхнего света.

— Кушать подано, — шутиливо сказал он от двери. На одной руке он лихо держал поднос, словно разбитной официант в дешевом ресторане. Игорь успел переодеться. Голубая футболка обтягивала сильные плечи, и закатанные рукава обнажали поросшие светлыми прямыми волосками руки. Он улыбался, глаза были добрые и счастливые.

— Давай мне поднос, Игоряша, — назвала она его ласково, как в детстве, — накрывать на стол — дело женское. Сиди, отдыхай.

Она сама резала холодное мясо, подсаливала помидоры, разливала по рюмкам коньяк. И Игорь опять с каким-то расслабленным, бесконечным умилением, прикрываящим в глубине расчетливый холодок мстительного льда, наслаждаясь уютом, очарованием, которое женщина внесла в его дом, ласково глядел на ее подвижные руки или, поднимая взгляд, встречался со светлым, счастливым взглядом Татьяны, и в тот момент почти счастлив был и сам. Он не вслушивался в то, что она говорила, и вряд ли Татьяна отчетливо понимала, о чем спрашивала своего старого друга и что он ей отвечал. Но в этом разговоре они находили какое-то радостное наркотическое забвение, и оба не могли остановиться, прервать эту сеть воспоминаний, торопливых комментариев сегодняшнего и прожитых друг без друга прежних дней, и все чаще сияющий близорукий взгляд Татьяны впрямую встречался с обволакивающим взглядом Игоря, и тогда все чаще, передавая друг другу хлеб или тарелку, их руки лишь на секунду, будто наэлектризованные, встречались и проскакивала искра, и Татьяна говорила себе: что ты делаешь, ты замужняя женщина и хорошо знаешь, что этот парень тебе ни к чему, тебе надо уезжать к мужу, которого ты любишь, остановись, не порть себе жизнь.

Они не спали почти всю ночь. Изредка Игорь поднимался с дивана и шел на кухню за новой бутылкой сухого вина. В комнате было темно, лишь свет от выплывшей луны, от уличных фонарей освещал его гибкое тело. Татьяне казался он вылепленным из теплого лунного свечения большим тритоном, красиво и мощно рассекающим сгустившийся до тяжелой субстанции воздух. Осторожно запрокидывая ладонью голову, Игорь лил ей в рот холодное вино, капли стекали по подбородку на шею, ключицы, и, наклоняясь, он сушил их губами и радостно, тихо, счастливо смеялся. И Татьяна была счастлива. Она слышала биение его сердца, но иногда, раскрыв глаза, пугалась холодной и ожесточенной сосредоточенности его взгляда.

Она проснулась от звона будильника, стрельнувшего пулеметной очередью в тишину. Боже мой, что она наделала! Почему позволила постороннему человеку так истоптать свою жизнь! Как же ей теперь жить дальше? Как глядеть в глаза сыну, мужу? Но ведь она, внушала она себе, любит и Игоря, и он любит ее давно, всю жизнь. Да, да, он любит ее.

Игорь спал, подмяв под себя подушку. На столике у дивана громоздились подсохшие остатки вчерашнего ужина. На полу стояли бутылка вина и два бокала. Заметавшись по квартире, Татьяна судорожно начала собираться. Было шесть утра, а поезд в Анапу уходил в двенадцать дня.

— Я уйду, Игорь, — сказала она уже от двери.

Игорь заворочался, встал с дивана. Посредине комнаты, не открывая глаз, он потянулся, шагнул к ней, к двери, повернул замок, разомкнул наконец веки и, глядя ей в лицо холодным, сытым, равнодушным голубым глазом, чуть позевывая, но твердо и отчетливо сказал, как ударил:

— Когда вернешься — заходи...

3. РАБОЧИЙ ДЕНЬ

В первый свой рабочий день на новом месте Володя встал пораньше, хотя накануне они крепко посидели с Игорем в ресторане. К удивлению Володи, настроение у него было хорошее, голова не болела, и погода стояла замечательная: из-за крыш домов в окно сияло солнышко, поигрывал ветерок по ранней летней зелени, воздух был бодрый, со свежестью, как чуть холодающая зубы газировка.

Володя помахал руками для зарядки, к которой привык в армии, и, чтобы окончательно разогнать сон и вчерашний умель, поприседал, зычно дыша, сбегал по длинному скрипучему коридору в душ, хорошо растерся полотенцем, надел заранее выстиранные чешские голубенькие джинсы, нейлоновую легкую курточку, к носу, дыбарем натянул кепчонку, распустил сбоку, под козырьком чубчик и скорее, скорее побежал к Белорусской, где у него с Игорем была назначена встреча.

Перед уходом Володя еще закричал петухом. Над смятыми постелями показались четыре лохматых головы (одна с пегими клочковатыми усами): Сенька Новиков, Петя Заборовский, Алик Шахназаров, Валера Перельман — все бывшие армейцы, лимитчики, и Володя крикнул ребятам, подражая своему бывшему старшине:

— Пр-е-та! Подъ-ием! — И с паузой, на выпученные глаза и сноровисто запущенный в него ботинок: — Кончай ночевать. Седьмой час.

У сквера, напротив станции кольцевого метро, где всегда останавливался базовский служебный автобус, Игорь уже поджидал сменщика. Своей гибкой фигурой, чистейшей голубой рубашкой и уложенными один к другому, еще влажными от утреннего умывания волосами он резко отличался от галдящей толпы своих сослуживцев. Он и стоял-то немножко в стороне, как бы подчеркивая свою исключительность.

Как ни странно, Игорь не бросился в подошедший автобус, стараясь захватить место. Володя сказал:

— Игорь Савельевич, давайте я займу?

— Не надо, Володя, у меня свой расчет.

Они вошли в автобус уже последними. Игорь аккуратно положил двугривенный на бортик приборной доски — за себя и за Володю и остался на самой приступочке, почти прислонившись спиной к двери.

— Игорь Савельевич, ведь это я виноват, что мы так плохо едем, надо было подсуетиться пораньше? Первым в автобус залезть?

— Нет, Володя. Я специально захожу в автобус последним, — почти шепотом объяснил Игорь, — чтобы потом первым выйти. Ты когда-нибудь на самолете летал?

— Дядя Игорь, а почему вы сказали — не садиться в наш служебный автобус, который идет с Беговой? И вам от дома ближе и мне от общежития. Вы не знали, что мне от общежития ближе?

— Нет, отчего же, знал. Тебе к Белорусской топать дальше. Это я сознательно. Ты только, Володя, не перебивай. Старайся сам в жизни искать объяснения чужим поступкам и словам. Так вот, летал ты в самолете?

— Ну, летал. В отпуск, когда в армии служил. Из Хабаровска до Москвы.

— И ты старался во время посадки сесть в автобус, который подвозит к самолету, первым?

— Сначала, как положено, женщин пропустил.

— А надо, Володя, первым быть по сути, по результату. Пусть кто-то гордится, что он первый, что висит на Доске почета, хотя на Доске почета это действительно приятно, но если в погоне за этим почетом, за общественным, как говорится, благом, он ходит без штанов? Если я, не самый передовой, на май могу позволить себе съездить в Ленинград, посидеть там в ресторане с девушками, сходить в театр и одеться при этом хорошо, культурно, а он, этот самый передовой товарищ с этой же автобазы, трешку у меня сшибает, разве это путем? Так вот, Володя, вспомни, когда ты из автобуса вышел у самолета, то перед тобою уже была очередь на трап. Правильно?

— Ну, правильно. Только все равно сначала женщин пропустили с детьми.

— А мы разве изверги? Женщин с детьми всегда надо пропускать вперед. И стариков и инвалидов. Мы же культурные люди. Сейчас много развелось разных шустряков, вот их-то и надо обходить.

А служебный автобус уже отутюжил отрезок Ленинградского проспекта, за тоннелем возле гостиницы «Советская» развернулся, пробился через Беговую, где движение стало плотнее, и пошел петлять по нешироким асфальтированным проездам среди гаражей, ведомственных автобаз, автокомбинатов, строительных площадок, бензоколонок, небольших заводиков, которые, по сути дела, и есть сама жизнь. А что же, положи руку на сердце, есть жизнь? Прогулка в лесу? Сидение над сонной озерной водой с удочкой в отпуск? День рождения жены или детей с хорошим столом, сытной едой, чечеточкой у подъезда, когда из всех окон глядят любопытные головы? Это все то, без чего не может, наверное, жизнь существовать, потому что дает ей терпкий аромат. Но жизнь — это густая, сминающаяся тебя, но желанная и никогда не забываемая работа. Не зарплата, которую платят за нее. Она сама. Да и разве кто-нибудь слышал, чтобы хмельные в пивбаре мужики долго говорили о недополученных рублях или окладах в заснеженных мифических дачах? А вот о железках, о плохом мастере, о капризах мотора и тонкостях карбюратора — вот о чем у них долгий разговор.

Уже подъезжали к автобазе.

— И вот я, Володя,— говорил Игорь,— продолжаю. В конечном-то итоге, войдя в автобус одним из первых и удобно прокатившись три минуты по аэродромному полю, в самолет ты вошел после всех и сидел, наверное, в хвосте.

— Точно.

— Трясло?

— И трясло и гудело. А здесь я вам уже тридцать минут локтем бок мылю. Да и у меня на холке, смотрите, какой здоровый амбал сидит.— И Володя деликатно, но настойчиво поманипулировал спиной.— Здесь какой смысл?

— Отвечу сначала на твой самый первый вопрос. Почему едем не с Беговой? Потому что обычно автобус с Беговой приходит на пять минут позже, чем автобус с Белорусской. И это важно, несмотря на то, что мы, как персональщики, могли бы выехать с базы позже всех. А ответ на второй вопрос увидишь сам...

И в этот момент дверь открылась. Автобус стоял на знакомом автобазовском дворе.

Игорь выходил не торопясь, подчеркнута несуетливо, но все же достаточно быстро прошел по двору к крылечку в диспетчерскую, так что и не пропустил никого и другие шоферы, кто вроде бы даже и торопился, постеснялись его обогнать.

В диспетчерской, в небольшой комнате за перегородкой, за двумя столами с телефонами, журнала-

ми, пачками путевок сидели две немолодые, знакомые уже Володе диспетчерши. Обе встрепенулись, когда в дверном проеме показался Игорь. Сильным плечом он чуть-чуть, вежливенько, попридержал колготную толпу и неожиданно для Володи совсем другим голосом, нежели говорил с ним, каким-то веселым, простецким, бодрым голосом сказал, будто бы не пожилым женщинам сказал, а молодым девчонкам на танцах:

— Здравствуйте, лапушки, Анна Дмитриевна и Екатерина Филипповна, соскучились? Вон я сколько мужиков вам привел, разбирайте.— А сам уже твердо, заняв полпространства барьера, стал напротив Екатерины Филипповны, выдающей путевки их колонне.

— Чего тянуть, давай, Катя, скорее надо!

— Опять Игорь лясы точит!

— Начинать выдвзывать!

Эти голоса слышались позади Игоревой широкой спины. Комната мгновенно наполнилась, стало жарковато. Володю снова притиснули к сменщику.

Игорь и не обращал внимания на выкрики.

Не торопясь, не уступая своего плацдарма, он вел с Екатериной Филипповной диалог, пока та разыскивала в пухлой пачке его путевку, и, как показалось Володе, Екатерина Филипповна даже не спешила, с интересом слушая шофера.

— Как, Екатерина Филипповна, сынок?

— Ничего. Письмо прислал, пишет, что сержант у него хороший и служба нравится.

— Вы, Екатерина Филипповна, не волнуйтесь, из армии придет другим парнем. и стриженным и гитару свою бросит. А матушка?

— Все по-старому.

— Если ее снова нужно будет показать врачу, вы меня предупредите накануне, я отпрошусь у хозяина, и мы ее с вами отвезем.

Сзади опять послышались раздраженные возгласы. Екатерина Филипповна так же, как прежде Игорь, внезапно поменяла голос и уже начальственно крикнула:

— А ну, тихо. Не мешайте работать. Что-то я на тебя путевку, Игорек, не нахожу.

— А я за своего нового сменщика беру. Вот он.— Игорь, не оборачиваясь, протянул левую руку и шутиливо за ворот притянул к барьерчику стоящего за его спиной Володю. Юное лицо Володи, наверное, в этот момент было комично. Екатерина Филипповна улыбнулась ему кусочком улыбки, предназначавшейся для Игоря, и сказала:

— Старый знакомый. Решил его взять к себе?

— Парень он неплохой,— опять по-простецки ответил Игорь.— Мы с ним сработаемся.

— Ну, держи путевку на неплохого парня.

— Спасибо. Счастливо оставаться.

Как только Игорь отвернулся от диспетчерши, лицо его стало другим: сосредоточенным, холодным, снайперским. Быстро, но не забывая улыбаться, Игорь протолкался через толпу и двором пошел в гараж.

Навстречу им двигалось новое шумное подкрепление, прибывшее с автобусом от Беговой.

В тихом, остывшем за ночь гараже даже шум проворачивающего мотор стартера звучал, как обвал. Машина завелась с пол-оборота.

— Сегодня, Володя, я выведу сам. Ты садись рядом. Но примечай.

Они подружили к пандусу, опускающемуся со второго этажа на первый. Потом проехали по двору. Возле проходной с откинутым шлагбаумом машину придирчиво оглядел директор. Они оба с ним поговорились.

— Здравствуйте, Иван Максимович!

— Здравствуйте, молодцы. Ремни безопасности даны вам не для моды. Пристегнуться.

— Слушаюсь, Иван Максимович,— по-военному четко ответил Игорь. Володя только улыбался.

— Выводишь птенца на линию?

— Так точно, Иван Максимович, наставничаю.

— Это хорошо. Будь с ним поостроже, а то получится такой же разгильдяй, как твой прежний сменщик.

— Есть быть поостроже! Разрешите ехать, Иван Максимович?

— Езжайте, ранние пташки.

На асфальтированных проездах, в тупичках, улочках, где еще десять минут назад машин было сравнительно мало, движение кипело. Автобазы, автокомбинаты и автохозяйства, сосредоточенные в этом районе Москвы, выпускали из своих ворот грузовики, автобусы, щегольские легковушки, рычащие дизельной гарью самосвалы. Игорь вел машину сосредоточенно, аккуратно, но настойчиво вклиниваясь в каждую щель, образующуюся в цепочке движущихся автомобилей, и не пропуская никого впереди себя. Это был высший пилотаж.

— Примечай, Володя,— говорил Игорь, зорко охватывая взглядом обстановку: дорожку, характер покрытия, знаки, сигналы поворотов.— Машину я стараюсь ставить в гараж попозже, чтобы она оказалась в первом ряду, ближе к воротам, чтобы утром выехать первым. А теперь я тебе отвечаю на твой вопрос об автобусе. Ты уже, наверно, догадался сам: если бы мы выехали через десять минут, то здесь, у автобазы, попали бы в столпотворение. И по этой гари и шуму продирались бы почти сорок минут. А если дождь, снег?.. Усек? Но это лишь одна из причин. Машина должна тебя кормить...

Автомобиль мчался по Беговой. Было около восьми, солнце, поднявшись из-за домов, начинало припекать улицу. Несмотря на открытые окна, чувствовалась подступающая жара. Володя, который впервые ехал по Москве на легковом автомобиле, заинтересованно оглядывал все вокруг. Вид из автомобиля лучше, чем из автобуса. Москва и широкая, чистая утром, свежееполитая Беговая ему нравились. Все было крупномасштабно, нарядно. В витринах магазинов стоял разнообразный, яркий товар. Возле автоматов с газировкой парни опохмелялись с утра холодной, зудящей десны водой. У стоянок такси колготились народ. Наверху, над фасадом ипподрома, принохивались к московскому воздуху бронзовые, вечно бодрые кони. А народу на улицах все прибывало. Перегруженные автобусы грустно поныхивали. Вваренные в их днища приступки почти цеплялись за асфальт. В автобусах и троллейбусах, несмотря на утреннюю бодрость, сейчас плотновато и душно. Наверное, поэтому кое-кто и опаздывал на работу. Много было людей, которые по обеим сторонам улицы поднимали руки, и, если приглядеться, по губам можно было прочесть: «Ну подвези, друг»,— и Володя таким людям сочувствовал и, конечно, знал, что подбросить можно и даже в благодарность схлопотать на пиво, но они же с Игорем на персональной машине, они же не на такси в конце концов.

Володя искоса посмотрел на Игоря, тот широко, артистично, но, как всегда, сосредоточенно вел машину. Взгляд его был напряжен, скулы подняло, сидел он собранный, поджарый, как левая, собирающаяся сделать стойку над притаившейся птицей.

— Так вот, повторяю тебе, Володя,— сказал Игорь, продолжая прежнюю мысль,— машина шофера должна кормить.

И опять Володя хотел спросить, как это понимать, но внезапно их сверкающий автомобиль, чуть присев на рессорах, затормозил, щегольски, с визгом, намертво оставляя черную масляную полосу сзади от прижатых шин.

— Это «пиджак»,— сказал Игорь Володе. А сам, развернувшись от руля, гостеприимно откидывал правую заднюю дверь.— Садись, дорогой!..

«Пиджак» — Володя знал уже значение этого слова — усаживался на заднее сиденье, мостя рядом с собой дорожкой плащ, плоский модный портфель с металлическими застежками и большую картонную коробку, в которых с фабрик привозят в магазин конфеты. Дверь снова закрылась, и только тут Игорь спрашивает, встретившись через зеркальце над рулем со взглядом пассажира:

— А куда вам, собственно, уважаемый?

— Мне,— отвечает пассажир,— на проспект Калинина, в министерство.

— Вай-вай, очень сожалею,— Игорь излучает доброжелательность,— а я думал, на вокзал. Нам совсем не по пути, извините, уважаемый, мы при деле, нам надо за начальником ехать! Опаздывать нельзя. По дороге — подбросили бы, а так никакой возможности.

Мимо проносятся автобусы, забытые троллейбусы, автофургоны, грузовики. От асфальта идет знойный парок.

— Дорогой,— упрощает кавказец,— режешь без ножа. У меня совещание в министерстве, опаздываю.

Игорь тянет резину, хотя до назначенного шефом времени еще целый час.

— Я посмотрел на коробку,— продолжает Игорь,— и подумал, что на вокзал. Почему, думаю, хорошему человеку не помочь.

— Помоги, дорогой. Мне коробку до совещания надо в кабинет занести. Станки нужно, оборудование нужно. Отблагодарю.

— Ну, если уж так, для хорошего человека, рискнем, Володя? — обращается Игорь к Володе.

Володя молчит: ему неловко.

— Была не была, рискнем,— машет рукой Игорь и весь светится дружелюбием и отчаянностью. И только когда машина трогается, глаза, устремленные на дорогу, снова становятся цепкими и холодными, лишь в уголках губ гуляет чуть приметная ухмылка снайпера, с первого выстрела попавшего в десятку.

Когда машина остановилась возле министерства, Игорь сказал Володе, складывая в бумажник пятирублевку:

— Никогда с пассажиром не води разговоров о деньгах, потому что, если попадешься, пропал.

— А почему, Игорь Савельевич, вы решили, что это «пиджак»?

— Я понял, что он едет не на вокзал и очень торопится. У него в руках был такой портфель, с которым ходят на прием к министру, а не едут в Малаховку или в Тбилиси. Мы должны, Володя, быть психологами, иначе на табах не заработаешь. Вон, видишь, у цветочного киоска стоит и голосует девушка. Она тоже наша.

Девушка с длинными, стройными ногами и неприступным, хорошо ухоженным и внешне спокойным лицом подняла руку. Игорь притормозил чуть впереди нее и ждал, когда она подойдет. Быстро, но без торопливости девушка подошла и через открытое окно, через Володю спросила у Игоря:

— Вы подвезете меня до Пушкинской площади, до АГН?

— Доброе утро,— сухоvalo поздоровался Игорь. Потом холодно, не замечая привлекательности не-

знакомки, ответил, как в армии, словно по-уставному, повторяя слова приказа: — До Пушкинской, к зданию АПН мы вас довезем.

— Благодарю, — ответила девушка и привычно, будто в свою машину, села на заднее сиденье. Села ровно, почти не прикасаясь лопатками к спинке.

Игорь тоже подтянулся, ехал быстро, по-щегоольски, с визгом притормаживая на поворотах.

У АПН девушка, протянув три рубля, сказала:

— Возьмите.

— У меня нет сдачи.

— Благодарю. Не надо.

Она захлопнула дверь, обогнула машину и по ступенькам вбежала в здание.

Володе стало неудобно за Игоря, за то, что тому, наверное, стыдно перед ним, но, к его удивлению, смущение не казалось расстроенным.

— Не робей, Володя, — говорит он, аккуратно к прежней пятерке складывая в бумажник трояк. — Знаю я этих московских щучек, она рассчитывала на свою сексопильность, думала, что я буду просить у нее «телефон», довезу бесплатно, стала играть женщину с положением (а туфли на ней хоть и английские, но старые, с прошлого сезона), рубля одной бумажкой не было, вот ей и пришлось догнывать знатную даму. Поэтому и сдачу не взяла. Хотела наколоть нас, а накололась сама. В нашем деле надо быть психологом. Примечай за всеми, старайся понять человека еще до того, как он сел к тебе в машину. У меня был случай, — продолжал Игорь, осторожно выбираясь из потока машин. — Так вот, на Метростроевской поднимает раз руку один гражданин. Я сажаю; на улице слякоть, дождь, отчего же, думаю, не помочь дорогому москвичу. Товарищ садится и говорит: «К метро «Проспект Мира», — а я смотрю: у него из-под пальто видны синие брюки с узким милицмейским кантом. И тут же вспоминаю, что рядом с метро городское ГАИ. И меня словно осенило, начал я у него расспрашивать про вчерашний хоккейный матч, который видел по телевидению. Он мне все добросовестно рассказывал, а потом спрашивает, сколько, мол, с меня возьмешь. А я говорю: «Я с болельщиков ЦСКА не беру». «Ну, если, — говорит, — не берешь, записывай мой телефон, если, — говорит, — будут какие-нибудь неприятности на линии — позвони». Потом я его видел, майор из ГАИ. Психология! А еще в нашем деле важна точность, поэтому надо гнать к хозяйну. Я всегда приезжаю минут на десять раньше. Если он выйдет чуть раньше и увидит машину уже во дворе, ему спокойнее — значит, я, думает он, не халтурю.

Машина свернула с Петровского бульвара на Петровку, обогнула сквер возле Большого театра и через проспект Маркса, бывшую Манежную площадь помчалась на Юго-Запад.

Сидя на переднем сиденье, Володя тщательно запинал развязки, светофоры, сложные перекрестки. Он был недоволен собой, потому что не мог как следует сосредоточиться. Мысли все время крутились вокруг неожиданных событий сегодняшнего утра, он даже попробовал осуждать Игоря, но решил, что еще молод, неопытен, чтобы даже в мыслях критиковать человека, который столько для него сделал, так заботится о нем. Но больше всего отвлекала Володю от деловых размышлений Москва. Он часто видел ее в кинохронике, по телевизору. И Володя думал, что приложит все силы, будет ухаживать за машиной, начнет, может быть, учиться на курсах, чтобы остаться в Москве на всю жизнь, называться москвичом. Мать с сестрами приедут к

нему в гости, он им покажет Кремль и ГУМ и, может быть, если получится, даже покатает на машине. И у них в деревне его станут звать москвичом.

А машина уже проехала через Каменный мост. Володя подвинулся с горбинки моста на Кремль, на реку, на окрестные набережные и снова начал разглядывать и запоминать перекрестки, линии движения, дорожные знаки: «запрещающие», «указательные», «предписывающие» и «дополнительные средства информации» — все знаки по правилам дорожного движения.

Проехали Ленинский проспект, и, когда пересекли Университетский, Игорь сказал:

— Теперь смотри, Володя, внимательно. Движение от этого светофора начинаешь обязательно со второго ряда. В первый ряд не становись, а то окажется, что впереди стоящая машина поворачивает на Университетский, и тебе или придется ее пропустить, или поворачивать вслед за ней. А из второго ряда ты как раз выедешь на правую малую дорожку проспекта, проедешь по ней, вот как я сейчас, свернешь на улицу Строителей, первый поворот направо, под вторую арку. Здесь езжай тихонько — шуметь нечего, делаешь разворот по двору и становишься возле первого подъезда. Понял? А что теперь надо сделать?

— Тихо и спокойно ждать?

— Неверно. Надо все внимательно оглядеть. Вытрясти пепельницы, потому что утренние пассажиры, а особенно пассажирки, любят чувствовать себя в машине, как основные действующие лица: курят, разбрасывают обгорелые спички, и, главное, если на коврике под передним сиденьем — «левые» пассажиры садятся обычно сюда, — если на коврике есть следы или затеки с мокрой обуви, то надо все протереть. Хозяин понимает, что мы можем кого-то подвезти, но быть в этом уверенным ни в коем случае не должен. А сейчас бери в багажнике тряпку и быстро протри задние коврики — и грузин и девица, наверное, понатоптали. Куда сядет хозяин, никогда не известно: он у нас неуравновешенный; если утром уезжает с женой — то на заднем сиденье, если в плохом настроении — тоже на заднем, а если настроение хорошее — сидит впереди и читает газету.

Володя оглядел двор: тихо, мусорные баки стоят в сторонке, закрыты крышками, в середине двора газон с цветами.

Вытерев до первозданной чистоты коврики и чуть пройдясь суконкой, чтобы блестели, по молдингам и бамперу, Володя захотел поговорить с Игорем, но тот сидел и читал газету, так как полагал, что обучение должно быть наглядным, ученика не стоит зря терроризировать, что Володе будет положено узнать, он узнает в свое время. Володя еще потерся возле машины, обошел ее, смахнул легкий, как пудра, слой пыли с ветрового стекла и сел в кабину. Какой же он будет, новый его «хозяин»? Ведь ему ездить с ним через день, треть жизни проводить вместе. Володя представил себе этого человека. Может быть, он лысый? И как он отнесется к тому, что Володя плохо знает Москву? Вдруг он, Володя, запутается в улицах, а «хозяин» опоздает и начнет его ругать.

Из подъезда, возле которого они стояли, вышло довольно много народу. Володя каждый раз выбирал себе среди них подходящего, но каждый раз придуманный им «хозяин» проходил мимо. Володя даже устал от своей игры, но именно в этот момент задняя дверца машины отворилась, всунулась довольно похматая молодая голова, и высокий резковатый баритончик несколько иронически произнес:

— Вы уже здесь, птички? Сподобились приехать вовремя.

— Ну, когда мы, Юрий Викторович, опаздывали? Не было этого,— шутиливо отговаривался Игорь.

— Это я вам для остротки, на будущее. Молодой человек, который от страха боится повернуть голову, это, насколько я понимаю, новый сменщик?

— Это Володя.

— А по отчеству?

— Иванович.

— Здравствуйте,— сказал Володя.

— Здравствуйте, Владимир Иванович.

В девять двадцать, больше не заговаривая со своими шоферами, словно став старше и солиднее, Юрий Викторович вышел у высотного здания возле Красных ворот. Уже на ходу, весь обращенный в сложный мир своих мыслей и дел, через плечо он обронил:

— Игорь, вы свободны до одиннадцати.

— Прекрасно,— сказал Игорь Володе,— едем завтракать. И ездить я тебе советую всегда в одно место — в чебуречную возле Никитских ворот.

Снова машина двинулась по накаляющейся Москве. Сразу же после Красных ворот на Садовом кольце «проголосовала» пожилая женщина. У ее ног стояла коробка с новеньким, видимо, только что купленным пылесосом. У института Склифосовского, возле Колхозной площади, руку подняла молоденькая мать, возле которой, как козленок, прибилась малыш — подобрали и их; дальше по Садовому тоже возникли «коммерческие ситуации», но тут уже Игорь сказал:

— Всех денег, Володя, не возьмешь. Здоровье — прежде всего. Юрий Викторович отпускает меня утром — и так же будет отпускать тебя — завтракать надо вовремя, тем более что при нашей работе неизвестно, когда пообедаешь. Теперь расскажу, почему всегда надо ездить к Никитским воротам. Там, в чебуречной, собираются все московские таксисты. За час ты узнаешь московские дорожные новости, где что в Москве продают, что на данное время в дефиците. Иногда устраивают облавы на нашего брата-«левака». А ты уже знаешь и в этот день не берешь в машину ни одной души. В нашем деле жадничать — гроб. Старайся в чебуречной знакомиться — только делай это ненавязчиво — со всеми, с кем только можешь. И тебе всегда подскажут, где у тебя на пути встретится притаившийся за колонной моста или газетным киоском пост ГАИ с ручным локатором, фиксирующим скорость. Друзья не подведут, и с ними надо быть профессионально солидарным. Делиться информацией, понял, зайчонок?

— Не совсем, но я разберусь.

— Ну вот мы и приехали.

Чебуречная была обычной «стекляшкой» со стойками самообслуживания и горячей кухней. Еда здесь была не очень дорогая, обстановка без особого комфорта, но порции обильные и сытные. Наверное, все же за известный демократизм, продленные часы работы и центральное месторасположение избрали ее московские шоферы своим клубом.

С трудом Игорь и Володя нашли место для машины, загнав ее на тротуар в непосредственной близости от грозного знака «Стоянка запрещена», и, протолкавшись в неудобном тамбуре, вошли в чебуречную.

За еду Игорь продолжал «натаскивать» молодого сменщика, не забывая, однако, тщательно и добросовестно жевать.

— Я, Володя,— начал Игорь,— очень дорожу своей работой. Я не стесняюсь, что вожу Юрия Викторовича на дачу, его жену на рынок, разыскиваю

ему по Москве обои. Но вот скажи мне завтра: «Игорь, садись на место шефа», — я не сяду, хоть, может, и смог бы. Он лет через десять — пятнадцать помрет. От инфаркта помрет, потому что на день у него десять нервотрепок. И в зарботке, если все подчитать, он ненамного меня обыгрывает. Относятся он к своей жизни легкомысленно. Куда он свою должность с собой возьмет, в гроб? Ты, пока молодой, старайся жизнь направить в верное русло.

— Может, мне учиться пойти в автомеханический техникум?..

— Ешь харчо с хлебом. Жуй лучше.

— Я бы пошел, если в заочный.

— Тебе надо обживаться, доставать хату, постоянную прописку в Москве, столько хлопот, а говоришь про случайное.

— Встречу хорошую девушку-москвичку и женюсь,— по-крестьянски скумекал Володя.— Дядя Игорь, а почему вы до сих пор не женаты?

— Была не была, расскажу я тебе, Володя, как я получил квартиру и бросил учиться в институте.

Счастливые минуты озарения, так считал потом сам Игорь, пришли к нему утром после вечеринки, устроенной в честь его возвращения из армии. До этого он все время жил надеждами на будущее. Стоит хорошо потрудиться и закончить седьмой класс — и дальше станет легче. Надо попотеть, говаривала ему мать, хорошо потрудиться, закончить десятилетку, а потом все образуется само собой. И он лез из кожи, не играл в футбол, почти не бывал в кино, он корпел над книжками, он «трудился», «потел», а золотые яблоки все не поспевали. И в то утро он понял, что ему и не достанутся эти райские яблоки: не так он возделывает и рыхлит почву, не так ухаживает за ростками, не того он замеса. И черт с ними, с этими чахлами саженцами, с корявыми сучьями и жалкой листвой. Пока не поздно, надо выкорчевать все и не питать никаких иллюзий, начать жизнь новую. Надо глядеть жестокой правде в глаза. Долой пробуксовку. Надо трезво взглянуть на те ограниченные способности, которыми его наградила природа. Надо сделать ревизию своим возможностям. Ему не дано выбирать в мир, как мечталось вначале, где не он будет возить на работу начальника, а ему машину будет подавать к дому. Ах, эти роскошные иллюзии! «Машину французского посла к подъезду!» Долой иллюзии! Ему выпала доля не ждать машину, а «подавать» ее. Хорошо, он будет подавать, будет подавать лучше и надежнее всех. Да здравствует расчет! Как поется в песенке: «Ну, что же, посмотрим, кто кого?» Он будет искать свое счастье на другом берегу. Из своих слабостей и недостатков делает силу. Будем считать итоги по результатам. Не по эфемерным звеньям и должностям, а по тому материальному, осязаемому, что приносит тебе дни. Пускай Татьяна и Алексей отыщут свое счастье и возможности через десять — пятнадцать лет, когда позаканчивают институты и защитят диссертации. Он должен взять свое если не сегодня — завтра. Пока молод, пока полон сил и желаний. Жизнь — ринг. Пусть его молотят, посылают в нокауты и дробят скулы — он вытерпит все, если знает, что в конечном счете победа будет за ним. Если его руку, подводя итог боя, рефери поднимет над рингом. Да здравствует победитель!

Так он думал в то утро, свесив с постели босые ноги. В комнатке на первом, полуподвальном этаже было темно. По стенам мелькали тени — это прохожие, пробегая мимо окон, застилали свет.

Он оглядел комнату. Как мать ухитряется держать ее в такой чистоте? Полы свежeweмыты, на этажерке в углу стоят его книжки и школьные учебники.

На каждую полку мать постелила вышитую салфетку, края ровно свешиваются вниз. Пять чашек с блюдцами, которые достают только для гостей, поблескивают за зеленоватыми стеклами крошечного буфета.

Он не собирается оставаться здесь. Мать ко всему привыкла, так пусть и живет. Он все перестроит по-современному, по-новому.

Мать внесла накрытую тарелкой сковородку с оладьями. Сковородка весело скворчала, щедро умасленная маргарином.

На мгновение Игорь затопила жалость к матери. Какая она худая, старая! Вырастила его одна, без отца, быстро сгинувшего. Сегодня рано встала, так тихо убрала с тротуаров выпавший ночью снег, что он даже и не проснулся. И не разбудила его, как бывало раньше, помочь. Какое у нее дорогое, с детства, как он ее помнит, коричневое лицо. Это лицо всегда казалось ему старым. Да и теперь она скорее похожа на его бабушку, а не на его мать. Неужели мать была молодая, красивая? Кто-то обнимал ее, шептал ласковые слова, и она обнимала молодого мужчину, отца Игоря, и тоже шептала ему ласковые слова? Этого не могло быть, но это было, и его мать постарела и отказалась от всего, чтобы вырастить его, Игоря, провести его через болезни, послевоенную голодовку, школу и вот теперь, убравшись и вылизав квартиру, встретить из армии.

И все же мать сейчас для него не помощник. И, если она хочет счастья для сына, ей надо отпустить его. Может быть, и жестоко с его стороны, но во имя своего будущего и чтобы мать потом могла хватать соседам, как хорошо живет ее сын, он обязан уйти из этого подвала. Эта атмосфера засосет. Ему не нужно никакой обузы. Не надо связывать себе руки, пока есть силы для драки. Он, Игорь, не забудет мать. Станет помогать. Он уедет из подвала, пусть в другой подвал, но туда, где его никто не знает и где он будет для всех временным жильцом. У него уже есть план, он его выполнит.

Именно имея в виду этот план, Игорь и сказал матери, когда они сидели за столом, за чаем:

— Мама, я сегодня пойду устраиваться на работу.

— Отдохни, сынок, давай пальто тебе новое купим. Может, на курсы пойдешь, поступать станешь в институт?

— На курсы я не пойду и на твоей шее сидеть не буду. Ты еще не очень старая, может быть, устроишь свою жизнь...

Игорь верно рассчитал... Нет, он не устроился ни в такси, ни шофером на стройку, ни на курсы, он выбрал самую дефицитную в городе специальность. Он долго бродил по Москве, заходил в домоуправления и наконец остановился на доме по улице Горького. Старуха дворничиха, которая многие годы там работала, получив пенсию, уехала к сыну в деревню. В доме стояли нечищенные мусоропроводы, домоуправ каждый вечер ломал голову, кого из лифтерш или слесарей послать утром грузить на машины бабьи и баки, и поэтому встретил Игоря с распростертыми объятиями. Домоуправа только удивилась жесткости парня в постановке вопроса: обязательно отдельную комнату. Пришлось очистить полуподвальную каморку, в которой хранился инвентарь. Домоуправ на всякий случай составил с Игорем трудовое соглашение — на три года. Игорь проконсультировался с юристом в юрконсультации и узнал, что через три года его никто из этой комнаты выселить не сможет, даже если он уйдет с работы.

Работа устраивала Игоря по двум причинам: первая — самостоятельность и вторая — продолжительность его рабочего дня была два часа. А на оставшееся время у него все-таки был план. Еще яростнее стало стремление попытаться дать его бывшей компании бой на их же площадке — про себя Игорь решил все же поступать в институт. Ну, ведь не дурак же он, не бездарь!..

Работая в центре, Игорь очень быстро присмотрелся к жизни официантов, парикмахеров, продавцов, таксистов. Тогда же он понял, как важно быть хорошо одетым. Даже на утреннюю свою уборку он ходил одетый в чистенькую голубую рубашку, в серые брюки, на ногах яловые, еще из армии, сапоги со щегольски подвернутыми голенищами. Снимая рабочий халат, он тут же превращался в ладненького, аккуратного хлопца. От него никогда не пахло спиртным и табаком. Улыбка милая, сдержанная. Наверное, благодаря старательности, а главное, внешнему чистенькому облику Игорь стал пользоваться в доме популярностью. Если хозяйке нужно было повесить шторы, она уже не просила в домоуправлении «прислать кого-нибудь». Предложение было конкретным. «Попросите зайти Игоря в квартиру номер такую-то». Было несколько стычек с ветеранами-слесарями, истопниками, сантехниками, стычек тяжелых, но Игорь использовал преимущество непрокуренных легких и кое-какие знания самбо, полученные еще в армии, и после этих стычек стал вроде бригадира по «левой работе». Получив заказ, он неизменно звонил хозяйке и назначал точное время визита. И, если делал не сам, «принимал работу», следил, чтобы все было сделано качественно, чтобы после себя рабочие подмели и, если нужно, протерли пол.

Нет, он не жалел, что два года потратил на институт, из которого сам, взвесив все «за» и «против», ушел. Все было сделано верно, все принесло плоды. Правда, вырезали они мучительно трудно. Это судорожное, до головных болей, учение английского. Вечерами он ходил по своей крошечной каморке, за стеной которой текла беспокойная жизнь бойлерной, и учил неправильные глаголы. Он чувствовал, что вкуса у него к этому нет, нет дела до диалектики чувств Андрея Болконского и Наташи, но жизнь, как ему казалось, обязательно требовала этих знаний, и — черт с ними! — он узнает, прочтет зануду Монтеня, выучит наизусть, чтобы блеснуть в обществе, пару абзацев из Хемингуэя...

На следующий год, как Игорь переселился на улицу Горького, с большим трудом — об очном факультете не могло идти и речи, — как демобилизованный и как, наконец, рабочий человек, он поступил на английский факультет в Иняз. Каторга в Инязе продолжалась два года. Это был страховочный вариант, как запасной парашют. Игорь твердо надеялся: жизнь еще выкинет из своей колоды козырного туза. Но на всякий случай надо учиться.

В хождениях по квартирам своего благополучного дома вместе с «ремонтниками», кроме «сберегательного» — с этим инструментом жизни Игорь познакомился вскоре после начала своей службы в домоуправлении, — был и еще один интерес: чисто познавательный. Стиль жизни других, часто очень интересных людей, безусловно, действовал на душу, формировал умение вести себя в разных обстоятельствах и подчас даже говорить на языке хозяина: с генералами в отставке, директорами заводов, престарелыми артистами, а особенно с их женами. Иногда починка торшера приводила к более лирическим отношениям с хозяйками, но в дружбу дома Игорь не лез, умел держать язык за зубами, был всегда ровен, корректен, привычно доброжелателен. Он неизменно отказывался от новой рубашки,

кожаного бумажника, заграничного ремня с замысловатой пряжкой, которые ему частенько пытались навязать — «вот, мужу не подходит», — берег свою внутреннюю свободу, независимость в действиях.

...Вначале это была обычная «кадрейка». Игорь познакомился с Тамарой на Центральном телеграфе. Он пришел посмотреть на народ, потолкаться в людном месте, а встретил Тамару. Слово за слово, Тамара выкурила сигарету, предложила Игорю, тот неумело повертел ее в руках, затянулся. Тамара заинтересовалась: «Москвич?» Игорь подумал: «Грузинская княжна выехала на гастроли». Они купили бутылку вина в «Гастрономе» и пошли к нему в «дворничью». Эта встреча могла закончиться, как самая рядовая, если бы не одно обстоятельство: Тамара заканчивала институт и не хотела уезжать из Москвы. Ее устраивала московская прописка и комната, которую она бралась затем превратить в роскошное кооперативное палаццо.

Дело это тянулось целый год. Из Тбилиси была вызвана мама Тамары. Состоялась скромная свадьба, вернее, запись в загсе, после которой муж и жена разъехались по разным районам Москвы, потому что уже совершенно не интересовали друг друга; Тамара несколько дней повертелась в «дворничью», была представлена руководству домоуправления и общественности, молодые тут же записались в кооператив на трехкомнатную квартиру. Благодаря активности мамы Тамары через два месяца они ее получили, через полгода благополучно развелись, и через несколько дней после этого Игорь оказался владельцем однокомнатной квартиры в панельном доме. Первая часть программы — жилье — была выполнена. Прощай, «дворничья», прощай, гостеприимный двор, теперь уже не нужен страховочный вариант — прощай, институт. Он, Игорь, не вол, чтобы тянуть лямку и лишь через пять — семь лет получить на работе «хату», за сто — сто пятьдесят рублей вкалывать, ходить в потертом, лоснящемся костюме. Время ученичества закончилось, впереди жизнь, молодость; настала пора погулять, порезвиться, ну, а дальше, годам к тридцати пяти, он женится, найдет себе молоденькую девушку, наплодит детей и будет покойничком, зная, что ничего не упущено, доживать жизнь. Ну, что же, Веня, Танюша, Алексей-граф, еще пилите науки? Пилите-пилите, как там поется в песенке: «...посмотрим, кто кого?»

На следующий день после переезда Игорь ушел работать в такси.

Конечно, во время долгого разговора с Володей Игорь не выложил всей подноготной. Опустив некоторые щекотливые моменты, он в основном свел все к рассказу, как пробивался с квартирой: начал с мусорщика и вот за свое терпение стал хозяином однокомнатной квартиры, которую попозже, когда будет у них обоих время, он покажет Володе.

— И сколько же ты проработал, Игорь Савельевич, по этой специальности?

— Почти три года, Володя. Но время сейчас более динамичное. Ты все должен пройти скорее. Не отказывайся ни от каких общественных поручений, выберут в местком — честно работай, в стенгазету — пиши заметки, в комсомоле изберут — и здесь надо вкалывать. В решающий момент — зачтется. В жизнь надо пробиваться. У тебя сейчас такие задачи: заработать, одеться, овладеть специальностью, добыть постоянную, не временную, прописку и хату. Свою, собственную, самостоятельную. А пока давай, брат, двигать на службу, время наше кончается, надо быть точным, потому что ра-

бота в наше время — всему голова. Только своим умением работать надо хорошо распорядиться.

В эту смену сразу же после завтрака в чебуречной Игорь и Володя вернулись на работу, потом повезли шефа в Управление, за час, пока шеф их отпускал, подбросили от гостиницы «Москва» на Казанский вокзал семью из Норильска (5 р.), на Казанском повезло: попались две подмосковные жительницы, переправлявшие на Центральный рынок ящики с редиской и парниковыми огурцами (7 р.), потом привезли шефа домой обедать и за полтора часа передавали кучу дел: гостиница «Украина» — «Щереметьево» (8 р.), снова привезли шефа на работу, отвезли заказ на книги в Книжную экспедицию на Беговой, привезли книги оттуда и сдали секретарше шефа Наташе, час стояли у подъезда, потому что было неизвестно, понадобится машина или нет; шефа вместе с женой (заезжали за ней) отвезли в театр; через два с половиной часа (время началось уже глухое, все смотрят телевизор, попался только лейтенант, который ехал с букетом и бутылкой коньяка в Чертаново (4 р.); отвезли после театра шефа и жену домой, по дороге на базу подкинули парня с девушкой до Ленинградского шоссе, до тоннеля (70 копеек — все, что у парочки имелось), угостили вахтера на базе сигаретами, помыли машину (мойщице тете Паше — 1 рубль), на такси разъехались по домам (5 р. 40 к.). Высаживая Володю у общежития, Игорь почти насильно вложил ему в карман 7 (семь) рублей. Время ученичества закончилось.

4. ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В тридцать пять лет Игорь обнаружил, что стареет.

...У него было предчувствие: не надо ходить на эту вечеринку. Но Володя так его упрасивал, да и героя дня Владика Илюшина Игорь знал, потому что работал тот слесарем на их же базе и заканчивал вместе с Володей вечерний техникум. И, чтобы не обидеть обоих, а особенно своего сменщика, потому что хоть и простоватый парень, а все же с ним и дальше ему, Игорю, жить и варить кашу, сдаться Игорь на уговоры и решил почтить своим присутствием торжественный праздник проводов Владика в армию. Если будут приставать на базе с воскресником в пионерлагере, подумал Игорь, то он отговорится — скажет, что ездил на провода в армию Илюшина.

Решив так, Игорь повеселел. И раз уж этот испорченный вечер ему зачтется как общественная нагрузка, то он в качестве представителя коллектива на том вечере должен быть на высоте. Пусть знают: на всем, что делает Игорь, стоит знак качества. Тут же забурлила в нем энергия, выбил денег в местное на подарок, сумел так изловчиться, что узнали о его самоотверженном поступке и начальник колонны, и завгар, и директор базы, и парторг. И все это он проделал ловко и под это мероприятие сумел даже уйти пораньше с работы, подослав своему шефу разгонную машину.

Боевое чувство не оставляло Игоря весь день. Как-то особо лихо и изящно возил он в тот день Юрия Викторовича, вырвал «левый» рейс под носом зазевавшегося таксиста, в обеденный перерыв, совершив чистую благотворительность, доставил от «Гастронома № 1» на улице Горького Володю и Владика с винами, водами, водками и закусками до



станции Хлебниково (заодно и разведаль дорогу, чтобы не плутать вечером), на обратном пути схватил и за пятерку доставил в центр (по дороге) к Филатовской больнице интеллигентную старуху с внучкой, которая проглотила пуговицу, вне очереди протиснулся на мойку и со спокойной совестью псехал домой переодеваться. Для тона не помещает и парочка восхищенных взглядов их девочек.

Он надел темно-синий строгий костюм, голубенькую рубашку с галстуком, новые ботиночки— всё Европа!

Переодевшись, Игорь как бы стряхнул с себя груз повседневных забот. В собственные светло-синие «Жигули» — окраска под цвет глаз хозяина — сел в хорошо отутюженном костюме тридцатилетний (по внешнему виду лет тридцати), уверенный в себе, с детства избалованный человек, не знавший ни в чем отказа и энергией и напором пробивающий дорогу в большую и кипучую жизнь...

За столом Володя, в который уже раз, искренне восхищался своим сменщиком. Несмотря на парадный вид, дорожную «Сейку» на левом запястье, синенькие «Жигули», на которых Игорь лихо, с визгом тормозов, подкатил к хибарке Владика, — эффект был рассчитан правильно и произвел впечатление, — вел себя Игорь в незнакомой длинноволосой компании по-свойски, был мил, вежлив, не выпендривался, не кичился, сумел побороть отчуждение возраста, рассказывал простенькие анекдоты, стал душою общества и единогласно был избран тамадой.

И тут Игорь собрался, как пружина, почувствовал себя регулировщиком на самом людном перекрестке. Потоки движения с разных сторон, заторы, пешеходы, и за все — спрос с него. Зорким, безошибочным взглядом он подмечал пустые рюмки, манипулировал с закуской, следил, чтобы ребята по молодости лет не нажимали на водку, затягивал тосты, чтобы успевали поест, к слабакам пододвигал сливочное масло, соображал, кому из гостей дать слово, примечал девушек, высчитывал, какая пришла одна, а какая с парнем, и одновременно, конечно, не забывал о себе — как всегда, ему надо было быть широким, красивым, обаятельным.

Через часок, когда уже изрядно нарушилась на столе сервировка и кто-то уже начал включать радиолу, Игорь немножко расслабился. Хотя от непривычных трудов ноги были ватными, а спина под рубашкой мокрой, но впереди была ночь, и уж если он приехал сюда, то надо было сорвать свое. Игорь огляделся: вот оно, послевоенное поколение! Ребята хоть и мосластые, патлатые, но высокие, с широкими плечами, корملенные, а девочки с длинными шеями, пышногрудые, статные, уверенные в себе, чуть подмазанные, хорошо одетые. Вот тебе и Подмосковье! А ведь именно здесь пасутся на свежем воздухе, на овощах с приусадебных участков, пасутся самые пышные телки, и в этом бодром стаде он сходит за своего, только еще чуть-чуть подполит ребятишек. А сам? Сам он пить не будет. Жизнь прекрасна и так! Она дает ему глубокие и полные радости сама по себе. Надо быть бойцом, и нечего взбадривать себя искусственными средствами. Выигрывать надо без допингов.

А веселье уже раскручивало всю эту молодую ватагу. Лица у ребят раскраснелись. Все поснимали пиджаки. И крутились вокруг партнерш легко, уверенно, пластично.

Игорь ворвался в круг танцующих, как мощный, красивый своей жестокой выверенностью, линейный корабль. Потолкался вокруг пышнокошой блондинки, поочаровывал ее, попытался с разгону притиснуть

поближе, но девушка мило, понимающе улыбулась и непринужденно прильнула к какому-то нечесаному пацану. Игорь перестарался. Будто бы ничего обидного и не произошло, а так, по-свойски, вроде бы естественно, поменял курс и опять фронтальной атакой пошел на другой симпатичный объект. Снова отпор. Все стало чужим, неинтересным, мелким.

Игорь вышел на кухню. Под лампой без абажура кружком стояли ребята, курили, поминутно вспыхивали взрывы смеха. Игорь подошел к ним, кто-то вежливо подвинулся, протянул ему пачку сигарет. Машинально, чего никогда не делал раньше, Игорь взял суховатую «Приму» и затянулся. Попытался вникнуть, а потом и войти в разговор. Рассказал, искусственно посмеиваясь, какой-то анекдот. Его вежливо выслушали, образовалась пауза, и снова, как бы отчуждая Игоря, побежала прежняя веселая беседа. Чужой... Ну что ж, надо было доламывать ваньку, Игорь сел на прежнее место тамады, постукал по стакану ребрышком ножа, призывая к вниманию, — и вся ликующая молодежь, обрадовавшись этому руководству, влюбленно и мило улыбаясь Игорю, расселась по своим местам, и тут, присаившись, чуть картинно, с поднятым стаканом в руке Игорь встал, чтобы предложить новый тост — за своего друга Владислава, доброго парня и хорошего специалиста, который обязательно станет надежным и хорошим солдатом, и начал витиевато и смело говорить и, видя искреннее внимание, сочувствие и восхищение собою, говорил даже красноречиво, и в момент, когда речь его в изящных сравнениях и тонких метафорах взбиралась все выше и выше, он бросил взгляд вперед и в висящем напротив зеркале вдруг увидел себя. И на мгновение оторопел, потому что над безукоризненным синим пиджаком, над голубенькой без единой морщинки рубашкой, над импортным галстуком с ровным узлом виднелось его лицо. В нем не было ни молочного румянца юности, ни блеска глаз и матовости молодой кожи. Лицо молодящегося мужчины под сорок. А ведь совсем рядом отражались в том же зеркале, висящем под углом к стене, юные оживленные лица парней и девушек. Вот почему, окончательно сформулировалось в сознании Игоря, вот почему чу жой он среди них, вот почему, несмотря на его «Жигули», стильный костюм и тренированный разворот плеч, девушки тянутся к своим ребятам. Он старый для них, он из другого возраста. И новая мысль с оглушающей силой втиснулась в сознание: да и вообще не такой уж он молодой, молодость-то, она прошла, пролетела. Он перешагнул свой зенит, прошел перевал, теперь покажется под гору. А где же тылы? Что есть у него, кроме «Жигулей», квартиры с выставочной мебелью да прекрасных воспоминаний? И еще: в зеркале Игорь увидел Володю. Повернувшись лицом к тоненькой незаметной девушке, тот молча, приоткрыв рот, глядел на нее. Что-то разошелся малец, промелькнуло в сознании вдогонку прежней, так потрясшей Игоря мысли...

На следующее утро, в субботу, Игорь проснулся поздно, уже после десяти. Сразу же возникло недовольство вчерашним. Игорь с трудом припомнил, как напился, приставал к девушкам, что-то доказывал ребятам. Ползели подробности какой-то пьяной потасовки, отвратительного хвастовства, все было ничтожно и горько. Но тут же все перебило другое чувство: как с машиной? Эта мысль подбросила Игоря с постели, словно окрик старшины: «Рота, подъем!»

За окном, просвечивая через полоску зелени, стояли его «Жигули», чистенькие, не помятые, даже не запылившиеся на ночной дороге. Слава богу, подумал Игорь, вещь целая, а уж со своей рефлексией он справится. Водительские права, ключи от машины — он пощупал карман пиджака — на месте, значит, ехал он прилично, ни в кого не врезался, и милиция его не остановила. Но на будущее это ему урок. С чего же только это он так? И опять, словно нож в сердце, ударила мысль: отыгрался, перешел через перевал, покатишься к старости...

Почему же так быстро отлетела молодость? Куда она делась? И оглянуться вроде не успел. Растаяла в этих «Жигулях», ковре на полу, в книжных парадных шкафах, переполненных редко перечитываемым дефицитом.

Игорь подошел к платяному шкафу и потянул на себя дверку с приластованным к внутренней стороне зеркалом. Впервые, как стареющая женщина, разглядывал он на себе шрамы времени. Нет, еще ничего, но на боках появились брыли, чуть вырос всегда плоский живот, стали тоньше ноги, лицо, похоже, еще не очень изменилось. Только под глазами и у носа морщины да цвет лица потерял румяную матовость. Но глаза выдают: тусклые, серые глаза, без блеска и надежды. Да, да, он должен смотреть правде в лицо — без надежды. Ему уже тридцать пять — пора подводить первые итоги. Что дальше? Ну, еще пяток лет поимитирует молодость подвижной фигурой, оживленным лицом с обаятельной белозубой улыбкой. Еще пяток лет побегает в американских джинсиках — они тоже скрадывают возраст. И все, милый, обаятельный грабитель родных москвичей. Девушки начнут стоять дорожке, уже и сейчас после работы никуда не тянется, а хочется поваляться на диване и поглядеть телевизор. Что выиграл он? А Алексей-граф уже защитился, должно быть, уже лет пять, как они с Татьяной переехали из комнаты с бегущими в битву греками. Остал он от этого воинства, затерялся. Их сыну сейчас, наверное, уже лет десять, ходит в третий класс. Пора догонять и Игорю. Он догонит, он обменяет жизнь. Пока он все же выиграл свою молодость. Он ее потратил красиво, роскошно, на зависть всем. Его будущий ребенок с детства не будет знать ни в чем отказа. Хватит, Игорек, рассусоливать. Зовет, солдат, тебя полковая труба. Выше нос, снайпер! Пускай переживают нетренированные хлопички, которые с пеленок начали пускать пузыри. Ему пора приниматься за дело. Нечего переживать из-за двух мокрехвосток, не следует падать духом. Переключиться на возраст постарше стоит, это он примет к сведению. Зеркало не врет. Плечи у него еще бодры здоровы, шея сильная, как у настоящего мужика, а ноги — ведь он же не футболист, шофер. Побегает трусцой немножко по утрам. Не раскисать! Раз-два. Чем мы занимаемся в субботу? Во-первых, легкая разминка, а во-вторых, генеральная уборка.

Никогда еще с месяцев, проведенных на армейской службе, не чувствовал себя Игорь физически так хорошо. Хмельная ломота прошла, организм, получив встряску, работал ровно, мощно, как хорошо обкатанный автомобиль. И все у него в то утро получалось быстро и четко.

Послушные давно приобретенным навыкам, привычкам, двигаются его руки, гоня по запылившемуся за неделю полу грязную воду. Какими удивительно точными, почти гимнастическими движениями выкручивают они тряпку: одна рука крепко держит ее над ведром — рука жилистая, ровно поросшая светлым жестким волосом, виден каждый крошечный мускул, а другая — резким и категоричным

движением выкручивает — от себя, как всегда отжимала белье мать!

После мытья полов так же быстро и тщательно Игорь выскреб кухню: шкафы, кухонную посуду отдраил с горчицей, протер стекла в книжных шкафах, пропылесосил ковер в комнате, в каждом углу вычистил, выскоблил, вымел и чуть усталый, довольный, с лоснящейся от пота спиной отправился в ванную. Стоя под горячим душем, он думал, что жизнь в принципе хороша, он много видел интересного, сумел выстроить свой быт, как хотел, и он еще полон сил, жадности к новым радостям, которые ему предложит судьба. Он полон сил, чтобы получить от нее, может быть, главное, для чего предназначен человек, — иметь семью и свои привычки, свое мощное тело, жаркую кровь забросить в будущее — детей! Не выбросить — детям передать все, что он заработал, накопил, приобрел. А они уже доделают то, что не сумел сделать он. Нет, ему не поздно, он в расцвете сил и житейского опыта.

С удовольствием, хотя пока и не очень определенно, Игорь думал о своем будущем сыне, о том, как он перестроит дом и добудет себе новый большой кооператив где-нибудь в центре, в доме актеров или писателей. Как будет по утрам в воскресенье сажать своего прекрасно одетого малыша на переднее сиденье «Жигулей» и сам, с уже чуть седыми висками, но еще молодой, спортивный, вести его за город. И никто, конечно, никогда не подумает, глядя на них, что едет обычный, не очень много получающий работяга... Но это на будущее. А пока пусть хлещет по плечам горячая вода, сейчас он пустит холодненькую, потом, стоя на мохнатом коврике, разотрет себя тяжелым полотенцем, влезет в гэдэровский махровый халат и сотворит себе королевский завтрак. Но в этот момент сквозь треск воды из передней раздался настойчивый, вызывающий звонок.

Открыв дверь, Игорь застеснялся своих голых ног, торчащих из-под халата, — на пороге стоял Володя, а из-за его плеча выглядывала мордашка его подружки, лицо которой Игорь видел вчера в зеркале рядом с Володиной.

— Игорь Савельевич, вы дома? — выпалил Володя.

— А что со мною могло случиться?

— Да вы вчера вроде не очень хорошо себя чувствовали под конец вечера.

— Мы сразу заметили, — ввязалась в разговор девушка, — что «Жигули» ваши во дворе, значит, вы дома.

— И даже не поцарапаны, — добавил Володя.

— Разглядели?

— Разглядели, — спокойно констатировала девушка. И посмотрела на Игоря прямым и любопытным взглядом.

Привычно встретив этот глубокий и любопытствующий взгляд, Игорь с удовлетворением подумал, что судьба, барин-случай, видимо, посылает ему компенсацию за вчерашний проигрыш. Он уже приготовил какие-то фразы, легкие и двусмысленные, которые очень хорошо подводят к отношениям таким же легким и нетребовательным, но почему-то еще раз взглянул на лицо девушки и обомлел от той внутренней мерцающей значительности души, которая проступала на этом простоватом лице и которая, наверное, и зовется красотой. Девочка не знала себя, она еще думала, что, как и ее подружки, она только молода и только свежа, а уже была чем-то иным... Он и не предполагал, что такой тип женщины можно встретить на улице, в простецкой компании. Таких показывают в кино, изредка они

появляются на сцене, но в жизни... Она еще не знает себе истинную цену...

— Что же вы, ребята, стоите в дверях? — спохватился Игорь, обычно не любивший непрошенных гостей. — Мы же должны отпраздновать ваш приход. Володя, заводи гостью в комнату, я пойду переоденусь.

— Спасибо, — сказала девушка.

И опять Игорь удивился значительности ее взгляда. Внутренней природной красоте, просвечивающей в лице и глазах. Как же ее Володя отыскал?! Нюх у этого парня на настоящее. Краешком сознания мелькнуло: что-то уж очень самостоятельным стал его сменщик...

Игорь запахнул халат на груди и почувствовал, что краснеет. Это состояние было для него так ново, вернее, так давно забыто, что он растерялся, раскрыл дверь из прихожей в комнату, замельтешил, стал выдвигать на середину кресло, но потом вспомнил, что не одет, куликом побежал в ванную, выхватив по дороге из стенового шкафа старенькие джинсы и легкий бумажный свитерок.

Причесываясь и переодеваясь, Игорь все время чувствовал: сердце как-то удивительно полно и гулко бьется. Мелькнула мысль, что надо бы надеть чистую белую рубашку, но посмотрел в зеркало, и на этот раз оно ему сказало другую правду: в старом, обтягивающем плечи свитерке он был юн, подтянут и даже, черт возьми, даже, как ему показалось, красив. И он уже знал, что в его жизни что-то случится, что ему не следует молодиться перед этой девушкой, не надо осторожничать. Рядом с нею он всегда будет молод и счастлив, если только сумеет добыть это счастье, потому что с нею, с этой девушкой, в его дом вошла с у д а б а.

На этот раз он не станет наводить особого порядка. Судьбе все равно, из каких рюмок будут пить его гости. Ей важно было доставить их к порогу его квартиры, а ему — проверить: судьба это или случай? Пусть все будет по-простому. Выпить у него найдется, а главное блюдо — жареную картошку он изготавит.

Когда сковородка со скворчащими картошками уже стояла на столе в кухне, Игорь вызвал из комнаты гостей.

Девушка не стеснивалась, не говорила, что уже поела, демонстративно не отодвигала от себя рюмку, когда и ей Игорь налил из запотевшей бутылки.

— Со свиданьем, — сказал Володя.

— За знакомство, — сказал Игорь, — меня, как вы знаете, зовут Игорь, его — Володя, а вас?

— А меня Зина. — Девушка высоко подняла рюмку и первой выпила.

— Ну что, рабочий класс, — сказал Игорь, повернувшись к Володе, — не будем отставать?

— Не будем, Игорь Савельевич.

— Ну, что ты все время липнешь ко мне с отчеством... А впрочем, хоть ты меня величаешь важно, а вот отобью я у тебя девушку...

— А может, девушка будет против?

— Девушка против не будет, — сказала Зина.

Пошутила? А может быть, сказала правду под видом шутки?

Игорь поразился этой догадке. Наверное, естественно, подумал он, что ей нравятся парни постарше, уже третьи жизнью, с опытом, броские. Может быть, она заметила его еще на вечеринке? Или хочет подхлестнуть Володю? В чем-то они с Володей похожи. В чем? Эта мысль беспокоит Игоря. Он чувствует, как поднимается в его душе насто-

роженность против сменщика. Не упустил ли он его? Что-то больно резко делает он успехи. На базе его любят. Девушку вот хорошую разыскал... Нет, тыфяк... Квартиры все еще никак не получит. Рубашка на нем выцветшая, плохонькая. Его можно со счетов сбросить...

— А девушка по закону уже имеет право решать? Ей есть восемнадцать лет? — спросил Игорь и понял: они почувствовали, что разговор идет не простой.

— Восемнадцать лет ей исполнилось, — ответила Зина, поддерживая форму разговора, предложенную Игорем, — ей восемнадцать исполнилось весною.

— А папа, мама? Моральные обязательства?

— У Зины никого нет, — вмешался Володя, — нет у нее родителей; помнишь, в Сочи разбился самолет, еще в газетах об этом было, вот ее родители на нем из отпуска и летели. Ни братьев, ни сестер. Она одна.

— Прости меня, Зина, — сказал Игорь.

— Ничего. — Девушка перестала есть и с вызовом посмотрела на Игоря. — Подытожим? Девушка имеет по закону право решать.

— А как же ее парень?

— Да что вы обо мне... психи, — чуть ли не заплакал Володя, отбросив вилку.

«Я везунок, определенно, — думал Игорь. — Сама судьба посылает мне в руки эту девушку. Я действительно, наверное, ей нравлюсь, понравился еще вчера. Восемнадцать лет! Из нее еще можно вить веревки. Воспитать из нее жену, научить всем своим привычкам, держать, пока она еще не избалована. И главное: ни тестя, ни тещи, к которым она будет убегать, если не понравится у мужа. Пускай убегает в свой барак на платформе Хлебниково. Оптимальный вариант. В другой раз такого может и не быть. Разве у меня не хватит воли и энергии? Я на ней должен жениться... Только как у нее с Володей?..»

Они оба — Игорь и Зина — в это мгновение вперые отвели глаза друг от друга и посмотрели на Володю. Он сидел белый.

«Власть не дают, ее берут». Что там было еще на фризе в квартире дома, где он, Игорь, жил в подвале? Похищение лапифянок. Кентавры похищают у лапифов прекрасных женщин. В книжном шкафу сейчас стоит альбом с репродукциями рельефов Парфенона. Он, Игорь, может встать и посмотреть. Но только он помнит все наизусть, с детства. В квартире у Гофманов — соседней Татьяны и ее брата — вдоль всей стены развернулся почти такой же сюжет. Когда еще был последний раз в этом доме, и они с Татьяной быстро клали покупки на стол и тахту, он тогда еще спросил: «Таня, а Гофманы не переехали?» И Татьяна сказала: «Нет, не переехали, только Наташка вышла замуж за какого-то математика и теперь живет у него на Серпуховке». «А чего же, когда мы проходили по коридору, у их дверей ведра с краской и куски штукатурки?» «У них ремонт». «Скалывают «художества», чтобы были ровными стены?» «Просто косметический ремонт, белят. Ничего скалывать уже не разрешают. Говорят, через несколько лет наш дом возьмут под посольство». «Значит, Гофманы, как и ты с Алексеем, продолжают жить в конюшне?» «Это мы с Алексеем живем в конюшне. У Гофманов «чистых» лошадей нет, у них кентавры». «Я тоже кентавр, — подумал Игорь, — человек и автомобиль одновременно».

5. НОВОСЕЛЬЕ

Когда внизу, на первом этаже дачи, хлопнула дверь, Игорь подумал: «Бедный кентавр!» Как удивительно судьба тиранит человека, возвращая на круги своя. К чему сейчас ему этот огромный дом, где он думал доживать жизнь? Молодой сад, только прутьики, но под разросшимися кронами этого будущего сада, на зеленой траве, за большими столами он собирался справлять свадьбу сына. Может быть, в последний раз по этому дому, по еще скрипящим некрашеным половицам прошлепал его сын десять минут назад. Мать никогда не пустит сюда его. Ну уж, дудки! Ни один закон не запретит ему видиться с сыном. Но мать не разрешит ему привозить сына сюда. Собственного сына в собственный дом. Он слишком хорошо узнал Зинаиду за пять лет, что они прожили вместе. Ну, что же, сквитался с ним сменщик Володя. Выждал свой час. Он, Игорь, отобрал у него девушку, а Володя, тихий и скромный сменщик, увел у него жену и сына. Сына ему не вернуть. Суд всегда оставит ребенка матери. Он допустил ошибку, когда разрешил Володе бывать в их семье.

...С того дня, как вместе с Володей впервые пришла к нему в дом Зина, он начал с нею встречаться. Они вдвоем хорошо посидели на кухне, потом провели время у телевизора, пили чай и танцевали, и чем больше Игорь смотрел на девушку, разговаривал с нею, тем определеннее становилась раннее мелькнувшая мысль: Зина появилась в его доме не случайно. Сколько здесь побывало женщин и девушек, уверенных в себе, знающих, что сказать и в какую минуту, приходивших сюда с тайным желанием задержаться в этих комнатах, мечтавших стирать Игорю рубашки и кормить его утром завтраком,—и ничего... А тут впервые его сердце глухо и тревожно, беспричинно забилося, когда он глядел на эту девчонку, слушал ее голос, во время танцев осторожно касался ее плеча. Он немножко одурел в тот день, потому что повел себя как мальчишка и дальше, вплоть до свадьбы и, как выяснилось, до сегодняшнего дня, городил одну глупость за другой. А главное, он, снайпер, стрелок, позволил себе бесконтрольно увлечься, растаять, начать играть по тем жизненным правилам для всех, которые с юности презирал. Тогда он понимал только, что Зина ему нравится.

Он улучил мгновение и на кухне, когда Володя пошел в комнату, чтобы перевернуть на проигрывателе пластинку, по-воровски, шепотом сказал:

— Зина, позвони мне как-нибудь вечером. Вот номер,—и вложил ей в руку скомканную, теплую бумажку, на которой уже два часа назад записал свой номер телефона.

— Хорошо, я позвоню.

А потом неделю сидел дома, срываясь к каждому звонку.

Потом они начали встречаться. Игорь понимал, что Зина встречалась с ним только тогда, когда Володя был на работе. Видимо, Володя был ей всегда ближе. Они одинаково смотрели на мир и, наверное, одинаково равнодушно относились к тому, чем так дорожил он, Игорь. А он, Игорь, разлюбился—влюбился. Вот она, незапланированная случайность. Он перестал играть по своим холодным и безошибочным правилам. И разве бы он

позволил себе такое с другой женщиной: сидеть рядом в кино, осторожно, как драгоценность, держать ее руку и думать, что эту руку завтра или через час может так же бережно держать другой. С другой женщиной было бы не так: «отстрелялся», и, если ты пылишь мне мозги, будь здорова! Может быть, его и подхлестывало, что она так молода и так по сравнению с ним молод еще неподдельной молодостью его соперник.

Она долго не хотела прийти к нему в гости. Боялась его, боялась себя? Теперь ясно, она дорожила дружбой с его сменщиком. Он, Игорь, сделал все, чтобы вскружить ей голову, показать мир таким, каким она никогда не увидит с Володей. Ему надо было получить ее любовь. Методически, расчетливо он на каждый вечер сбивал для Зины программу. Возил ее в Архангельское—прогулка по затихающим, освещенным холодеющим вечерним солнцем террасам и ужин без вина в ресторане; тихая пешая прогулка по Москве, когда Игорь терпеливо показывал ей маленькие арбатские особнячки, каждый из которых был овеян знаменитой историей, связанной с именами Пушкина, Грибоедова, Аксакова. Он аккуратно и настойчиво штудировал перед этой прогулкой «Из истории московских улиц» Сытина, смотрел справочники. Или смена декораций—бурное, «простонародное» воскресенье: Парк культуры имени М. Горького, мороженое, взлетающие качели, колесо обозрения, катание на лодке по Москве-реке и шашлычная с бутылкой болгарского вина и теплым свиным шашлыком.

И весь божий мир с ним, с Игорем, видимо, казался Зине другим. Из Парка культуры после шашлыка и вина они поехали смотреть телевизор к Игорю, но, к его удивлению, этот вечер, который они провели у него дома вместе, который Игорь ждал, как совсем молоденький мальчишка, накрепко, как Игорь думал, их не соединил, не привязал Зину к нему. Почувствовав себя мимолетными хозяевами, девушки обычно хотели бы навсегда остаться в роскошной его квартире. С Зиной этого не случилось. Будто бы ее и не интересовал другой, отличный от жизни у нее дома, налаженный, «почти европейский» быт, атмосфера комфорта, которые так дороги женскому сердцу. Игорю продолжало казаться, что Зина встречается с Володей. Что-то из-под контроля выходил его сменщик. Он даже не знал, как она относится к нему, к Игорю. Любит ли?

С ним это все произошло впервые. Еще и еще раз увидеть эту девушку, коснуться ее, глядеть на нее, чувствуя, как сильно и беспричинно тревожно, по-юному бьется сердце. Судьба отомстила ему за всех прежних женщин. Ну что он мог поделать с собой, если уже утром ему было почти всегда скучно с ними! Они сразу начинали домовничать, пытались выстирать его рубашки, убрать на кухне, вытереть пыль с полок, а он скучно думал: «Ну когда же она уйдет?» Здесь все получилось по-другому. Он каждый день удивлялся себе: ну почему так хочется ему видеть Зину? Что в ней такого, что ему нужно дышать с ней одним воздухом, постоянно знать, что она рядом, за стенкой, в конечном счете она его, навсегда его, как квартиру, как «Жигули»?

Их женитьбу,—ну и пусть она ушла с этим мерзавцем, которого он выучил и пригрел на груди, но ведь сколько за пять лет было счастья, сколько нежности, и ведь есть сын! — их брак ре-

шила не ее любовь — это Игорь знал еще тогда, не привязанность — это к ней пришло позднее, когда она мучилась головными болями, а он часами сидел рядом с ней, подавал холодное полотенце, забросил работу и мог, плюнув на все, искать по Москве клюкву в июле, замороженную сливу, свежие грибы, сосиски с селедкой или землянику, — их брак решила ее беременность.

Она не сказала ему об этом. Но два вечера подряд у нее открывалась рвота. Игорь, обезумев, бегал по квартире и, наконец, вызвал «неотложку». Приехавший пожилой врач успокоил Зину, погладил ее по голове, сделал укол, от которого она задремала, и в прихожей сказал Игорю:

— Ваша жена беременна. Именно первая беременность проходит так тяжело, — улыбнулся врач оторопевшему Игорю, — со вторым ребенком будет легче.

«Боже мой, — подумал Игорь, когда дверь за доктором закрылась, — значит, это возможно, а я уже и перестал мечтать, что Зина может выйти за меня замуж. Куда же она денется теперь, когда у нее будет ребенок? Но главное — ее не спугнуть». Он обделаёт все ласково, потихоньку. А потом: стерпится-слюбится, он еще обомнет ее строптивость. Вперед, гвардия! На новые позиции, снайпер.

Утром за чаем он заметил Зине:

— Доктор сказал, что у тебя будет ребенок.

— Я знала, — произнесла Зина, спокойно облизывая ложечку после джема.

— А мне не сообщила, потому что я не имею к этому отношения? Может быть, это Володин ребенок?

— Володя мальчик. Мне просто интересно с ним.

— А со мною тебе разговаривать неинтересно?

— С тобой все по-другому. С тобой мне хорошо.

— Может быть, нам все же пожениться? — как бы между прочим произнес Игорь, а внутри у него все напряглось, потому что именно в эту минуту решалось, будет ли он, как все, счастлив, создаст семью, у него будет сын. Уже три или четыре раза она отказывала ему: «А зачем? Мне и так хорошо. Я не знаю, люблю ли я тебя». Он ждал от Зины ответа, а она спокойно, будто бы в жизни ее в этот момент ничего не ломалось, аккуратно облизывала ложечку. Наконец она ответила:

— Володя мне тоже несколько раз предлагал пожениться.

— Но ведь у тебя мой ребенок, — сказал Игорь и опять подобрался. «Готовься к поражению, снайпер. В спорте главное не победа, а участие. Ты сделал все, чтобы получить эту не твою по молодости девушку. На таких женятся сорокалетние доктора наук. На чистых, молодых, правдивых. Они находят и открывают их, сначала незаметных, обыденных. А мне открыть и дать ей свою фамилию не удастся. Готовься к поражению, снайпер. Ведь все в жизни слишком тяжело давалось тебе. Готовься к терниям, звезды будут у других».

— Это правда, — сказала Зина, — ребенок твой. Поэтому-то я Володе и отказала. А ты уверен, что нам надо пожениться?

— Конечно, — сказал Игорь. — Я ждал тебя всю жизнь, мне никого не нужно, кроме тебя, никого.

— Правда, Игорь? — У Зины вспыхнули глаза. — Правда?

Он посмотрел на нее долгим, открытым взглядом.

Все было ошибкой. Тогда он думал: только бы зацепиться, только бы она вышла за него, а уж удержать он ее сумеет, он будет работать, как

вол, как сорок тысяч отцов и братьев не смогут работать, и она никогда не уйдет из комфортабельной жизни в жизнь другую. Он не оценил ни ее силу, ни Володьку, своего — будь он проклят! — сменщика. Он перестал за ним наблюдать. Он думал, что тот все такой же деревенский недотепа, перенесший свои колхозные привычки в Москву. Он, Игорь, думал, что рано или поздно Володька начнет жить, как он, — само время, дескать, подскажет. Володька спланировал свою жизнь по иной системе координат, ему все досталось легко, без лжи, все у него случилось незаметно, сначала начальником колонны, а потом главным инженером автобазы назначили именно Володьку, а тот еще каждый раз отнекивался, ему, видите ли, этого ничего не надо. Ему же, Игорю, когда подошло время — сколько же можно подбирать «справные» пятерочки и трояшки, шоферить, гнуть шею перед женою начальника и ради лишнего свободного часа бреть у нее поручения съездить за картошкой на рынок или к ее приятельнице за мотком шерсти, — а ему, Игорю, когда подошло время, пришлось уходить начальником склада — всего лишь начальником склада на станцию техобслуживания. Он-то, конечно, и тут свое брал, в его руках весь дефицит, а частник, он звереет, когда часа четыре постоит на дворе с неисправной машиной, в гомоне, в крике, а потом узнает, что сделать с его «Жигулями» ничего нельзя, и ему надо еще и еще раз приезжать на станцию и улыбаться, улыбаться девушкам-приемщицам, знакомиться со слесарями, чтобы «сделали получше», и тут частник готов вытрясти весь бумажник, весь, до дна, и улыбаться жалко и пакостно, и заискивать, и просить «христа ради»: только достань ему, найди коробку передач или выжимной подшипник. Здесь Игорь собственными унижениями, презрением, читаемым в глазах ободренных, но тем не менее благодарных клиентов, ухватывал свои три-четыре сотни. Но ведь Володька-то нынче брал свои три без заискиваний, безо всякого страха перед ОБХСС, он спал спокойно, чувствовал себя правым и потому так уверенно и прямо глядел всем в глаза. Не оценил он, Игорь, и своей жены. Она не осталась только прямой и простенькой девочкой. Игорь все от нее скрывал и знал твердо, что и Володя ей о нем ничего не сказал — Володя ни разу не проговорился, что его «учитель» простой шофер, он дал Игорю слово и держал его крепко — для Зинаиды Игорь всегда был инженер, завгар. Даже после того, что произошло, Володя ни разу не воспользовался его «тайной». Значит, она сама узнала его подноготную, прислушиваясь, когда он, Игорь, вел из дома по телефону переговоры с клиентами, когда намекал им, каких трудов стоит достать эти несчастные валы, коробки передач, сальники, амортизаторы. Значит, она сама его вычислила. Сегодня она так ему и сказала:

— Я презираю твою суету, этот дом, машину, боязнь соседей, и я от тебя уйду.

— К Володе? — спросил он.

— К Володе.

Он хотел выругаться, ударить ее, уничтожить. А здесь же рядом стоял ее сын, их сын. Запомнит, закричит? И здесь же, через стенку, в комнате среди нужных гостей, созданных на новоселье на их новую дачу, — Володя; молодой, сильный, ведь он убьет его, если Зинаида закричит.

— Давай поговорим, когда уйдут гости, — сказал Игорь, стараясь быть спокойным.

— Когда уйдет последний гость, я уйду вслед за ним и возьму сына.

— Сына я тебе не отдам.
— Не говори глупостей. Сын будет с матерью.
А пока как следует мой тарелки.
— Ты уедешь к Володе?
— Да. Я его не переставала любить.
— Значит, в моем доме ты крутила с ним шашни?

— У нас ничего с ним не было.
Ему бы, Игорю, тогда же начать все крушить, застрелить, что ли, из охотничьего ружья своего бывшего сменщика! Может быть, она ждала от него поступка, какого-то действия, которое он должен был совершить, в ущерб себе, своим вещам, своей даче? Он, как дурак, подумал, что сначала надо провести мероприятия, закончить новоселье, а потом все образуется, станет на свое место, он ее уговорит. Будто бы он не знал, вернее, не узнал за пять лет совместной жизни своей жены, не знал своего сменщика.

А разве что-нибудь поменялось бы, если бы он, Игорь, ударил Володю, затеял бы с ним драку? Разве Володя не был верным другом, самым верным? Володя не отбирал у него Зины. Он просто ее любил и твердо знал, что рано или поздно ей до тошноты надоест его мир. Повзрослеет и поймет. Не ошибся сменщик. То, что случилось, должно было случиться. Значит, Володя — теперь Игорь понял — поддерживал его и тогда, когда сам не верил в то, что делал для своего «учителя», когда помогать сменщику и «учителю» было ему неприятно. Разве большую часть строительства не выволок Володя на своих бескорыстных плечах? Тут, наверное, впервые Зина и узнала, как Игорь строил этот проклятый дом. Как же, у него родится сын — только сын, продолжатель, наследник, собиратель! — и пусть у парня сразу будет все! Зина еще была беременна на шестом месяце, а Игорь уже купил развалюху-дачу, сарай, но на хорошем большом участке. Надо торопиться, пока еще остались силы, есть знакомые, есть гараж, и ребята на грузовиках не откажут подбросить пару машин вагонки. Пусть он пока лишь простой шофер — тогда Игорь еще не уходил на станцию обслуживания, но соседи не должны этого знать. Пусть эти неудачники-интеллигенты предполагают, что поселился у них под боком писатель или на худой конец крепыш-мужичок, у которого в кубышке водятся деньжонки! Он выстроит хоромы на грани дозволенного, они закачаются от зависти. А уж как строить, как сделать, чтобы все было шито-крыто, он знает. Но главное — не торопиться. Не вызывать волнений у ОБХСС и народного контроля. Очень уж много за последнее время развелось жалобщиков.

В те дни, наверное, Володе очень не хотелось влезать в эту полулегальную строительную кутерьму. Но он влез. Даже не ради Зины. Он торопился показать «учителю» наглядным примером, что, и построив свою сверхдачу, тот ничего не добьется. Это теперь он, Игорь, понял, догадался, почему так терпеливо Володя сносил все тяготы этой стройки, — ведь в то время Володя еще только заканчивал техникум.

Вскоре после того, как было решено насчет женитьбы, Игорь заставил себя поговорить с Володей. Заставил себя, скрипя зубами, потому что ни с кем не хотел говорить о своей женитьбе, о своей жене, о своей любви. Это было в субботу, в тот день вдвоем, без слесарей, они делали ТО-2 профилактику. В обед они выпили «щенка» — четвертинку: на линию обоям не выезжать, закусили килькой в масле, и, нарочито тщательно пережевывая последний кусок, Игорь сказал, опустив глаза:

— Я женюсь на Зинаиде. У тебя что-то с ней было?

— Ничего у меня, Игорь Савельевич, с нею не было. Мы просто дружили.

— Ты прекрати эту дружбу. Она уже беременна.

— И в гости я теперь к вам ходить не могу? — после паузы спросил Володя.

Игорь еще старательнее пережевывал кусок хлеба, потом проглотил.

— Ты мой друг. Почему же тебе не приходить в гости?

— И с твоей женой я могу разговаривать?

— Ты же ей друг! — подковырнул Игорь. А сам подумал: дело сделано. Уже растет будущий сын. Теперь Зинаида навсегда его. Он уже подарил ей кольцо с бриллиантом. А кто еще мог ей подарить такое дорогое кольцо? Какой бесштаный и волосатый пацан? Ребенка тот подарить ей еще бы мог, но и ребенка подарил он, Игорь. Так что пусть дружат. И он ответил Володе, благодушествуя: — Я что, деспот? Я современный человек... Разговаривайте. По-знакомишь ее с новой своей девушкой, может быть, они подружатся...

— Я надеюсь, — сказал Володя, как показалось тогда Игорю, грустно. А Володя, оказывается, высказал вслух то, что думал: он на что-то надеялся. Он, его сменщик, был уверен, что когда-нибудь Зинаида сама разглядит его «учителя» — Игоря.

Все это время, после того, как за Володей и Зиной, несущей закутанного в одеяло Кириюшу, хлопнула дверь, Игорь безостановочно, не выключая за собой свет, бродил по дому: из кухни в спальню, спускался в гараж, забитый рулонами толя, мешками с цементом — все это были остатки от строительства. Колонка с автоматической газовой печкой ровно гудела, разнося по всем уголкам дома умеренное тепло. Выстроенный на целую вечность дом еще жил своей размеренной, вычисленной и сконструированной жизнью, но стержень ее, суть, дух ее и смысл исчезли — он, Игорь, оставался здесь один.

Он мог бы рассказать историю каждого здесь кирпича, каждой ступеньки, каждого дерева в саду и каждого бетонного столба в ограде. Все это надо было не только достать, привезти, купить, организовать, поставить на баланс в поссовете, но и за каждую щепку, за каждый привезенный «лзый» пуд щебня и бетона переволноваться. Отгрохать на виду у соседей, поссовета! И теперь дом не нужен. Сколько иезуитской хитрости потребовало все это от него! Уже когда родился Кириюша, вдруг на его участке, со скромными штабелями кирпича, появились десять человек мужиков — его друзья, знакомые, Володя, сослуживцы из гаража — и в один день выкопали метровый колодезь под фундамент. Ночью в большой армейской, привезенной на «рафике» палатке они устроили пьянку с жарением шашлыка, а уже утром, только взошло солнце, канаву под фундамент начали забрасывать щебнем, песком, бутовым камнем, сверху залили бетоном, и уже к вечеру Игорь всех увез в ресторан. Тишина, тишина над растрепанным поселком. Пусть садится фундамент, пусть зарастает крапивой, бурьяном, пусть утихнут разговоры, предположения, сплетни. До следующей осени. Он даже не станет сюда приезжать. Всю зиму. Всю зиму он будет заниматься «подготовительным периодом». Достать, привезти, договориться, добыть справку, что «товар» не ворованный. Трояк девушке в магазине стройтоваров или на складе брака домо-

строительного комбината — и на руках уже копия топарного чека. А на следующий год за две недели четыре каменщика уложили тридцать четыре тысячи кирпича. Ровно в назначенный час, ни минутой раньше, ни минутой позже въезжал самосвал с раствором и — никаких денег: только на выезде из поселка в условленном месте под камнем или в дупле дерева, в ржавой консервной банке лежала аккуратно сложенная тридцатка. Игорь следил за всем, координировал работу целой бригады, споры и четко выкладывавшей стены. А в это время заботы о своей семье он взвалил на Володю. Тот теперь чаще виделся с Зиной. Ездил ей за продуктами, даже Кирюша к нему привок. Так малыш привык, что больше тянулся к Володе, чем к родному отцу. Недаром именно у Володи находилось время свозить его в воскресенье в зоопарк, углоок Дурова, в кукольный театр, покаты на отцовской машине. А ему, Игорю, было некогда. Он вколачивал себя в «будущее» семьи, дома — возился на участке, вместе с Зинаидой сажал яблони, копал грядки под огород и был даже рад, что Володя хоть на несколько часов освобождал их от забот о малыше, давал время, чтобы они с Зиной вместе, сообща поработали над своим спокойным, безбедным и комфортабельным будущим. Ему казалось, что и Зина трудилась на участке с удовольствием, всласть. И он, Игорь, был счастлив, что она рядом, что она набирается от него житейской хватки, сноровки, и одновременно тихо и, как ему казалось, ненавязчиво он обучает ее массе важных, полезных и необходимых для их светлого будущего приемов. Только теперь он понял, что душезно надсадил, занудил ее, замучил, совершенствуя и воспитывая. Она стала взрослой женщиной и развивалась по своим законам, а он навязывал ей свои. Володя ничего не навязывал, он любил Зину не в будущем, а сегодня и выросл рядом с нею.

Наверное, молодость и давала ему энергию, которой недоставало Игорю. Володя искал любой предлог, чтобы увидеться с Зиной. Встретиться с Зиной, взглянуть на нее — для него это было главным, а для Игоря после женитьбы, после повеления на вечные времена законного права собственности на жену и права на безусловность соучастия ее в его делах все время возникали дела более важные, неотложные, более обязательные. Жена вытерпит, жена простит, жена поймет.

«Ты даже не смог встретить меня из больницы». Она лишь обронила эту фразу, три года, видимо, готовилась, чтобы ее сказать. А он-то, дурак, думал, что жена все поймет. Она, может быть, и все поймет, но как женщина ничего не простит. А ведь все казалось таким простым, он, Игорь, объяснил ей ситуацию, и уже на следующий день ему казалось, она все поняла, поняла, что случилось несчастье, и он действительно не мог приехать и вместо себя прислал друга дома — Володю.

Все тогда стекло: день выписки Зины и Кирюши из больницы, куда их положили, когда в два года Кирюша заболел воспалением легких. Их должны были выписать в три часа дня, а с утра Игорь договорился, что на участок придет автокран, чтобы на крышу почти готового дома положить бетонные плиты. Их надо было положить немедленно, потому что они уже целый день мозолили глаза всему поселку. Положить, закрыть толем, залить битумом. Но приехавший автокран — слишком уж велико Игорь отгрохал строение — начал вязнуть на приболоченной почве. Пришлось бежать за трактором, вытаскивать кран. И снова пришлось обращаться к Володе. И тот поехал без

звука и привез домой его жену и его сына из больницы. А когда поздно ночью Игорь вернулся с дачи в Москву, Володя спал на раскладушке на кухне. Может быть, у них все началось тогда? Нет. Он шепотом выговаривал Зине, что ей, замужней женщине, в отсутствие супруга нельзя было оставлять в доме ночевать мужчину, надо беречь репутацию, он-то, Игорь, конечно, плохо об этом не думает, он слишком уважает и жену и друга, но что могли подумать соседи... О, это его занудство приличий! И сегодня, может быть, не было бы сказано роковых слов, если бы он дал же не всласть натанцеваться с Володей и не пилил, когда они накрывали вместе стол,

Он думал, что именно новоселье станет рубежом его прежней жизни. Четыре года, пока он строил дом, он думал об этом празднике. Когда копали фундамент, он уже видел и большую комнату, в которой стоит длинный стол, накрытый белой скатертью, и рюмки перед приборами. Все представлялось чрезвычайно чинным, с негромкими интеллигентными голосами гостей: «простите» — «не стоит беспокоиться», «передайте, пожалуйста, мне рыбу» — «благодарю вас, не попробуете ли вы салат?» Таким он еще в детстве, в фильмах той, навеки отлетевшей эпохи, видел застолье, поразившее его детское воображение, застолье в квартире то ли академика, то ли знаменитого писателя. Но одно до самого последнего момента Игорю было неясным: кто же сядет к нему за гостеприимный стол?

Все последние недели, взяв отпуск, он вместе с Зиной ходил по комиссионным магазинам, покупал на двенадцать персон сервизы, стекло; если попадался, не отказывались от хрустала, свозили на своем «Жигуленке» скатерти, сумки с вином и напитками, везли новую, не очень дорогую, но новую — в доме, в их доме, в их крепости не должно быть никакого старья — мебель. Перед лицом дальнейшей судьбы Игорь был гол: на этот первый в его жизни праздник, где он будет выступать впервые как хозяин, он потратил все остатки своих многолетних сбережений.

Он так надеялся, что в этих хлопотах вспомнит, наконец, решит, кого же из людей, искренне любящих его, и тех, кого он сам искренне любит, позвать на новоселье. Но назначенный день приближался, а торжественного и желанного списка гостей все не было. Кого же звать? Ну, Володя? Юрий Викторович с супругой? — нельзя, нечего ему знать, как живет его бывший шофер; друзей детства, Веньку, Татьяну, Алексея-графа, чтобы посмотреть, в какого лебедя превратился гадкий утенок? — с ними он уже давно не поддерживает отношений, а Татьяна не придет и даже по телефону не станет с ним разговаривать. Кого-нибудь из нынешних его клиентов со станции техобслуживания? — а там есть и большие артисты, и теледикторы, и известные писатели. И он, Игорь, долго колебался, прикидывал, кого позвать, кто с кем будет «монтировать», как отнесутся к нему, к его молодой жене, и в конце концов решил: если звать некого, то он позовет своих товарищей по новой работе, ребят справных, гарочку знакомых заведений из универмагов — людей пьющих, чистых и, конечно, полезных, и уж с ними, так сказать, в своей компании, повеселится и, конечно, позовет Володю. Праздник он устроит для себя!

Накрывать на стол он решил сам. Его обуял какой-то бес недоверия. Он влетел в кухню, где Зина и соседка-старуха колдовали над тазами с салатом, и проверил, достаточно ли мелко они режут

овощи и мясо, потом бросался перетирать стекло, чтобы на бокалах не было ни пылинки, расставлял стулья так, чтобы уместить всех приглашенных без тесноты, и одновременно как бы заводя в своем доме традицию самого высокого класса на будущее, все время вызывал Зину из кухни. «Смотри внимательно,— говорил он,— и запоминай. Скатерть на стол всегда надо стелить, предварительно положив кусок байки. Так посуда не будет ерзать и фужеры получат устойчивость».

Зина сначала просто отшучивалась: «Да я же не в официантки готовлюсь». Игорь злился: «Порядок в доме должен быть, порядок. Нельзя вечно жить как на вокзале. Да, кстати, старухе про нас особенно не распространяйся». «Подумаешь, тайна!» — говорила Зина и убегала на кухню.

«Ну что,— говорила Зина, обращаясь к старухе помощнице,— сделаем, как просит муженек?» «Очень он у тебя знающий,— говорила старуха прямо при Игоре, желая подольстить обоим супругам,— большой человек, зарплату, наверное, хорошую получает, а так во все вникает». «Он у меня такой»,— говорила Зина. И непонятно было, осуждает она мужа или восхищается его разносторонними талантами.

А Игорь снова срывался в комнату и снова звал Зину: «Запоминай: нож полукруглый — для сыра...» Он все это говорил, даже сам удивлялся тому, как много знал об этой ритуальной, внешней стороне жизни, и чувствовал, что жене это неприятно, он как бы низводит ее во второй сорт людей, которые не знают, как специальным ножом и вилкой есть рыбу, но остановиться не мог — наступал час его жизненного торжества, его знания и совершенной компетентности.

Он бегал по всему дому, и у него была тысяча забот: самому расставить судки и блюда, на сервант водрузить вазу с фруктами, на маленький столик у кресла положить несколько пачек сигарет и поставить настольную импортную зажигалку,— он знал по рассказам, что так всегда делают на приемах. Потом надо было сложить дрова в камин. Он ошарашит своих гостей. Когда все выпьют и закусят, он подожжет кусочек бересты под сухими поленьями, и во время кофе все будут сидеть и глядеть на огонь.

Но все получилось совсем не так, как Игорь предполагал.

Сначала, перед самым приходом гостей, когда выяснилось, что надо сделать еще два десятка мелких дел, пропала Зинаида. Игорь кинулся ее искать и обнаружил, что она спокойно, не заботясь об еде не натертом хрене и не нарезанном хлебе, одевается в спальне в свое самое нарядное длинное платье. «Как же так, Зина,— накинулся на нее Игорь,— ты же хозяйка, у нас на столе ничего не готово!» Она ответила: «Я тоже, как все, хочу быть красивой и хочу веселиться». Игорь сразу подумал, что слишком уж она будет красивой и нарядной для грузноватых жен его друзей, но ничего не сказал. «Ты запутаешься в подоле, когда будешь подавать на стол». «А я,— сказала Зина,— ничего на стол подавать не стану. Мы поставим все сразу и будем веселиться. Ведь это же наше новоселье!»

Но это была лишь первая неприятность. Игорь подумал: «А может, она и права? Как-нибудь все обойдется. Тут очень кстати пришел Володя и немножко помог.

Главное огорчение доставили гости. Именно они и их жены нарушили условия игры. Сначала все ходили по дому, восторгались планировкой, кухней,

меблировкой, освещением, потом сели за стол, и все было замечательно и чинно, но неожиданно, хстя стояла прекрасная закуска, все быстро напилось, у женщин расплылась по лицам косметика, мужчины без разрешения женщин скинули пиджаки, стали пить водку из фужеров, принялись рассказывать неприличные анекдоты, и внезапно новоселье превратилось в неуютную, скучную пьянку. Кто-то поставил адаптер на пластинку, кто-то залел «Подмосковные вечера».

«Сейчас все утихомирится,— думал Игорь,— первый острый хмель погаснет, я зажгу камин, все сядут вокруг, маленькими глоточками попивая коньяк и ликеры, начнут глядеть в огонь».

И в этот момент со стола упал первый бокал.

— Это на счастье, на счастье! — ничуть не смутившись нанесенным уроном, закричала полная женщина, размахивая зажженной сигаретой. — Хозяйка не в обиде?

— Нет, что вы,— сказал Игорь,— это на счастье. — Женщина загасила сигарету в тарелке и, ни на кого не обращая внимания, налила себе вина. «Они же все сейчас разгромят,— подумал Игорь.— Надо спасать посуду». Игорь подошел к Зине, о чем-то разговаривающей с Володей, и сказал:

— Помоги мне убрать посуду.

— Я сначала потанцую, мы уже с Володей сговорились потанцевать.

Прижимая к груди очередную порцию тарелок, Игорь мельком видел, как Зина танцевала с Володей. Глядя раздражение, подумал: «Как ладно у них это получается!»

Через несколько минут, одетая в красивое длинное платье, с блестящими, радостными глазами, Зина появилась на кухне. Как будто ни в чем не бывало она сказала Игорю:

— Будем спасать имущество?!

— Будем спасать, — улыбнулся Игорь. — Ты много выпила?

— Много, и поэтому скажу тебе сейчас правду. Я от тебя уйду. Мне все это не нужно. И тебе я не нужна. Я для тебя такая же вещь, как этот дом, как мебель. Ты какой-то Р-7В.

— Что?

— Ну, Растинька, изделия 1978 года. Тебе льстит, что твоя жена на семнадцать лет моложе. Почти как у престарелого академика.

Ему было разогнать всю эту толпу «нужников», но он только судорожно думал: «Что же с ней произошло? Когда он недоглядел? Значит, эти пять лет для девчонки-работницы, окончившей только восемь классов, не прошли даром. Может быть, она даже заглядывала в те книги, которые именно из-за престижа он покупал? Что же ему делать, как жить дальше?»

Автоматически он продолжал мыть тарелки, потом собрал всю волю и поднял на Зину взгляд. Глаза у нее были трезвые и веселые. Они смотрели в глаза друг другу, и по взгляду жены Игорь понял: она уйдет.

...В доме было тихо, лишь в трубах чуть потрескивало: это внизу, в подвале, горел газ и автоматическая установка гнала умеренное тепло по комнатам. Игорь еще раз обошел дом, по внутренней лестнице спустился в мастерскую, в гараж и везде погасил свет. Потом, как ночной сторож, вернулся в большую комнату и сел в кресло. Ни одной мысли не приходило в голову. Тихо. В душе не было отчаяния. Просто пусто, как осенью на картофельном поле. Может быть, Игорь даже задремал. Когда он очнулся, в комнате было еще темнее. На ощупь он прошел к буфету, достал на-

чату бутылку коньяка, отодвинул в сторону бокал, нашел простой граненый стакан, налил его дзвэрху и выпил. Все-таки недаром он строил дом, на своем новоселье он должен всласть напиться. Пусть нет гостей, пусть все раньше срока, почувствовав, что у хозяев что-то происходит, разошлись, черт с ними. Он сегодня хотя бы для себя отыграет всю программу. Гулять, так с музыкой! Он затопит камин. Где только запропастились спички? Но сначала он выпьет еще...

Вспыхнула береста, а потом и дрова. Пламя весело шумело, камин не дымил, и было чертовски приятно сидеть в удобном кресле, подставив теплу длинные ноги. Игорь хлебнул коньяка еще, теперь прямо из горлышка. Наверное, душа жизни держится в огне, недаром человек не может оторвать от него взгляда. А пламя потихонечку угасало. И вдруг среди медленно и ритмично вспыхивающих языков показалась давнишняя, почти забытая картина: красноватая равнина и цепочка воинов в поножах, крылатых шлемах со щитами и дротиками. «Куда бегут они? Зачем?» — подумал Игорь и в это же мгновение в ровной цепочке увидел себя. Молодого, юного, окрыленного надеждой. «Так вот он настоящий я. Надо его догонять, коснуться, и тогда все у меня будет хорошо. Вернется Зина. Мы найдем свое счастье. Все придет в дивное надзвездное равновесие. Только коснуться». Игорь потянулся вперед, покачнулся и вдруг упал. Последнее, что ему подумалось: будто он коснулся того юноши, которым был или который был похож на него, и снова стал молодым.

Он очнулся уже днем, ослепительное солнце освещало дом, разбросанные по углам стулья, окурки в цветах, битое стекло, куски ветчины, разбросанные по ковру, опрокинутое кресло, на котором он сидел ночью.

...Болела обожженная рука. Сначала он стал на четвереньки, потом с трудом поднялся и побрел в подвал. В мастерской, работая левой рукой, он отыскал кусок электрического провода, покрытого хлорвинилом, сложил его вдвое и перекинул через балку. Он приладил все аккуратно и добросовестно, как привык делать всегда, потом сходил наверх, принес стул. Поставил стул к проводам, но потом передумал и взял тесовый ящик, дешевый и прочный. Уже стоя на ящике, он сказал себе: «Досчитаю до сорока по числу моих лет и...»

— И что же будет там, за этим «и»?..

И тут же голая в своем прозаизме мысль возникла в сознании:

«По закону после смерти мужа — все жене, а значит, и Володе. Ее будущему хахалю. Все, значит, опять приплывет в ручки «хорошему мальчику». А «плохой мальчик» будет гнить в могилке. Ну, нет? Разве нет в нем энергии и бойцовской злости, чтобы начать жизнь сначала?» Да ведь он и нужен жизни, чтобы, пробираясь по ней, так сказать, санировать общество от ротозеев. Чтобы доказывать всем, что жить-то можно. И хорошо. Только играть-то надо по собственным правилам. Еще резче надо играть, отчаяннее, азартнее и точнее. «Ну уж нет, в могилку меня не закопать! Вы еще обо мне узнаете, Володя и Зиночка! Вы еще приползете ко мне. Чтобы ради вас я гадил хлорвиниловый провод? Еще многие обо мне вспомнят горючей слезой. Я нужен этому миру. Ату, люди! Сейчас высплюсь, поем, сделаю зарядку, и... ату... А что же будет там, за этим «и»? Тоже мне, нашелся Гамлет! Известно, что там будет... А здесь — жизнь. И выстрою я ее по-своему. Ату!...»



**ВИТАЛИЙ
КИСЛОВ**



☆☆☆

**Лодка из похода не вернулась.
Ожиданье горем обернулось.**

**Много лет спустя ее достали.
Герметичный саркофаг из стали...**

**Только стрелка компаса дрожала —
Звать домой подводников устала.**

**И шифровка в сейфе командира
Говорила о начале мира.**

☆☆☆

**Я на поляне полудикой
У обелиска на виду
Сорвал с поклоном землянику
И дальше по тропе иду.**

**Один поклон — такая малость,
Да мне ли той тропы не знать —
Там столько ягоды осталось,
Что собирать
И собирать...**

☆☆☆

**Оглянусь и вижу:
мельником,
От обиды как в бреду,
Я бегу к седому мельнику
И несую свою беду.**

**Ах, он, мельник, друг он лучший мой,
Он с войны еще глухой,
Как же он умело слушает
И кивает головой.**

**И в муке вся в белой мельница,
И припудрена вода,
И беда-обида мелется
сразу вся и навсегда...**



НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ

☆☆☆

Ушли к себе соседки,
На общей кухне — тишь.
Угомонился в клетке
Нахохлившийся чиж.

Ему-то до рассвета
Дремать бы у окне.
А мне-то, мне-то, мне-то
Нисколько не до сна.

Дв, истину простую
Я еижу все ясней:
Ну сколько ж я епустую
Своих растратил дней!

Их сбившуюся стаю
Попробуй догони...
Когдв-то наверстаю
Упущенные дни!..

Какав тут усталость,
Ей вовсе места нет!
Что в жизни мне осталось! —
Ну пять, ну десять лет.

Конечно, мир не рухнет
Со мной в небытнѣ.
Но я на этой кухне
Хочу сказать свое...

Пусть голос мой негромок —
Сквозь гром времен и тишь,
Далекий мой потомок,
Ты и его услышь.

Я был простым солдатом
И вынес — ничего! —
В столетии двадцатом
Все тяготы его.

Летеп в одном потоке
С достойными пюдми.
И ты вот эти строки,
Пожалуйста, пойми.

Как рееный среди равных,
Я о тебе радеп
И жаждвл самых главных
И самых слаеных дел.

Конечно, притомился,
Но ведь соесем не стих...
Ко многому стремипся —
Немногого достиг.

И эта вот досада
Со мною не умрет.
И надо, надо, надо
Упасть лицом вперед...

...А соннце в дымной сетке
Восходит из-под крыш,
И выпорхнул из клетки
Наш суетливый чиж.

Уеидел, что я занят,
Что я уже не сплю,
И вот вовсю горпанит:
— Давай мне коноплю!..

Ему бы петь, кружиться
Да зернышки клевать...
Куда же мне ложиться,
Когда пора вставать!..

☆☆☆

Все мне кажется: в домике утпем,
Излучающем радость и грусть,
Замечательным розовым утром
Я, как в детстве бывало, проснусь.

...Все, как прежде, подумай-ка, глянь-ка,
Сповно время совсем не течет:
Вон моя престарелая нянька
Аржанные пепешки печет.

Чугуны задвигает ухватом,
Воду черпает, кружкой звеня.
И не потном лице жептоватом
Пляшут красные блики огня.

Дождаясь лепешек горячих,
Я и сам попыхаю в огне.
Где мне знать о своих неудачах
И удачах, отпущенных мне!..

Ну а время-то все же петепо!
Или не было вовсе войны,
Обжигающей душу и тело,
И подаренной вдруг тишины!

И не знал я забот ежедневных,
И е душе не сберег, не пронес
Этих лет, и радушных и гневных,
И терпенья, и смеха, и слез!

И прекрасная страсть не знобила,
И другие — ничем не грозят!
И недавно совсем это было,
Ровно жизнь — и всего-то! — назад!..

☆☆☆

Травы у обочины поникли.
Каждый кустик от дождвй продрог.
Девочка петит на мотоцикле
Петлями проселочных дорог.

Брызжет из-под черных шин щебенка,
Выхлопы расстреливают тишь.
Скорость.

Только скорость.
Ну и гонка!..
Милая, куда же ты летишь!

Может, это поле в дымке ранней
И леса, ушедшие в дожди,
Всем, живущим в мире ожиданий,
Что-то обещают впереди!

И светло от радужных видений,
И никто не выкрикнет: постой!
И тебя зовет простор весенний —
Что там, за туманною чертой!..

Или душу захлестнула горечь!
И, чтоб окунуться в забытие,—
Скорость.
Ну и скорость.
Только скорость!
В ней одной — спасение твое...

Новые видения возникли
И пропаи где-то в облаках...
Девочка летит на мотоцикле —
Все ее коленки в синяках.

☆☆☆

...И посыплется милости с неба,
И окатит меня синевой,
И проглянет земля из-под снега
Прошлогодней пожухлой травой.

И засветятся кочки болота
Бархатистою зеленью мха,
И поманит рукою кого-то,
Вся в сережках, невеста-олуха.

Мать-и-мачеха вспыхнет на скпонах
Миллионами малых светил...
И откроется буйство зеленых
Молодых и раскованных сил.

И опять я поверю в удачу,
И опять за нее постою,
И последнюю нежность растрочу
На январскую душу твою.

☆☆☆

...И я вхожу рассеянно сюда.
Как грустно здесь, в предзимней роще этой!..
Уже ледком прихвачена вода.
Дрожит осинник, донага раздетый.

Моя пора!
И я ее ценю,
Хотя она ведет в такие двери,
Где все надежды чахнут на корню
И пышно разрастаются потери.

А роща безголоса и пуста,
И зябнет снег на сучьях оголенных.
Но два листа на ветке, два листа,
Еще трепещут два листа зеленых...

☆☆☆

Де, Колумб, ты добился успехов
И немало напутал, старик:
Надо ж, е Азию вроде поехав,
Ты попал на другой материк!

И деянья свои подытожь-ка:
Что хвалить у себя, что корить?
Хорошо, ты привез нам картошку,
А зачем научил нас курить!!

☆☆☆

*Володе Бровцину,
Саше Замятину*

Ах, лесная речка Пудица —
Родниковая вода...
Не беда, что рыбка удится
В этой речке не есегда.

Там, за тихими заливами —
Заповедные края:
Ясный плес.
Кувшинки с ивами.
Да еще мои друзья...

Что ж, Володя, вдарим веслами!
Вот попробуй-ка пойми,
Вроде нас считают взрослыми —
Мы становимся детьми

От есего, что в детстве отвли —
От березки золотой,
От песчаной этой отмели,
Ранним солнцем залитой,

От осинничка от частого,
Что дрожит на холоду,
От пескарика несчастного,
Что попался на уду...

Все на свете позабудется —
Суета, долги, дела,
Лишь бы только речка Пудица
Все вдоль бережка текла.

Да над землями покосными
Все кружились ястреба,
Да стояла бы под соснами
Нашв русская изба.

Словно здесь вторая родина
Мне открылась навсегда...
...Вот придет письмо Володино,
И отправлюсь я туда...

☆☆☆

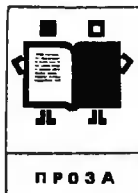
Снег февральский нежно-фиолетов,
Хоть его сковал морозный нест.
Ни один из памятных портретов
Сущности твоей не передаст.
Сыплется с березы иней ломкий,
Сбитый налетевшим еороньем.
Что-то от прекрасной незнакомки
Есть в зовущем облике твоём,
Юной, яснолицей, предеесенней,—
Как нарисовал ее Крамской.
Но она заносчивей, надменной...
О, прошу тебя, не стань такой.

☆☆☆

В этих ложбинах, ольхою поросших,
Кажда малость ласкает взгляд:
К таволге льнет мышинный горошек,
И горделиво гпядит гравилат.

В этих ложбинах души не чая,
Вижу я, как не бугре, едели
Розовым пламенем иван-чая
Рвется наружу огонь земли.

В этих любимых моих ложбинах,
Где — и всего-то — пырей да осот,
Сердце взлетает до ястребиных,
Синих и чистых своих высот.



ЛЕВ ХАХАЛИН

ПОВЕСТЬ

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

(Комментарии к биографии известного лица)

В

дни, когда Наташа училась, Кузьмин засиживался в лаборатории. В десятом часу с кастрюлькой приходила Наташа (а Любочка внезапно перестала ходить, но это не задело и не заинтересовало Кузьмина).

— Натк! — взмолился он. — Ну, посмотри! Опять какая-то мазня!

Неумело настроив микроскоп, Наташа долго разглядывала переливающуюся в окуляре картинку, так надоевшую Кузьмину.

— На симпатичный ситчик похоже, — сказала она. — Дай-ка я срисую. А вот эти пятнышки, как розочки на льду.

— Ха, «розочки»! — отозвался Кузьмин. — Господи, — сказал он, — просвети ты меня, невежду дикого! Но где же «включения»? Где они? Нет их. А?

Эта картинка не давала ему покоя. Его уже не интересовало ничье мнение, даже Коломенской. Любочка и Федор не понимали, почему он застрял на этой картинке, да он сам не мог бы объяснить это. Просто с первого же раза, только взглянув на нее, он понял, что в ней спрятана какая-то разгадка, и теперь, бесконечно модифицируя методику, пробуя разные окраски, он не переставал думать о ней. Временами он чувствовал, что подходил к самому порогу понимания, но отступал, повинувшись интуиции и чувству гармоничности, — во всех его трактовках этой картинки была какая-то натянутость.

И через два дня, в тихих сумерках, сгребая фиолетово-синий снег с тропинки от флигелечка к баньке, он отметил, что вокруг что-то изменилось, поднял голову и увидел беспорядочно разбросанные на снегу дрожащие розовые «зайчики»; на глазах они перемещались, бледнели и вот-вот должны были исчезнуть. На какой-то миг картина перед глазами совместилась с картинкой, надоевшей ему в поле окуляра, и на грани понимания, отшвырнув лопату, спотыкаясь в неуклюжих валенках, он бросился бежать к обрыву, а там, ухватившись с разлета за гулкий ствол сосны, увидел: оранжевое солнце дымным размытым клубком быстро уходило за неровный лесной горизонт, и последние его лучи отражались на лаковой коре голых стволов сосен. У него упало сердце. «Дубина!» — сказал он, садясь в снег. К вечеру он стал истерически хихикать и дурачиться, а на следующий день объявил в лаборатории:

— «Розочки» — это обыкновенные «зайчики».

Все подняли головы, не понимая, стали переглядываться.

— Мы видим лишь отражения какого-то процесса. Вот теперь нужна электронная микроскопия, — заявил Кузьмин. — Вот и узнаем, что такое ваши «включения» и мои «розочки», — сказал он внимательно слушавшей его Коломенской. На слух это звучало резко, не так, как про себя. — Сдается мне — мы узнаем кое-что новое, — добавил он. — Боюсь, «включений» не будет. Зато, может быть, обнаружатся их предшественники. Это было бы!..

— Вы не правы, — мягко сказала Коломенская и оглянулась на Любочку и Федора. — Там ничего не будет. И этот опыт уже погублен. Раз исчезли «включения» — опыт закончен.

— Этого не может быть, — твердо произнес Кузьмин и вспомнил: так же говорил и В. А., а он, Кузьмин, доказал, что так быть может. — Ладно, — примирительно сказал он, — я попробую еще. Для быстроты: пусть Любаша и Федор помогут мне, — попросил он.

Коломенская кивнула.

Через неделю они собрались, сели в ряд за микроскопами и, передавая друг другу стеклышки, просмотрели препараты. Когда Коломенская отложила последнее стеклышко, стало тихо. Федор поднялся, вышел в коридор. Торопливо закурил. Любочка сидела, как мышка, не поднимая головы.

— Вы правы, — признала Коломенская, — делайте то, что считаете нужным, Андрей Васильевич.

— Нужна помощь Москвы, — осторожно сказал Кузьмин. — Без нее нам не разобраться. — И напрягся, ожидая ответа.

— Хорошо, — помедлив, согласилась Коломенская.

Любочка и Федор переглянулись — Коломенская отступила от правила никого не допускать к проверке.

Посылочку со стеклами на почте принять отказались. Нагрубив, Кузьмин вернулся в лабораторию. Еще в дверях он сказал:

— Надо ехать!

— Поедет Федор, — решила Коломенская. — Официально — к Герасименко.

— ...Вот записка для дяди Вани, — наставлял Кузьмин Федора, несколько поглупевшего от страха и ответственности. — Он тебя приветит. По этому телефону позвонишь Н. Ничего ему не объясняй, он сам все поймет, а не поймет — для него же хуже. Если он откажет, звони вот сюда...

Десять дней из Москвы не было никаких вестей, работа стала. Федор появился внезапно. Торжественно-молчаливо он вошел, еще с чемоданом и свертками, сказал: «Все нормально!» — и, не отводя изумленных глаз от Кузьмина, на ощупь, безошибочно вытащил из чемодана большой пакет. На крупноформатных фотоснимках были «розочки», они были пусты, как радужные мыльные пузыри.

— Это колоссально! — завопил Кузьмин. — Это же... черт знает что! Да послушайте! Это же пустота неизвестного, а не вакуум. То, что там — на молекулярном уровне. Это уже серьезно. Теперь можно брать за содержимое «розочек»... Теперь мы...

— Здесь мы не потянем, — вдруг сказал Федор. И все замолчали. — В Москве сказали: это успех. Вас поздравляют. — Федор преданно посмотрел на Кузьмина.

Кузьмин удивился: все запутывалось, а Н. радовался.

— Ну, раз в Москве поздравляют!.. Я Н. верю. Просто он не договаривает, — объяснил Кузьмин молчавшей Коломенской. — Но он никогда ничего зря не скажет. Такой человек, — засмеялся он. — Не надо грустить. Ну, пожалуйста! — Он дотронулся до руки Коломенской. — Это шаг вперед, честное слово!

— Надо отметить, — подсказал Федор. — Дожделись. Именины у нас...

В лаборатории был дан пир, но все боялись сглазить удачу, говорили о пустяках. Вечером к ним заглянула Наташа, смущенный Кузьмин представил ее как свою жену (и все обошлось очень просто и естественно).

Истекал месячный срок в загсе, и Кузьмин пошел дозваниваться в Москву.

— Мама, — сказал он, — я женюсь!

— Господи! — сказала мама испуганно. — Где ты? Вася! — сказала она там, в Москве. — Андрюшка женится! Свадьба в следующее воскресенье... Как неожиданно все это...

— Привези мне черный костюм, — попросил Кузьмин. — И займи мне денег, ладно?

— Почему ты только сейчас сообщаем об

этом? — загремел в трубке голос отца: он говорил по параллельному аппарату.

— Я вас жду, — сказал Кузьмин.

Потом он звонил Галкиным, Тишину и шефу.

Он чинно сидел рядом с женой; когда ее отвлекли, непринужденно общался со своей милостивой тещей, мамой, успевал перемигнуться с Алешкой и избегал смотреть на Любочку. Коломенская молча улыбалась ему с правого, жениховского края стола.

Свадьба была шумная. Доброжелательные незнакомые парни подходили к нему с рюмками, пытались его упоить, разыгрывая, пытались увести его из-за стола, но Кузьмин был начеку. В тот день, взглянув на себя в большое чистое зеркало загса, Кузьмин узнал в себе того, давнишнего, и это надеждою его уверенностью, по крайней мере на ближайшие дни, в том, что путь его предначертан.

Кузьмин изумлялся, глядя, как Наташа разговаривает с его родителями, как легко меняет тон, улыбку и меру внимания. «Ух, ты!» — подумал он, восхищенный.

— Ну, старичок, что-то ты все в десятку попадаешь! — сказал, подсаживаясь к нему, элегантный и ироничный Алешка. — Она одна в этом городишке такая?

— Самый ловкий парень — это я, — засмеялся победоносный Кузьмин. — В этом городе можешь не искать. Поезжай в соседний, а?

На вокзале мама уже по-заговорщицки наставляла Наташу.

— Хоть он и не неряха, держите его в шорах, Наташенька! Господи! — разглядывая Наташу, говорила мама. — Хоть одного балбеса пристроили удачно...

— Да, — согласился отец, улыбаясь Наташе.

Кузьмину показалось даже, что отец выпячивает грудь. Он спрятал ухмылку.

Гости разъехались, и молодые вздохнули, переглянулись и отправились на танцы. В зале на них поглядывали, девицы показывали на Кузьмина пальцем, и от этого младшим Кузьминым делалось празднично. (Последние три дня, чтобы не вызывать лишних пересудов, Наташа жила в общежитии и теперь, держа мужа под руку и демонстрируя всем этим недотепам новенькое обручальное кольцо, брала реванш за прежние косые взгляды и насмешливое осуждение.)

В ту ночь с ней случилось важное для обоих, это оказалось сильнее слов, и утром Кузьмин почувствовал себя по-настоящему женатым человеком.

10

Еще в марте, как-то в воскресенье, он сказал:

— Я бы не мог, как вы... в одиночку... Вопреки всему и против всех...

— Не зарекайтесь, — отозвалась с кухни Коломенская. — Кто может сказать о себе что-нибудь наперед? У каждого свой крест, и тяжести его не знаешь, пока не обронишь, как в притче.

Кузьмин помолчал, слезывая с ложечки чай и смакуя варенье. Из лопнувших ягод вытекал жгучий сок, дразнил небо.

— Что это за ягоды? — заинтересовался Кузьмин. — Очень вкусно!

— Калинка. — Коломенская вошла в комнату с тарелкой блинов.

— «Из ключа в глухом бору воду быструю беру; всех цветов и трав весенних по вершинке положу. Горький лист осенний вялый, кровь земли — калины алой: все смешаю я в воде. «Охрани меня в беде!» попрошу лесное племя.— Стань мне братом хоть на время, подари секрет земной — одари водой живой!» — прочитал Кузьмин Алешкины стишки.— Что-то не получается у меня с живой водой,— сказал он.— А вообще-то нам нужна гипотеза. Конечно! Что за работа без гипотезы? И вообще...

Коломенская внимательно смотрела на него.

— Ужас, сколько еще работы,— озабочился Кузьмин.

...А сейчас она неслышно вошла в комнату и весело сказала:

— Андрей Васильевич! Хватит вам сидеть по ночам. Вот вам помощница.— Она отступила от двери, пропуская в комнату красивую женщину.— А это наш Андрей Васильевич — погубитель моих «включений» и отец живой воды.

Кузьмин, уже хмурящий брови и готовый возразить, поперхнулся, встал — теперь он узнал эту женщину и вспомнил ее фамилию. Церемонно пожал Актрисе руку. Любочка засмеялась, и тогда он еще шаркнул ножкой.

— Милый доктор,— сказала Актриса.— Используйте меня на любых работах. Это все грязное? — Она показала на гору посуды в мойке.— Любочка, где мой халат? Его нет на месте.

— Не так скоро,— остановила ее Коломенская.— Пойдем, расскажешь. Мы тебя почти год не видели!

— У нас уже был твой фильм,— обрадованно выпалила Любочка.— Очень хороший. Я плакала.

— Ах! — Актриса махнула рукой.— Забудем этот дурной сон. Как вы здесь? — Она внимательно, по-женски, оглядела Любочку, Кузьмина.— Работы все прибавляется? Кажется, вы строгий начальник,— сказала она Кузьмину, уходя.— Я пропала! И красивый,— громко добавила в коридоре.

— Штатный сотрудник с отрывом от производства? — бормотнул Кузьмин, снова берясь за гомогенизатор. Рука у него уже отдохнула, и он затряс сосуд с иовой силой.— Совместитель от искусства? В самый раз. У нас здесь все на грани искусства. Иллюзион! Добыча философского камня! Материализация духа... — Он был с утра сердит.

Любочка наклонила голову, повернулась к Кузьмину спиной. Он, задумавшись, механически-ритмично тряс сосуд и не сразу заметил, что Любочка ушла. Еще через минуту до него дошло, что у нее дрожали плечи. Хмурясь, он поднялся, вышел в коридор, поморгал — в окна смотрело огромное теплое солнце, слепило. Из форточки, перебивая запах химии, пахло вздыхающей землей, доносился торопливый перестук капли, цвяканье птиц. Весна. Он приоткрыл окошко — в бок задул еще холодный ветер. Обманка-весна...

Из кабинета Коломенской доносился веселый смех Актрисы — Любочке явно там было не место. Рядом, в своей комнате, что-то писал Федор.

Кузьмин подошел к фотокомнате, постучав, толкнул дверцу. Она была заперта изнутри.

— Люба! — тихо позвал он.— Любаша, открой! — «Драматический шепот», — подумал он. Полный комплект с профессиональной актрисой во главе. Театр теней. Куда они делись, «включения»?

Наконец дверь поддавалась. Любочка стояла, из-за спины освещаемая красным светом, лицо ее было в тени, неразличимо.

— Извини! — сказал Кузьмин, беря ее за руку.— У меня настроение что-то не того...

— Она приехала помочь нам. Узнала, что вы у нас, и приехала.

— Вы ей что-нибудь написали, да? «Ура-ура!»?

Любочка молчала, теребила платочек.

— Ну, ладно! — сказал Кузьмин, собираясь выйти в коридор.— Извини меня, Любаша!

— Вы счастливы? — недоверчивым шепотом спросила Любочка.

Он подумал: и был бы я господином ее, а она рабой моей.

— Конечно,— сказал он.— Не обращай внимания. Настроения приходят и уходят. («А проблемы остаются», — добавил он про себя.)

Но она была еще чем-то взволнована, мяла руки, прикасалась к Кузьмину то головой, то плечом, и Кузьмин уловил тонкий детский запах, идущий от ее волос.

— Любочка, Любочка! — сказал он. Она подняла голову. У нее задрожали губы и налились слезами глазки.— Мы должны делать свое дело и плевать на все остальное! У нас все получится!

— Вы идите, уже поздно,— сказал Кузьмин Актрисе.— Мне немножко осталось.— Он потянулся, подвигал затекшей спиной.

— Давайте я фотографировать буду, — предложила Актриса.— Я умею.

— Все-то вы умеете,— проворчал Кузьмин.— Только самому — всегда лучше. Знаете поговорку: «Хочешь сделать хорошо — сделай сам»?

— Ее придумали неорганизованные люди,— откликнулась Актриса.— Человечество пришло к разделению труда не случайно, не находите? По-моему, ваше дело сейчас — думать. Идите, погуляйте. Где ваша новобрачная? Подите к ней. Она вас ждет. У камелька. Зажжены свечи, ужин на столе... — мечтательно и чуть-чуть насмешливо сказала она.— Выпейте вина, обнимите любимую женщину... Я полагаю, таков нормальный быт хорошего ученого..

— Она сейчас переводит французский,— усмехаясь, сказал Кузьмин.— Ей хочется диплом с отличием.— Он посмотрел в черное окно, представил, какая, должно быть, грязь на дороге и как Наташа будет, оскальзываясь, карабкаться на холм в этой темноте.— Вы и вправду умеете фотографировать?

— Мой муж был фотограф-профессионал. А когда живешь рядом, чему-нибудь да научишься. Он умер.

— От рака? — сочувственно спросил Кузьмин.

— От пьянства! Что вас удивляет? Мой тон? А как еще можно говорить о потерянном времени? — Она села рядом, подперла голову руками. Ее глаза говорили: «Слушай!» — Я боролась за него и не жила. Теперь живу. Вы думаете, наверно, что я должна была делать это, да? И как вы правы, могли бы вы себе представить! Меня он открыл. Знаете, так, случайно. Остановил на улице и сказал: «Девочка, что у тебя с лицом?» Когда я увидела свои портреты... Сбил меня.— Актриса улыбнулась.— Сейчас будет про любовь: он мог смотреть на меня часами, с одной стороны, с другой... Я гипнотизировала его. Был этим сыт и пьян. И убедил — я ведь рано начала сниматься. И много.— Кузьмин кивнул, он помнил: Алешка таскал его по кинотеатрам, выходил взвинченный, чуть не бросался на него от неосторожного слова... — А он не мог смотреть на меня в фильмах, говорил: «Это не ты. Они ничего не понимают, не видят. Твой лучший фильм будет на стоп-кадрах. Ведь ты не красива в движении, ты идеальна в выражении». Представьте: нашел фанатика — мальчик такой, дипломник-оператор,— уговорил студию. А сам — за режиссера. До просмотра дело не дошло: собрали друзей, показать. Когда свет включили, старинный

ого друг, знаменитость, сказал: «Ну что ж! Мечта есть, музыка есть, кино нет». И все!

— Жестоко, — откликнулся Кузьмин.

— Так ведь они профессионалы. Ну, он и сломался. Поставил дома проектор и каждый день крутил ролики, под коньячок. Так что, когда он умер, мой гипноз тоже кончился. И оказалось, что сниматься и играть мне совсем не хочется. А хочется быть доктором. И победить эту ужасную болезнь. Вам смешно?

— Извините, — сказал Кузьмин. — А я не доктор, я — научный сотрудник. Лабораторная крыса. Я думал — слава, известность дали вам удовлетворения. А почему вы здесь, а не в Москве?

— Там хватает и дипломированных помощников. Меня и не подпустят к лаборатории, дилетантку... С другой стороны, мыть посуду мне все-таки мало. А здесь я вроде при деле. Иной раз — в ваше отсутствие! — голос подам. — Актриса улыбнулась. — Здравый смысл дилетанта нигде не повредит. Андрей Васильевич!.. Что произошло с «включениями»?

— Еще не понятно. Ясно только, что они не ключ к разгадке. И потом — ее опыты плохо воспроизводятся. Она огорчается, но, надеюсь, зря..

— Это точно? — строго спросила Актриса.

Кузьмин пожал плечами.

— Работаем вслепую! — разозлился он. — Нужны широкие исследования, публикации. Надо выяснить, на каком уровне мы работаем: клеточном, молекулярном, субмолекулярном?.. Здесь это невероятно. Я верю в возможность чуда — случайного открытия, верю! Но надо доказывать! Меня учили: не спорь, доказывай! Без жалости к себе — доказывай!

— Вы счастливый, доктор милый! — Актриса встала, отошла к лабораторному столу. — Тратьте себя только на дело. И идите теперь — дороги скользкие. Если фотографии вам не понравятся, объявите мне завтра выговор. До завтра, — попрощалась она. — Любви вам!

Кузьмин вышел на улицу.

Вокруг что-то происходило: где-то булькал ручеек, выбегающий из-под сугроба, и хрустнул, обваливаясь, его подточенный угол, терлись друг о друга ветки над головой — мир жил своею жизнью.

Смутно, полосой молочного тумана обозначился забор, посверкивала игольчатыми лучиками голубая звездочка, и пахло, пахло!.. Кузьмин зажмурился.

Когда глаза привыкли, Кузьмин увидел глубокую черноту тропинки от корпуса к забору и удивился, что в общей темноте окружающего были оттенки. Алешка писал: «Солнце село. Все исчезло. Свет зажгу — и вижу снова. Мир, который существует, если есть свет, шорох, слово? Где же есть его граница? На моих губах и коже? На глазах, на пальцах, в сердце?.. И на что она похожа?»

Кто-то далеко в одиночку шлепал по лужам; шел медленно, в раздумье останавливаясь перед препятствиями. Кузьмин двинулся к забору, пролез в его дыру и увидел Наташу: в своем коротком весеннем пальто, высоко поднимая ноги и чуть балансируя, она шла ему навстречу. Вокруг мерцала жидкая грязь.

— Натка! — негромко окликнул ее Кузьмин. — Не ходи дальше, здесь прямо трясина. — А сам прыгнул через лужу и еще одну, а в третьем прыжке достиг Наташу. — Привет! — сказал он. — Как ты, Наточка? Все в порядке?

— А что может случиться с обеда до ужина? — улыбаясь, спросила его Наташа. От ее щек вкусно пахло чем-то свежим, как яблоком с мороза.

И так — каждый будний день. Расставаясь утром на конечной остановке автобуса, он встречал Наташу в ее обеденный перерыв в столовой. Обедали по-семейному, и к ним никогда не подсаживались.

Она сама уносила грязную посуду и выпроваживала Кузьмина на улицу, там устраивала, как ребенка, на солнышке и молча, лишь кивком, улыбкой поощряя, слушала его излияния. И только изредка, освободившись пораньше, он прибегал астречать ее к техникуму. Она выходила, брала его за руку, гордо кивала девочкам, и они шли во флигелечек.

Однажды она вынесла с собой маленький лоскутик синего с розовыми пятнышками ситца.

— Как назвать, Андрюш? — блестя глазами, спросила она.

— «Надеждой», — подумав, сказал Кузьмин, а потом вдруг поправился: — Нет, лучше «Март».

Эта поправка была не случайной. После командировки Федора в хоре ликующих голосов вдруг исчез голос Кузьмина. Уже тогда, не прерывая Колмоенской и Любочке изучать свои «розочки», сам он стал повторять опыты Колмоенской, вернувшись назад, к исходной точке, и как-то особенно свободно экспериментирова. Все материалы он отсылал в Москву. Его постоянным курьером была Наташина родственница, работавшая вагонной проводницей. (Неизвестно, что думала она сначала, каждый раз принимая из рук вечно опаздывающего к отходу поезда Кузьмина аккуратный пакетик и взамен получая в Москве от невысокого, с сухим умным лицом Н. пачки хрустящих фотографий.)

— Что вожу, скажи хоть! — взмолилась она, с ужасом разглядывая запыхавшегося Кузьмина.

Растрепанный, в облезлой шапке Кузьмин страшно осклабил, бесовски сверкнул глазами:

— Все золото мира! — И засмеялся, глядя на ее лицо. — Все наши надежды, тетюшка! Не бойсь!

А зима кончилась, и хотелось петь и орать, таскать Наташку на руках, построить просторный дом и купить ей приличные высокие сапоги.

Во флигелечке стало уютно — то ли от красивых занавесочек на промывом окне, то ли от перестановки, а может быть, от ярких Наташиных вещей или портьеры, закрывшей дальний угол с кроватью.

Наташа купила таганец с газовыми баллонами, сделала из корней подсвечники, и теперь к ним по воскресеньям стали заходить гости на чай с пирожками или на блины.

Еще не прошел месяц со дня свадьбы, как к ним из деревни приехала теща. Она прожила у них неделю, торгуя под гряздики на рынке телятиной.

— Чтой-то ты мужика постом держишь? — на третий день гостевания сказала теща. — Хоть бы выпить ему разок поставила. — Теща озорно подмигивала Кузьмину. — Гляди, он у тебя зеленый стал. Мяска ему поболе давай! А то орехи греческие, молоко да творог... Что он у тебя — дитя или слабогрудый, а, зятек? И чтой-то вы, как на собрании, разговариваете? Я, бывало...

— По-разному бывало, мама, — говорила Наташа. — Я на отца пьяного нагляделась, хватит!

— А что отец? — возмущалась теща. — Пока был здоровый, огонь-мужик был! Кабы не покалечился да не запил, какая жизнь была бы! И, прости господи, насажали бы мы с ним ребятушек!.. А не тебя одну, телку бездушную! Ну, какая ты есть жена!..

— Перестань, мама!

— Вот ты жизнь по плану строишь, выгоду ищешь, — говорила теща, присаживаясь на стул. — По показателям, как учетчик, вычисляешь. А жизнь-то, ребятушки, одна и, ой, какая короткая! Прожить ее надобно, как песню спеть. А вы? Молодые!.. Ты, Андрей-свет, под Наташку не подлаживайся! Не давай ей большой воли. Сухостойная она, прости господи!.. Ну ладно! Запалай свои свечки, зятек, садись

родной, к столу! Теща приехала бо-о-гата! Зятя угостить будет! Зятя угостить мне она не запретит, — говорила теща, роясь в чемодане. — А попробует хоть слово поперек сказать, так я ее за косу!.. Спасибо тебе! — говорила теща. — Моей девкой не побрезговал, да и меня освободил. Теперь и я найду себе какого ни есть мужичка-хозяина...

— Мама, перестань! — вмешивалась в интересный разговор Наташа.

Теща быстро хмелела, размякала. Сидела, смотрела на молодых, блаженно улыбалась. Обняв жарко Кузьмина и Наташу, пронзительным голосом запевала. Наташа довольно безразлично подтягивала. В трогательных местах («...и в той степи-и глухой...») теща поворачивалась лицом к Кузьмину и, любовно качая головой, вопросительно-зазывно поглядывала на него.

Кузьмин будто играл с ней в одну игру: пел ее песни, хохотал и топал ногами от восторга над частушками, замороженно слушал ее болтовню. Хмель его почти не брал, хотя, случалось, теща изрядно угощала его. Он только никак не мог понять, почему Наташа не веселится вместе с ними — ведь она так была похожа на свою мать ухваткой, статью и неизбывной уверенностью в счастливом будущем.

Потом, когда теща уходила спать к хозяйке, он валился на кровать, закатывался на самый ее край, к стенке, и там задремывал, чутко сторожа шорохи.

Ложилась Наташа; некоторое время они отстранялись друг от друга, но потом нечаянное столкновение создавало некое магнитное поле. Еще совсем недавно лед и пламень — сейчас они любили друг друга одинаково властно, без лепета восторга, и были этим навек сроднены.

II

В конце мая пришла телеграмма Герасименко — он отзывал Кузьмина в Москву.

Слишком многое произошло с ним за эти месяцы, и, вернувшись в Москву, еще на вокзале он испытал возбуждающую радость обретения позабытого. Московский весенний воздух, веселая толкотня, звонкий спор воробьев, знакомые интонации, знакомые улицы...

В комнате было полно пыли, и она чем-то показалась Кузьмину незнакомой. Он оглядывался, представляя, как по ней будет ходить Наташа... Он занял у соседки пылесос и потом долго ползал с тряпкой по полу, расспрашивая дядю Ваню о новостях. (У дяди Вани, взбравшегося на антресоль, на коленях лежала потрепанная тетрадка, куда он все это время записывал телефонные звонки Кузьмину, и, исполненный важности, он все оттягивал сладкую минуту приобщения к серьезным, государственным, как он понимал, делам Кузьмина.) К вечеру, отведя душу в болтовне с Галкиными и родителями и не дозвонившись до Н., Кузьмин созрел для разговора с Герасименко.

— ...Вам необходимо в течение недели представить отчет о проделанной работе, — сказал сухова-то Герасименко. — Нам грозят неприятности с вашей темой.

— Дагадываюсь, — усмехнулся Кузьмин. — А отчет готов, — пряча улыбку, как будто Герасименко мог ее увидеть, сказал он. Герасименковское «вы» было достаточно многозначительно.

— У нас тут новые формы отчетности, — намекнул Герасименко. — Познакомьтесь с ними.

— Завтра же я буду в лаборатории, — улыбнулся Кузьмин, и его улыбка была уловлена Герасименко.

— У меня к вам просьба, — сказал он. И, поколебавшись, осторожно складывая слова, попросил: — Не показывайте отчет до меня никому.

— Хорошо, — посерьезнев, пообещал Кузьмин.

Было уже поздно; он поднялся на антресоль, лег, не раздеваясь, на кровать, задремал. Привыкнув уже ощущать все время рядом Наташу, сейчас он томился, затосковал; ему представилось, что сейчас она, растопив печь, сидит за столом и при свете двух керосиновых ламп зубрит физику.

Он стал мысленно вызывать ее. Но, должно быть, между ними лежало слишком много сырой тяжелой земли, и Наташа, как она это умела, не слышала сейчас ни ее дрожания, ни зовущего его голоса.

Он решил подождать — скоро она ляжет спать, поищет его плечо, чтобы уткнуться в него лбом, и тогда она откликнется, и натянется звонкая струна.

Когда раздался тот чужой, длинный и настойчивый звонок во входную дверь, он вздрогнул, сел на кровати.

По коридору легко, по-солдатски размашисто прошел дядя Ваня, заговорил с кем-то негромко. Тревога подступила к Кузьмину.

— Открыто! — крикнул он на стук и стал спускаться с антресоли.

— Извини, что поздно, — сказал Н., осторожно входя в комнату. Он исподлобья, как-то пристально рассматривал Кузьмина.

— Да, поздновато, молодой человек, — прогудел неодобрительно дядя Ваня, делая Кузьмину за спиной Н. возмущенные знаки. — Вот, Андрюша уже спать прилег...

— Привет! — нараспев, обрадованно сказал Кузьмин. — Да проходи ты, не стой в дверях! Дядь Вань, поставь чайничек, пожалуйста, ладно? А выпить у тебя ничего нет, а, дядь Вань?

— Поздно уж, чтобы вино пить, — сказал дядя Ваня. — Чайком обойдетесь, чтобы не рассиживались... Он, бурча, пошел на кухню.

— Да проходи же! — Кузьмин сунулся к Н. с протянутой рукой, радостно помял ее, твердую. — Раздевайся! Он добрый, только так, воспитывает...

Топчась поближе к вешалке, Н. снял свое толстое ворсистое пальто с волосатым воротником, аккуратно сложил шарф и вдруг снял ботинки.

— Зря ты это, — смутился Кузьмин. — У меня полы все трепят. — Ну, садись! Откуда узнал, что я приехал?

Н. вошел в круг света под люстрой, и Кузьмин разглядел у него на лице маленькие, аккуратные усики, делающие Н. значительным, даже каким-то скрытно-строгим.

— А ты изменился, — сказал Кузьмин. — Стал — не подступись!

Н. бледно улыбался, оглядываясь.

— Ты один? — с облегчением спросил он.

— Наташка там осталась, учится. Садись, в ногах правды нет. Что случилось-то? Ты какой-то не такой! — Вот что случилось! — сказал Н., доставая из кармана пачку фотографий.

— Ух, ты! — сказал Кузьмин. — Такая наглядность впервые, да? Когда, давно? Доказали! — хмыкнул он. — Здорово!

— Я уже месяц это наблюдаю, — сказал Н. сдержанно. — Вы что, поменяли методику?

— Это моя серия, экспериментальная, — сказал Кузьмин, поглядев на номер. Он представил себе лицо Коломенской и испугался. Н. посмотрел на его лицо и засмеялся:

— Ты гигант, Андрей! Молодчина! Так разнести всю ее вакцину в клочья! Не-ет, это просто шедевр! Новая живая вода? Конеч «включениям»!

— Послушай! — озабочился Кузьмин и вскопился, оббежал вокруг стола. — Это ужасно! Это ее убьет. Вот так штука! — Он опять просмотрел фотографии. — Знаешь, я нащупал это недавно. Маялся, маялся, и вдруг меня будто подтолкнуло! Кошмар!.. — Он схватился за голову.

— Отличная работа! — весело сказал Н. — Спасибо тебе от имени... ну, науки! Беру на себя полномочные представительства. — («Уполномоченный!» — хотел связать расстроенный Кузьмин, но не до того было: завертелись идейки). — Слушай, из-за чего я к тебе пришел: надо, чтобы ты переходил в наш институт. Дадим бой по всем правилам. Ты ее методу знаешь... С Герасименко я живо договорюсь. Ну, мы ее!..

— Обалдел? — изумился Кузьмин. — Что ты ле-пишь?

— Покажем всем, что нет таких вакцин. И быть не может! Ты доказал. Гигант, товарищ Кузьмин! Эх, Андрей! Какую мы работу сделаем!.. Бога за бороду возьмем!

— Взяли старика за бороду, да обожглись, — огрызнулся Кузьмин. — Меня честно допустили до проверки — тыфу! — до работы, а я, значит?.. Без согласия Коломенской я на публикацию не пойду! — твердо сказал он.

— Ты смешной! — Н. подошел к Кузьмину. — Какой автор согласится? Ты бы согласился, если бы взялись за твою живую воду?

— Честный — согласится! — Кузьмин встал во весь рост. — И, слушай, без моего разрешения эти фотки никому не показывай, понял?

— Почему?

— Потому что бывают ошибки, заблуждения. Я мог ошибиться, — отводя глаза, сказал он. — Мало ли что? Нельзя перечеркивать вот так чужую работу. Я не ревизор. Я не прокурор. И тем более не палач. Мечта это ее, понимаешь?

— Хорошо, — терпеливо сказал Н. Он взял одну из фотографий, полюбовался на картинку. — Переходи ко мне в сектор. Проверим. — Он улыбнулся. — Тебя. Раз ты так хочешь. С удовольствием проверю!

— Нет. — Кузьмин махнул рукой. — Ты сядь, остынь. Понимаешь, с тобой и у тебя это не выйдет — ты не будешь ждать, будешь торопить... И вообще, какое тебе дело до ее вакцины? Я возьму это туда, поговорю, повторю опыты... Может быть, я что-нибудь пропустил!

Н. посмотрел на него и усмехнулся.

— А ведь ты ничего не знаешь, — сказал он печально. — И там тебе ничего не рассказали? Конечно. Так вот: есть желающие перенести опыты в клинику. Понял? И найдутся жертвы...

Кузьмин передернул плечами.

— Это надо срочно публиковать, — тихо добавил Н. — Хватит сказок про «включения» и волшебные вакцины. Про чудо. Хватит! Есть только научный путь, Андрей, ты знаешь! Видишь, что получилось, едва ты потрогал легенду?

— А что, собственно, получилось? — взвился Кузьмин. — Ты, наверно, воображаешь, что все ясно? А мне не ясно! — он покосился на фотографии, рассыпанные на столе.

— Это — ясно! — убежденно сказал Н. — Ты — ребенок! Для тебя сантименты выше долга. А твой долг — заявить об этом. — Н. собрал фотографии в кучу. — Ну, ладно. Ты не хочешь...

— Не могу. Я не уверен.

— А я могу. Я обязан.

— Только попробуй! — предупредил Кузьмин. — Костей не соберешь! Ты же не сможешь воспроизвести мои фокусы. И окажешься очернителем, клеветником.

— Во имя личной порядочности — и есть такая, а? — хочешь заблокировать меня? — спросил Н. — Хорошо. Я прошу только об одном: покажи эти фотки Коломенской.

— Нет! — сказал Кузьмин. — Забирай их с собой. Я их не видел!

— Я пошлю их ей, — решившись, заявил Н. Он поблел.

— Подонок! — Кузьмин сжал кулаки. — Ты в какое меня положение ставишь, подумал?

— А тех, кто может обратиться за вакциной, услышав про ее разудивительные свойства? Что важнее?

Кузьмин сел за стол, положил руки ладонями вверх. Линия жизни у него была длинной и единой, и ничто не пересекало ее.

— Андрей! — вдруг шепотом сказал Н. — Я сейчас тебе скажу: ты очень, очень талантливый человек. Поверь своим рукам! Переходи ко мне! — попросил он. — Скажи мне по-человечески: почему ты не хочешь? Я даю тебе шанс быстро и легко стать независимым и известным, знаменитым Кузьминым. Пойми, рак... Ведь помогаем еще не всем! Между прочим, — опять новым тоном сказал Н. — можно сделать так, что тебя заставят перейти ко мне.

Кузьмин засмеялся, покачал головой:

— Это невозможно. Даже если меня уволит Герасименко — к тебе я не пойду. Останусь у Коломенской, а? — Он хитро прищурился.

— И этот вариант я учел, — грустно сказал Н. Он с жалостью смотрел на Кузьмина. — Останешься там навсегда — будешь ходить по кругу, как заговоренный. Это гипноз абсурда. Заразился?

Кузьмин вспомнил, как Актриса рассказывала про своего мужа, на мгновение задумался, смутился.

— ...Есть вещи, которые надо принимать таковыми, как они есть, — говорил Н. — Это тупики. От незнания, непознаваемости на данном этапе. А я хочу, чтобы ты не потратился на пустяковые теоретикки, на объяснения мыльных пузырей и тумана, чтобы сделал то, что можешь сделать. Пойми, ты нужен. Хорошо, — помолчав, сказал Н. Он покраснел, вытер руки платком. — Я скажу. Ты талантливее меня. Помог!

Кузьмин откинулся на спинку стула и стал рассматривать свои домашние тапочки. Потом он сказал:

— Главное, что я хочу сделать, — это выяснить возможности биостимуляторов. Может быть, за ними все будущее, за живой водой.

Н. отрицательно покачал головой, устало вздохнул. Потом расстегнул тесноватый пиджак (кожаный, отметил Кузьмин, Наташа говорила — модно), собрал фотографии в аккуратную пачку, словно собираясь спрятать их на сердце, и вдруг, широко махнув рукой, пустил их по комнате. Они разлетелись. Какие-то упали за шкаф, одна залетела за антресоли, другие рассыпались на полу.

Кузьмин присвистнул.

— Беспорядок делаешь, — скрипуче сказал он. — Ну, да убраться недолго, вот только выметешься за порог...

В комнату вошел дядя Ваня, держа фыркающий чайник на отлете; оглядев их, он поставил чайник на пол, присел на диван. На длинном лице его было внимание.

— Поругались? — спросил он, глядя худые колени. — Так всегда: кто ночью ломится, всегда с бедой!

— Дядь Вань,— сказал Кузьмин, с прищуром поглядев на молчащего и не собирающегося уходить Н.— Давай его отлупим!

Дядя Ваня посидел-посидел и вдруг громко и весело расхохотался.

— Большие люди! Ученые! Ох!.. Об чем спор хоть?

— Он хочет правду скрыть,— сказал Н.

— Не слушай его, дядь Вань.— Кузьмин сел рядом с ним, обнял.— Моими руками хочет с врагом посчитаться. Гад.— Он знал, что победил, теперь надо было мириться.

— Ну? — насупился дядя Ваня.— Говори, гостюшка!

— Обещают смертельно больным дать жизнь. А дать не могут.

— Надежду, что ль, дают? Облегчение?

— Какое же облегчение может дать вранье? Кого обманет оно?

— Это как сказать... Бывают, знаешь, заговаривают. Слышал? Ты, Андрюш, чего хочешь? Чтоб верили, что ли?

— Не понять тебе этого, дядь Вань,— смягчая слова улыбкой, отозвался Кузьмин.— У каждого своя вера. И отнимать ее — грех, верно?

— Ну и в свою веру тянуть не годится. Тем более — жизнью манить.

— Речь идет о фактах, мнимых и действительных. Скрывать факт — это, знаешь... — сказал Н.

— Все, поговорили,— оборвал его Кузьмин.— Подбери, что разобрал, и — скатертью дорожка!

— Оставь себе на память,— сказал Н.— Между прочим, не волнуйся! С тобою все будет хорошо. Отчет утвердят. Там все и так убедительно, без фоток. Эх, тебя судьба бережет!..

— С чего ты взял, что я волнуюсь за отчет? — начиная злиться, спросил Кузьмин.— Это что же, все уже предпрешено? — И, не выдерживая улыбки Н., сказал: — А теперь вали отсюда!

Н. надел ботинки, взял в руки свое толстое пальто и, уверенно справившись с замком на двери, ушел.

— ...Вы уверены, что к вам не прицепятся? — спросил Герасименко назавтра, изучив коротенький отчет.

— Уверен,— сказал невыспавшийся и хмурый Кузьмин.— А в чем дело? Чистая работа. На уровне.

— Кое от чего из тематики я отбоярился,— неторопливо сказал Герасименко. Он все приглядывался к явно изменившемуся Кузьмину, зацепился взглядом за обручальное кольцо (на миг его лицо расслабло, губы смягчились, разъехались в улыбке, но потом он собрался опять в свои новые рамки).— При благоприятном исходе дела я, пожалуй, войду с этими данными в Академию и буду просить создать группу для изучения вот этих дел.— Он показал на отчет.— И выполняю, таким образом, свое обещание...

— Фактически такая лаборатория есть — у Коломенской,— подбираясь, сказал Кузьмин.

— И еще есть в институтах морфологии и рака, да вы знаете. Н. ведь ваш приятель?

— Я говорю не о формальной стороне дела,— сказал Кузьмин.— А с Н. я покончил. Сволочь он оказался. Карьерист.

И Герасименко от неожиданности сморгнул. Потом он спросил:

— Как я понял, с вашим приходом Коломенская продвинулась вперед, да?

— В экспериментальной части,— уточнил Кузьмин и откинулся на спинку кресла. (А кабинет был уже

другой, и другая, мягкая мебель стояла в нем, и на полу лежал новый палас, да и сам Герасименко в достойном костюме, спокойно, надолго усевшийся в кресло, разговаривающий веско и без горячности, как то округлился, потяжелел. Его смуглое лицо с седыми висками грубо контрастировало со спокойными белыми руками, будто от другого человека.) — Но кое-что смущает...

— У нас ведь совсем другая фирма, академическая,— сказал Герасименко вкрадчиво.— Мы моей дорогой учительнице не помеха и конкуренты...

— Нет,— сказал Кузьмин.— Я не хочу. Помогать — буду.

Герасименко поднял брови и укоризненно и даже как-то начальственно посмотрел на Кузьмина.

— Это же бессовестно! — напомнил ему Кузьмин.

— Ай-я-яй! — сказал Герасименко.— В науке такого критерия нет. Что делать-то будешь? — спросил он прежним тоном.

— Я подумаю,— сказал Кузьмин.— Мне нельзя на время туда вернуться? На пару месяцев?

— Нельзя,— что-то взвесив, после паузы сказал Герасименко.— Командировка закончилась.

Он проводил взглядом Кузьмина. Когда тот тихо закрыл за собой дверь, положил его отчет в красную папку с тиснением «Академия». Он побыл еще некоторое время на работе, дожидаясь, пока разъедутся на машинах сотрудники, а потом электричкой поехал домой. Всю дорогу он стоял, и об его дорогой серый плащ терлась грязным ватником старуха. У него было много сложных проблем, но вот сейчас решалась одна из них, и он прикидывал варианты защиты и нападения.

Дома, до отвала наевшись и распустив на себе все узлы, он полистал газеты, посмотрел телевизор, бесстрастно регистрируя перипетии футбольного матча, и уже совсем поздно позвонил Н.

— Я разговаривал,— сказал он.

На том конце линии промолчали.

Герасименко слышал, как Н. попыхивает сигаретой, представил себе его, маленького, уютно свернувшегося в удобном кресле, обмысливающего какой-нибудь новый коварный ход против Кузьмина.

— Он не хочет,— сказал Герасименко.— Наверно, не видит перспективы. Или ты его смутил.

— Что он собирается делать?

— Думать,— усмешливо сказал Герасименко.— Типичный лабораторный гений.

— Можешь заставить его дать публикацию?

— Нет! — откrestился Герасименко.— Устроит скандал.

— Пришли мне копию его материалов. И не пускай бы ты его больше к Коломенской!.. — сказал Н., влиятельный член академической комиссии, курирующей лабораторию Герасименко.— Может, очнется?

— Надеешься? — как бы удивился Герасименко, подавляя злорадную улыбку, и вежливо, мягко положил трубку на рычажки аппарата. Он сел на диване, в угол, и, почесывая висок, стал рассуждать. Время от времени его разбирала злость: если действия Н. подчинялись законам своекорыстия и дальновидного планирования, то Кузьмин в своих поступках был непрогнозируем!

Отчет Кузьмина утверждали на комиссии. На этом настоял Н. Хоть так он хотел закрепить факт.

Председателем комиссии был шеф, а среди ее членов Кузьмин заметил Тишина и Н. В зал Кузьмина пригласили только на минутку — по-видимому, кто-то из членов комиссии поллюбопытствовал, что это за тип. Шеф вышел к нему навстречу из-

за стола, поблагодарил за работу от имени членов комиссии, сказал, что все недоразумения исчерпаны, спросил, где Кузьмин собирается опубликовать материалы. С понимающей улыбкой в глазах он выслушал вежливо-уклончивый ответ, покивал Кузьмину и отпустил. Кузьмин оценил тонкую усмешку, тронувшую губы Герасименко, и молчание Н.

Он пошел по Солянке к Язуе, постоял полчаса на ветру и уже продрог, когда заметил машину шефа, медленно ползущую вдоль тротуара. Тишин пристально вглядывался в прохожих.

— А мы боялись тебя в коридоре встретить, — сказал он, тиская Кузьмину руку.

Кузьмин заметил седину в его голове.

— Я ж давнишний конспиратор, — сказал Кузьмин. — Я вам репутацию не испорчу.

— Зато себе в таких передрягах вы ее можете подмочить, — сказал шеф, энергично крутя руль. — Ну, что, молодые люди, скинемся на троих?

Он увез их в какие-то переулки. В шашлычной было сумрачно — на улице пошел дождь, — но тихо и уютно.

Тишин разлил вино, разложил по тарелкам бутерброды.

— Боря, — сказал шеф. — Выпьем за Кузьмина, анархиста и тихоню. От всего сердца пожелаем ему удачи и впредь! — Шеф, пристально глядя на Кузьмина, поклонился ему и поднял бокал.

Кисленькое вино не пьянило, утоляло жажду.

— Между прочим! — сказал шеф. — Что это Н. на вас взъелся, понимаете? Да! Поздравляю, вас перепечатали в «Сайенс» — из «Вестника Академии».

— Ту, первую статью? — изумился Кузьмин. — Лестно!

— Дозрели американцы, — сказал Тишин. — Теперь, Андрей, держись!

— Дельный совет, — согласился шеф. — Будьте осторожны со своими идеями. Или скажите наконец громко и ясно: про вашу живую воду, про то, что вы натворили у Коломенской. Что вы отделяетесь таблицами? Думаете, я скажу? Нет, дорогой мой, я человек порядочный. Лет через десять — пятнадцать все дозреют до понимания вашего пути, и, если вы не будете шляпой, станете великим и единственным, гражданином мира, понимаете? — Шеф сердился. — Ну, что там в самом деле у Коломенской? Такой отчет написал, ловкач...

Врать шефу было бы свинством. Кузьмин поерзал и выдавил:

— На стимуляторах «включения» исчезли. Исследуем...

— И, конечно, все на пальцах?

— Почти все, — сказал Кузьмин. — Нет аппаратуры, штатов. Оценка результатов больше на эмоциях. Она не хочет проверки здесь.

— Чуть какая-то... — вздохнул Тишин. — Боятся?

— Зло всегда персонифицировано, поэтому зримо; можно и нужно ткнуть пальцем в некоторых субчиков, но главное зло всегда — мы сами, — сказал шеф. Он оглядел Тишину и Кузьмина злыми глазами. — Почему он молчит? — Шеф ткнул пальцем в Кузьмина. — Почему? Стесняется, робеет? Почему мы с тобой молчим? Не принято рекламировать работу товарища? Сам он не хочет, понятно?

— Ничего еще не ясно, — сказал Кузьмин. — Мы ж ничего толком пока еще не доказали. Пробирочная сенсация! А вдруг я ошибся? Ну, вдруг?

— Вот видишь, Боря? Один автор жметесь, другая вообще молчит. А между тем, ходят слухи. Это вредно. Делу.

— Вы что, думаете, уже все ясно? Перед самым отъездом такая ловушка приоткрылась!.. — признался Кузьмин, немного раздраженный словами шефа.

— И охота тебе браться за глобальные темы! — сказал Тишин со вздохом. — Ты глупый, Кузьмин.

— Он же анархист и постник, — сказал добро очень шеф. — Я ж сразу понял, что его объезжать бессмысленно. У вас с Коломенской один выход, Андрюша, — разобраться во всем до конца. Я абсолютно верю в вашу объективность. Лично вашу.

Шеф задумался, подняв брови. Они смотрели на него, мудрого, любимого, и ждали. Он вздохнул чему-то своему и вернулся к ним.

— За вас! — сказал Кузьмин, разливая остатки вина.

— Подвезу? — предложил шеф. — Совершенно бесплатно и в лучшем виде. В обмен на живую воду. Настоящую. — Он совсем невесело посмотрел на Кузьмина. («И ты?» — испугался Кузьмин.)

Ночью до него дозвонилась Наташа.

— Как твои дела? — спросила она.

— Нормально. Ужасно скучаю без тебя! — кричал Кузьмин. — Меня больше не отпускают. Я беру отпуск и приезжаю. Как ты, Наташ?

— Хорошо, — сказала Наташа тихо. — Тебе велено переехать: привези новые стимуляторы. Приезжай скорее, — как будто смутившись, сказала она.

Через неделю он вернулся в городок. Во флигелечке его ждали накрытый на два прибора стол с ведром, из которого торчало горлышко бутылки шампанского, и записка: «Андрюшенька! Сразу же иди за мной на работу. Целую!»

Они прошептались — с тихими смешками, приглушенными счастливыми всхлипами до утра, такое повторится только еще раз. Утром, ахнув, Кузьмин вспомнил — он бросился к чемодану, на дне его нащупал замшевый мешочек и, вернувшись бегом на кровать, высыпал в ямку, продавленную их головами в подушке, горсть перстней, золотые побрякушки.

Наташа, облокотившись на подушку, сначала недоверчиво рассматривала их, потом, взглядом испросив разрешения, стала примерять перстни, один за другим, полюбовалась удивительной формы дымчатым аметистом.

— Вот этот, — сказал Кузьмин, надевая ей на палец темный таинственный александрит, — за темную холодную ночь с белыми звездами, за тебя.

Наташа, все понимая, кивнула, благодарно приклонив к нему голову.

— Вот эти, — он положил в ямки над ключицами по серьге, — за твои глаза. А все остальное, — он осыпал ее, полунагую, — за всю тебя! Люблю тебя, — сказал он.

И она любила его. И невозможно было понять их восторженный лепет.

— Это Крестнины? — спросила Наташа днем, осторожно украшаясь серьгами, — они шли на обед к Коломенской. — А моя свекровь не обидится?

— Нет, — сказал Кузьмин. — Крестна завещала их тебе — ну, моей жене. Это от ее первого мужа — символ любви.

Он работал в лаборатории, много гулял, нашел букинистический магазин с сокровищами и все мучился, мучился, не зная, на что решиться. Наташа молчала.

А Коломенскую вызвали к директору; там она узнала ошеломляющую новость, но справилась с собой и заручилась у него обещанием — она просила ставку для Кузьмина. Вечером у нее поднялось кровавое давление, и она приболела.

В тот же день Федор, заманив Кузьмина в вива-

рий, шепотом признался, что получил приглашение из Москвы, от Н. Федор волновался, хватался руками за клетки, и, много раз потом в памяти возвращаясь к этому разговору, Кузьмин обязательно вспоминал вонь и шуршание пугающихся мышей.

— У них лимит есть, Андрей Васильевич! — шептал Федор. — Да с вами!.. Вы ж знаете, я никакой работы не гнушаюсь!

— Это инициатива Н., его? — начиная кое-что понимать, спросил Кузьмин.

Федор, сильно покраснев, кивнул.

— Она знает?

Федор пожал плечами.

— Сволочь ты! — сказал Кузьмин.

Федор быстро взглянул на него.

— Вот. — Он показал Кузьмину краешек знакомой фотографии. — Я больше не верю. Раньше я сомневался, а теперь... не верю!

— А мне веришь?

— Верю. А если все-таки вы правы, — то есть, вот, на фото? А вы сомневаетесь, да?

Кузьмин цокнул языком. Потом вытащил из рук Федора снимок и порвал его.

— Послушай, — сказал он. — У Актрисы был муж, фотограф. Он в ее лице видел что-то свое, одному ему ведомое. Может быть, Коломенская тоже видит то, что не видим мы?

— А факты? — Федор подобрал все клочки и ушел.

«Подонки...» — шипел Кузьмин, мотаясь по флигелечку. — Ну и кашу я заварил! Расклебаю! Полезу вглубь. До доньшка».

Два дня он просидел над программой, координируя будущие свои и здешние опыты. Он написал ее умело, убедительно.

— ...Вот как? — сказала Коломенская. — Прекрасно! Но весь эксперимент вы оставляете нам, почему, Андрей Васильевич?

— Я займусь фармакологией. — Кузьмин сидел подле ее кровати подтянутый и уже наполовину нездоровый.

— Вы знаете, Федор уходит.

— Я не предаю друзей, — сказал Кузьмин. — Я во всем виноват, я и завершу эту историю.

Актриса внимательно смотрела на него; когда он замолчал, она кивнула.

Озабоченных и растревоженных каждого чем-то своим Кузьминых шумно проводили — девочки плакали и даже бежали за вагоном. От лаборатории была только Любечка. В ненастоящей ее улыбке — увидел Кузьмин — была какая-то растерянность. Семенины опять смутили его.

В купе он внимательно посмотрел на свою деловитую жену и понял: она распрощалась с городком навсегда.

В Москве летом сделали ремонт и подкупили мебель (Кузьмин впервые тронул Крестнины деньги); зажили размеренной добропорядочной жизнью, Наташа быстро освоилась на московских улицах, в квартире. Дядя Ваня сказал как-то: «Ну, Андрюша, хозяйка у тебя редкостная. Береги!»

Осенью Герасименко дал Кузьмину группу, провёл его на должность старшего научного сотрудника (и тем, дальновидный, уравнивал его с Н. в должности), цепляясь к пустякам, изругал два варианта программы и, казалось, не замечал иностранных «розочек», изучение которых сам себе запланировал Кузьмин.

На некоторое время он опять увяз в хозяйственных заботах, но сказывался опыт, мало-помалу обжилась в двух комнатах, обучил лаборантов, и на-

чались еженедельные совещания у Герасименко, лихорадка из-за перебоев в экспериментальных материалах и другие мелочи.

По субботам он таскался по магазинам, закупая продукты на неделю; в воскресенье ходили в гости — к В. А., родителям или в кино. Поднажались (помогла премия к Новому году) и купили большой телевизор, Кузьмин пристрастился к хоккею.

Наташа удачно устроилась на работу, нашла подходящий техникум. По вечерам, усевшись за противоположными концами обеденного стола, они работали до вечернего чая на кухне, Наташа — более усидчиво. Она очень многое успевала сделать на ходу: забежать к его родителям, набраться там у мамы тонких женских новостей и тотчас же перекрыть юбку, подсунуть Кузьмину новый галстук, сдать экзамены и все поломанные электроприборы в ремонт, — и Кузьмин все никак не мог к ней привыкнуть: она все время менялась. В этом и была ее тайна, а он, глупый и счастливый, этого не знал.

(А летом, отдыхая вместе с Алешкой на юге, Кузьмины нашли ему невесту. Именно Наташа, зорко оглядывающая пляж, обратила их внимание на ту девушку. «Вот та брюнетка, Алеша, была бы тебе под стать», — обронила она как бы мимоходом, и под насмешки Кузьмина Алешка пошел знакомиться. И в том, что женщины не подружились, Наташа не видела ничего особенного; мужчины сделали вид, будто это и в самом деле не важно, но встречаться стали реже. Это только потом, тридцатилетние, ставшие уже матерями, женщины посчитали допустимым близкое существование друг друга.)

Ниспосланная ему благодать в домашних делах имела один изъян. Еще в первую московскую зиму, в годовщину смерти Крестны, они вдвоем поехали на кладбище. Кузьмин долго плутал, пока отыскал ухоженную могилу. Они оставили на снежном холмике цветы, из которых, не поскупившись, потратилась Наташа, в храме положили на поднос всю монету, которая нашлась в карманах, а вернувшись, сели рассматривать Крестнины фотографии.

— Ты по материнской родне пошел, — сказала Наташа, по-хозяйски разглядывая Кузьмина. Она повертела его голову, держа за подбородок, чмокнула в нос.

— Выходит, я красивый? — ухмыляясь, спросил Кузьмин.

— Некоторые мне завидовали, — сообщила ему Наташа. Она понаблюдала за его реакцией и, усмехнувшись, взялась за пачку документов. Там была справка из отделения Госбанка от августа 1942 года о приеме драгоценностей, поздравление ко дню рождения, подписанное Орджоникидзе... Бестрепетной рукой Наташа развязала бантик ленточки, связывающей письма. Кузьмин накрыл ее руку своей. «Не надо», — сказал он просительно и мягко.

В уголке шкатунки Наташа обнаружила потертый изысканный футлярчик, открыла его, и им в глаза брызнули серебристые и голубые искры.

— Какая красота! — восхитилась Наташа. — Я примерю?

— Родишь ребеночка — твое, — сказал Кузьмин, останавливая ее руку и сетуя на свою забывчивость.

— Не ко времени нам сейчас ребенок, — упрямо сказала Наташа. — Поживем для себя! Я хоть техникум закончу.

...Осенью следующего года ему позвонил шеф, и, едва услышав его голос, Кузьмин понял. Он приехал в большую красивую квартиру шефа, был там весел, хорохорился, но за обедом исстрадался — не мог смотреть на исчадшего, с трудом евшего старика. Говорили о делах; Кузьмин согласился написать главу для новой книги шефа и отводил глаза. В кабинете шеф уселся за письменный стол, показал взглядом на стопочку библиографических карточек, на которых всегда делал заметки для памяти.

— Сдача дел, Андрюша, — сказал он, подмигнув. — Да вы не смущайтесь, это так естественно, но противно... — И голос его задрожал. — Извините! — сказал он, кашлянув. — Вы так ничего и не написали, да? Ну так слушайте. На последнем симпозиуме в Брно со мной только и разговаривали о вас. Я уже знал про это, — шеф прижал руку к животу, — и рискнул: изложил вашу концепцию, сославшись на диссертацию. Думаю, что к вам скоро обратится профессор и академик Кириллов — фантазер вроде вас. Идите к нему — вам мой совет. Они, конечно, ничего еще не умеют и мало что знают, но Кириллов, по-моему, всерьез занялся этой гадостью. И, главное, с современных позиций. И еще... — Шеф, морщась, боком прошел к дивану, лег: наверное, его схватывала боль. — На ваших глазах повалятся некие авторитеты и всплывут неизвестные имена. Пусть это станет вам уроком — не изменяйте себе, не дешевите. Скажите мне как на исповеди: вы не отказались от своей концепции?

— Нет... Кое-что изменилось в масштабе... — поправился Кузьмин.

— Ну, слава богу, — сказал шеф, укладываясь на бок, и Кузьмин помог ему удобно пристроить подушку. — Надеюсь, что это у вас навсегда — диалектичность. Вы понимаете, что ни одна гипотеза не в силах охватить явление целиком?

— Конечно, — уверенно сказал Кузьмин.

— Когда-то, выступая — первый и последний раз, да? — вы чудесно сказали о живой воде. Это ваш кирпичик в общем здании. Но, умоляю вас, не замыкайтесь на этом. Ваша концепция красива и естественна, но только для первого этапа. А вы остановились, Андрюша! — упрекнул он. — Вы уже сжились с ней. Это плохо. На чем вы споткнулись?

Шеф вздохнул. Кузьмин сидел рядом с ним в кресле и страстно желал одного: чтобы в комнате не было так светло.

— И не говорите надо мной, что я был очень добрым и деликатным человеком, ладно? Хе-хе...

12

Я успею, решил он. Я сделаю.

Что-то волче проскальзывало у него в глазах, когда он явился к Герасименко и истребовал две недели на написанные статьи. «Какая муха тебя укусила?» — вертелся на кончике языка у Герасименко вопрос, но он, опытный человек, смолчал.

Дома Кузьмин сел, обложился журналами и журнальчиками со своими статьями, привычно надергал из них таблицы, прищурившись на антресоль, сформулировал первую фразу и бойко застучал на машинке. Но на второй странице он завяз: то, что получалось, кривило статью, загибалось рельсы на привычную колею. Он покрутился по комнате, сбегал за сигаретами на улицу, пообедал с обра-

довавшимся дядей Ваней. Встаив накурившись, он выдрал из машинки написанное и сел писать заново. Но опять ничего путного не получилось.

На следующий день он поехал на работу. Мотался там, спугивая младших сотрудников в коридоре и на подоконниках, порывал на своих лаборантов и вернулся восвояси домой.

— Пошли в кино, — за ужином предложила внимательная Наташа. Она сидела, будто пригорюнившись, и смотрела на него большими глазами.

— В ресторан, а?

— Ну, пошли, — сказала удивленная Наташа.

Он не напился — хмель его не брал. Без сна он проворочался на кровати, мешая спать Наташе, потом спустился с антресоли вниз, залез в книжный шкаф, достал наугад томик, купленный еще в городке, и его захватило: «Я люблю всегда далекое, мне желанно невозможное, призываю я жестокое, отвергаю непреложное. Там я счастлив, где туманные раскрываются видения, где скользят непостоянные и обманные мгновения, где сверкают неожиданно взоры молний потухающих... мне желанно, что невиданно...»

И еще: «Я — бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах. Не сотворю себе кумира ни на земле, ни в небесах...»¹.

Почти до утра он читал стихи из этого сборника и других. С чугунной головой вернулся на антресоль и позабылся, а первой утренней мыслью было: диссертация!

Когда он уставал, он брал стихи и, совсем не рефлексируя, рассказывал по комнате, отмахивая рукой, читал их вслух. Несколько раз, Кузьмин слышал, к двери подбирался дядя Ваня и (с испугом, вздрагивая, когда Кузьмин рявкал строфу) прислушивался к незнакомому шуму.

Кузьмин не мог оторваться от статьи. Первая фраза пришла из диссертации — она ударила его по глазам на какой-то не первой страничке, и она же задала тон всей статье. Каждая страничка вытаскивала за собой новую; он бросил машинку, стал писать карандашом. На последних абзацах, уже вполне осязая всю статью как ровный гладкостенный сосуд, звенящий при прикосновении, он остановился. Не хватало последнего мазка, маленькой детали, открывающей глубину, перспективу... Он поискал в себе, выбранном до дна, и не нашел. А в магазине обрывок чужого разговора напомнил ему о первой статье.

Он поднял много пыли, но нашел ее, уже на выцветшей бумаге. С насмешливым интересом он пробежался по тексту, заглянул в таблицу — и умишка его погасла: в той своей сводной таблице он увидел вывод, который еще только планировал доказать. Вот оно что — уже тогда мозг, машинка, подсказывал ему решение, а он отмахнулся. Настроение у него упало. И хотя та, давнишняя, проклевывающаяся через дремоту мысль теперь была ясна, он не мог утешить себя тем, что взаимосвязь результатов из этой таблицы стала очевидна только теперь, а в то время он ходил, не глядя себе под ноги, как слепой по золоту, — ведь только что, перечитав первый вариант диссертации, он заметил, как свободен он был и раскован.

Машинистка перепечатала статью в два дня. Он успел.

Шеф уже не поднимался с постели, и около него постоянно кто-нибудь сидел. Он взял под мышку папочку со статьей, спросил через одышку:

— А почему кислый?

Кузьмин рассказал.

¹ Стихи Ф. Сологуба.

— Все мы попираем ногами свою проницательность. Для всего нужно время.—Шеф говорил, а слабость закрывала веками его глаза.

— До свидания,—тихо сказал ему Кузьмин, умоленный жестами и выражением лица сиделки.

Шеф пожевал губами, покивал ему, но не попрощался.

В журнале, взвесив на ладони статью, редактор с сомнением покачал головой:

— Объем, объем, Андрей Васильевич! И еще — посвящение!

— Ну, теперь мое дело сторона,—сказал Кузьмин.

Он написал Коломенской очередное — после долгого перерыва — письмо и переслал экземпляр статьи с дарственной надписью, а на следующей неделе уже хоронил шефа.

(Озабоченный, заплаканный Лужин растревожил Кузьмина, рассказав, что последними словами шефа были: «И это все?»)

Статья вышла через три месяца в полном виде; он получил на нее шестнадцать запросов из-за рубежа и четыре письма от неизвестных ему людей. В очередной заход в библиотеку он порывлся в авторском каталоге и обнаружил несколько статей одного из них, Филина Дмитрия Ивановича, скромного старшего преподавателя периферийного мединститута. Несколько раз перечитав эти маленькие статьи, полные упоминаний и ссылок на свои работы, и уловив едва проглядываемый нюанс в основной методике, Кузьмин решил ответить ему по-человечески, без отписок, а может быть, и пригласить к себе работать (ему дали лимитные ставки). Тогда же в библиотеке ему пришла в голову такая мысль: не было бы меня, естественного психологического тормоза, был бы кто-нибудь из них, как просто!

Потом он обшарил каталог в поисках новых публикаций Н. и Федора, но их не было вот уже целый год.

Герасименко не волновал Кузьмина по пустякам — не рассказывал про давление и попытки Н. заставить Кузьмина опубликовать методику, но сам очень внимательно следил за работами маленькой группы кузьминских ребят — те распространяли слухи про фокусы и чудеса своего шефа: Кузьмин, раздобыв кое-где суперфильмы (единственные в Союзе! — верещали лаборанты), изредка вылавливал какую-то странную молекулу. Страшная, еретическая идея поддразнивала Кузьмина — ему казалось, что эта молекула и есть сердце его, клешневатого. Думать об этом было сладко, но еще дальше он себя не пускал. Рано еще, рано, думал он. Машинка все обрабатывает, все прикинет, вот тогда и задумаемся. Но думалось плохо, что-то ушло — казалось, там в груди, где раньше была теплота живого веселого шара, теперь холодела пустота. Он стал скучать. Однажды поймал себя на мысли о том (он сидел на совещании у Герасименко), что все эти планирования — просто перетасовывание одних и тех же тем. Взял и выступил в этом роде. Герасименко, выслушав его, побагровел и, сдерживаясь, сказал:

— Ну, знаете ли! Мы в конце концов только маленькая лаборатория! — Кузьмин пожал плечами.

Но через два месяца, когда лаборатории впервые предложили представить перспективный, лет на десять — пятнадцать, план, тайне торжествующий Герасименко — еще бы, это был его триумф, его признание! — включил Кузьмина в редакционную комиссию. И на очередном заседании-сидении, пото-

му что все как-то заробели, обрушился на Кузьмина: «Что вы молчите! Где ваши фантастические проекты?» Кузьмин встал и высказался от души. Поднялся крик, гвалт. За криком Герасименко подмигнул Кузьмину. Кузьмин потеплел к нему сердцем.

Зимой же Кузьминных разыскала Актриса. Она ворвалась к ним шумная, цветущая, очаровала и закрутила Наташу, в тот же вечер утащила ее за кулисы к необыкновенному куаферу — они вернулись за полночь, обе с сияющими глазами, пахнущие шампанским и, разбудив, расшевелив Кузьмина, сообщили ему, что через две недели Наташа начнет работать в театре — помощником художника-костюмера. Кузьмин посмотрел на изменившуюся свою жену, оценил талант мастера, простыми ножницами сделавшего знакомое лицо вновь непроницаемо-загадочным, и засмеялся.

— Я решила — решилась! — вас спросить. И объяснить одну вещь, — сказала Кузьмину Актриса, когда он провожал ее домой.

Под светом фонарей искрился сыпучий снег, скрипел под их медленными шагами. На пустынной Пушкинской она остановилась напротив памятника, оглядела всю площадь. Было тихо; неподвижные деревья, осыпанные снегом, и канделябрами торчащие фонари, темный фасад кинотеатра делали пейзаж похожим на декорацию.

— Почему вы скучный, милый доктор? У вас даже нос стал расти. Ну, посмотрите! — Актриса повела рукой, как бы открывая Кузьмину площадь. — Какой прекрасный, торжественный и нежный мир вокруг вас!.. Вот, смотрите, скучный гений, — идет снег! И в каждой снежинке — не поправляйте меня! — есть хоть атом тех, кто был прежде нас. Их нет, и они с нами. Во всем! Но тише, тише: вы на сцене, — шепнула она, и Кузьмин, подчиняясь, прислушался — поддался ее взгляду. — Вот рампа, — так же таинственно продолжала она шептать. — А занавес уже поднят. И зрители на своих местах. И статисты. И у вас — роль, в этом акте. Единственная! Безумный театр! — воскликнула она, почти заплакала. — Без сценария и режиссера!.. Что будет, доктор милый?

— Что случилось? — Кузьмин наклонился к Актрисе, заглянул ей в лицо.

— Там плохо. Она все оставила, прекратила работу. Вы понимаете? Сейчас все зависит от вас. Найдите «включения»! Найдите что-нибудь! Почему, почему вы уехали?

— На том уровне я себя исчерпал, — сказал Кузьмин, и это прозвучало снисходительно. Актриса внимательно взглянула на него, выпростала свою руку из-под его руки и заступила дорогу.

— А сейчас у вас тот уровень?

— Сейчас у меня годовой отчет и ревизия, — отшутился он.

А между тем их старый дом стали выселять, и однажды Наташа прямо в коридоре бросилась Кузьмину навстречу, повисла на нем, держа в руке открытку из райисполкома.

И вот — все! Он тихо притворил знакомую дверь, расцеловался с плачущим, дребезжаще причитающим дядей Ваней и вместе с Николашкой поднял, понес вниз шкаф. Он никогда, никогда больше не возвращался к этому дому, хотя бы потому, что дом сломали, размолили его кирпичи, засыпали его фундамент песком, а потом черной пахучей землей, насадили деревца, и получился миленький дворовый садик с уютной толстенной монастырской стеной в углу.

Прошел еще год. До Кузьмина дошло, что понедельник — день тяжелый, что хорошо работать поблизости от дома, что однокомнатная квартира — еще не рай.

Летали ракеты, и люди уже осторожно вышли в космос, впервые действительно оторвав себя от среды обитания; уже осуществилась пересадка сердца и даже гена, трансплантация почки стала обыденностью, а люди болели и умирали от гриппа, в эпидемиях холеры; инфаркты и рак убивали по-прежнему. В Копенгагене отец современной иммунологии сказал журналистам: «Значит, овладеть биологией человека труднее, чем выйти в космос, трансплантировать сердце и изменить один ген. Нужны усилия, сравнимые с работой Создателя, ибо мы замахнулись на самую смерть!»; а у Кузьмина родилась светловолосая и светлоглазая Анюточка.

— Эта складная девка — порох! — определила Актриса. — Ваших кровей, — оглянувшись на дверь, шепнула она Кузьмину. — И вам с ней не совладать. Берите меня в няньки! Я отснялась, делать ничего не хочу. А в лабораторию к себе вы меня не возьмете? Куда бы мне приткнуться?

В любви рожденная, шустрая и предприимчивая, Анюточка сразу начала дружить с миром; она с рождения узнавала предметы и явления, такие, например, как отец. Еще не умея лепетать, она при виде Кузьмина начинала вопить и расплываться, а прилипнув к нему, успокаивалась. С того мгновения, как Наташа подала ему пухлый кулек с чмокающей Анюткой, он стал рабом и отцом всех детей.

Если он был дома, он не спускал Анюточку со своих рук, несмотря на Наташины слезы и уговоры: он-то знал, что там дочкино место. Когда Анюточку мучил животик и она беспокойно спала, Кузьмин легко просиживал у ее кровати ночь. Едва крошечные спеленатые ножки начинали сучить, он клал ей на животик свою, ему казалось, огромную ладонь, всем сердцем накрывал ее и наборматывал Анюточке давнишние Алешкины негладикие стишки, теперь отчасти постигая их символику: «Темень, страх и боль — не про нас, на алмазе след оставит лишь алмаз. Все морщины на лице у меня — просто вязь, я твой вечный раб, а ты — мой князь». Случалось, Анюточка размыкала реснички, и из-за великолепной льдистости материнских глаз душу Кузьмина трогал теплый лучик, натягивалась золотая струна. Он шептал ей в душное ушко: «Не терпи, скажи о боли, поделись со мной. Я прошу — и, значит, волен, значит, выбор добровольен, значит, это мне нужно — стать хоть частью твоей!»

В те бессонные ночи он окончательно уверовал в телепатию — были минуты, когда в раскрытое его сознание приходили мглы и смутные тени, беспокоящие Анюточку, и всей силой своей он разгонял их, выводил в синь неба ясный солнечный круг, и — видел! — как успокаивается дочка.

Она засыпала, нежная улыбка ложилась на губки, а Кузьмин, обминая, высвобождая ее ручку и, едва касаясь, целовал тонкие чуткие пальчики. Солнце, свет, любовь, чудо и счастье, нежность и роза — так он называл ее, пленная и купая, забавляя и качая.

«Я не один! — вопил он про себя. — Я уже был и есть! Но ведь я еще и буду!!!»

О себе он знал — он обрел непотопляемость.

А в лаборатории была рутина: хозрасчетные темы фантазию держат в узде — и группа Кузьмина отработывала повышенные оклады. Но время от времени

Кузьмину приходили в голову какие-то странные идеи: они не укладывались в старую концепцию, их общий характер одновременно и волновал и расхолаживал его. Уступить их давлению значило бы предать Коломенскую, Любочку, смутить их, безоговорочно верящих ему.

И — «...извините, что задержался с ответом. Результаты неплохие, а по смыслу своему — просто великолепные. Но попросите Любочку работать чище — было много грязных препаратов. Как ваше здоровье? — писал он Коломенской. — У нас только и разговоров, что о проекте Энгельгардта «Ревертаза». Как странно, что еще несколько лет назад мы говорили об этом, используя лишь другую терминологию. Существенных новостей у меня нет...»

Он научился ругаться и ссориться: ругался с Наташей — она хотела отдать Анюточку в ясли. («Все нормальные дети ходят в ясли!» — «И не вылезают из соплей, а их матери — с больничного!» — «Все дети болеют! Наша такая же, как все!» — «Будешь сидеть два года! Это моя единственная дочь! Тебе что, денег не хватает? Это твой единственный долг, пойми! Я могу сделать все! Но не могу заменить ей мать, не дано!»)

Он отпраздновал тридцатилетие — дома и на работе. (Там, пожалуй, впервые оценив, как много значит для престижа красивая и светски-общительная жена.) А дома, когда гости разошлись и Анюточка заснула у него на руках, прислушиваясь к Наташиным шагам на кухне и оглядываясь вокруг себя, он подумал: это счастье, вот эта минута!

Тенью скользнула мысль: ничего не было ни от Актрисы, ни от Коломенской — ни письма, ни телеграммы.

Телеграмма пришла: «Коломенской апоплексия, состояние тяжелое», — за подписями Актрисы и Любочки. Он уже купил билет, когда позвонила Актриса:

— Состояние лучше, она в сознании, не приезжайте.

— Нужны какие-нибудь лекарства?

— Нет-нет, все есть.

— Что я могу сделать?

— Работать, — попрекнула его Актриса.

Она вернулась через месяц, похудевшая, побледневшая. Села в углу, закурила. Кузьмин ждал.

— Я привезла вам материалы, — сказала она устало. — Вам интересно? Чем вы сейчас занимаетесь?

— Не обижайте меня, — сказал он. — Это, — он помахал листочками, — говорит само за себя. Это какая-то флуктуация, тень или мираж. Да, мираж!

— Мираж?... Вы так высокомерны! Так академичны!.. Столичный стиль вам к лицу.

К ним на кухню вошла Наташа, расцеловалась с Актрисой.

— Наташ, что он делает?! Он остыл, он холодный, как могильный камень! Ты помнишь, какой он был!

— Честно говоря, — сказала Наташа, — такой он меня больше устраивает. Сейчас, во всяком случае — Она улыбнулась Кузьмину, сильная, уверенная. «Обопрись на меня!» — подсказала взглядом.

Все это ему не понравилось, и он взорвался, шепотом, потому что Анюточка спала:

— Европа, черт возьми, ковыряется, как и мы. Всею свое время, — сказал он — Я уже не мальчик, чтобы находить удовольствие в рождении идей — и только. Мне пора доказывать, что мои идеи чего-нибудь стоят! То, чем я сейчас занимаюсь, — фундамент! И потом — прикладистикой в этом направлении никто не занимается, все уже обожглись.

— А академик Кириллов? — спросила всезнающая Актриса.



— Не знаю, — буркнул Кузьмин. — Не читал.

Наташа собрала чай; уюстились в узенькой кухне. Кузьмин уставился в темное окно, непроницаемо-черное, потому что за ним был лес, а еще дальше — окружающая автодорога, и кухня, островком живой жизни, неподвижно будто бы висела — меж звезд или у самой земли.

В молчании допили чай. В прихожей Актриса, заматываясь в длинный шарф, сказала:

— Там все стало. Вы понимаете, какую роль в этом вы сыграли?

— Это наука, — обронил Кузьмин. — У каждого из нас своя роль. Я сыграл свою, наверное...

Актриса усмехнулась.

— И что взамен?

— Это наука, — повторил Кузьмин.

— ...Спасибо, — сказал Кузьмин. — Спасибо, я обязательно приеду. Да, спасибо! — Он положил трубку на рычаги и тут же поднял ее снова.

— Вам звонили из «кадров»? — спросил Герасименко, вдруг обращаясь на «вы».

— Только что!

— Примете приглашение? — спросил Герасименко напрямик.

— Подумаю.

— Мне знакома эта фраза, — сказал Герасименко. — Конечно, принимайте предложение... И правильно, — неожиданно горячо сказал он. — Наверное, пора и вам начинать главное дело. Я приказал — документы вам уже готовят. Возьмите с собой все, что сочтете нужным: препараты и прочее... — добавил он торопливо.

Кузьмин стал работать в отделе у странного, искалеченного неизвестной болезнью человека по прозвищу Маньяк. Так его называли коллеги.

Много лет назад он провел на себе опыт. Результат его оказался неожиданным и едва бы самоубийственным. Маньяк выжил, чтобы попытаться разобраться в самом себе. Он методично, годами изучал свою кожу, свои лимфатические узлы и кровя, пряча бинты под одеждой; если бы можно было, он отдал бы себя целиком; если бы не было другого способа установить истину, он устроил бы себе несчастный случай, но сам Кириллов, его давний друг, попросил его не переходить границы — какие, оба они так и не сформулировали.

(— Какая осторожная молодежь пошла, не находишь, Сережа? — посоветовал Маньяк, насеживая протестующего червяка на крючок. Они сидели на берегу с удочками. — Ну, почему я сам должен собой заниматься, а? Ведь это даже ненаучно в конце концов. Ну, нашелся бы хоть какой-нибудь... умник-подопытный... Покопался бы во мне всерьез, а?)

— Нет, лучше не надо, — помедлив с ответом, будто взвесив все про себя, отозвался С. В. Кириллов. — Ты уж, Витя, лучше сам...

— Старее я, Сережа. И симптоматика меняется... Будешь купаться?)

То, что делалось в тихих лабораториях этого института, удивило Кузьмина. Он писал вставшей с постели Коломенской: «...они хотят и уже пробуют, в отличие от всех остальных, не влезывать в генетический аппарат клетки, а действуя, как дрессировщики, или, может быть, как сама природа, подчинить его себе. Смешно: они думали, давно не читая моих работ, что я уже помер. Но наша Актриса открыла им глаза — кому из них персонально, я еще не знаю. Мы с ней поругались, и она не ходит к нам, а то бы я встал на колени. Они...»

Он наладил свои методики, обучил им лаборантов и выпущенного в помощники Филина и освободился. А его оставили в покое, будто позабыли о нем. Маньяк только однажды появился в светлых покоях Кузьмина, поулыбался, ослепляя американской вставной челюстью, подписал заявку на импортное оборудование и исчез. Можно было бы предположить, что эти богатеи накупили всяческого добра и, озабоченные новыми капризами, оставили его без присмотра, на волю и прихоть пытливого ума, если бы не тот спокойный деловой настрой, напор, который ощущал Кузьмин, заглядывая в соседние лаборатории. Он ходил по этим новеньким чистым корпусам института, приглядываясь; в столовой, в коридоре, в курительных холлах знакомился с сотрудниками, напрашивался на экскурсии.

В отдельном корпусе разместилась клиника. Раз в неделю клиницисты пугали теоретиков демонстрациями своих больных. Кузьмин повадился ходить на эти конференции, и ему, много лет оторванному от больниц, становилось страшно, особенно на демонстрациях детей. Известная ему истина: «Пять процентов людей — носители генетических болезней» — обретала плоть и кровь. Он прошел через фазы черных мыслей о судьбе человечества, слепой надежды на милость и здравый смысл природы и наконец проявил заинтересованность.

На одной из конференций он шепнул Маньяку:

— Дайте мне модели, кажется, я смогу кое-чем помочь цитогенетикам. У вас есть модели?

— Да что вы, Андрей Васильевич! — показывая достижения американской стоматологии, сказал Маньяк. — Какие модели! Если бы мы имели модели! Увы! — произнес он и, совсем принимая голос, добавил: — Вот они — модели, данные нам природой.

Лаборанты Кузьмина были завалены работой, а сам он жил скучновато... Но однажды Филин подошел к Кузьмину с бланком анализа в руках.

— Что-то не так? — Заглянув в бумагу, Кузьмин встрепетнулся и отправился в детскую клинику.

Там шел разбор неясного случая. Полноватый шатен — молодой заведующий отделением — удивился приходу Кузьмина, усадил его в кресло, и Кузьмин битый час слушал разглагольствования врачей. Ничего, казалось бы, не решив, они разошлись, очень собой довольные, и обалдевший несколько Кузьмин протянул заведующему свой бланк.

— Объясните, пожалуйста, — попросил тот.

Кузьмин объяснил:

— Похоже на генетический дефект. Мы могли бы подтвердить или опровергнуть одну теорию... Что это за больная?

— Понимаете, — сказал заведующий, — это третий мальчик в семье, двое других погибли от опухолей. Даже сейчас мы не знаем, есть она у него или нет! А что теперь — в связи с этим? — Он показал на бланк. — Обследуйте! Родители согласны.

Кузьмин зачастил в детскую клинику, стал регулярно бывать на обходах у Вадика (Андреева, заведующего детским отделением), стал кружить возле кровати пятилетнего Олежка, присаживаясь в ногах у малыша, рассказывать ему стишата. Когда потеплело, сняв халат, Кузьмин гулял с Олежкой по улицам и раз даже свозил его на мультипрограмму в кино.

— Перестань! — говорил ему Вадик (они сдружились, выяснили, что окончили один и тот же институт, оба учились у Тишина, почти одновременно женились и обожают своих детей). — Не привыкай к нему.

— Брось! — отмахивался Кузьмин. — Не делай из

больницы тюрьмы. У парнишки ни одной родной души поблизости нет, от вас он только боль терпит, хоть я ему отдушиной буду.

— Привыкать к такому больному опасно, — обронил однажды Вадик.

К другим ребятам приезжали родители или приходили родственники, а Олежка ждал только приходов Кузьмина. Но встал вопрос о его выписке из клиники — обследование закончилось.

— С чем мы его отпустим? — спросил Вадик своих врачей и покосился на Кузьмина.

Кузьмин вернулся домой, взял на руки маленькую свою нежность, свет-солнце Анюточку, и весь вечер играл с ней. («Вот он, шанс, когда еще будет? Ну?» — закрыв глаза, спросил совета у Коломенской.)

— Папк, спой! — попросила Анюточка, устраиваясь у него на коленях и прикладывая ладошку к его щеке.

Срываясь, на слезе беря высокие ноты, Кузьмин запел: «Спят усталые игрушки...» Он уложил ее в кроватку и, напрягаясь всей душой, попросил — у кого? — если что-нибудь... то со мной, а не с ней, со мной!

Он пришел в кабинет Маньяка, выложил на стол свои материалы, ампулы с живой водой: «Вот!»

— Вы ведь у Коломенской работали, да? — щурясь, спросил Маньяк.

— Работал. Провалил ее «включения», слышали?

— К нам набивался один энтузиаст... (Кузьмин назвал фамилию Федора.) Этот самый. С вашей методикой.

— Ну, и что же вы?

— Шеф ему сказал: «Гусь свинье не товарищ!» — со смехом ответил Маньяк, обнаруживая осведомленность. — Он у нас чистюля. Пойдемте к нему?

Последние дни Наташа с тревогой наблюдала за Кузьминым, а в этот вечер, поправляя сбившиеся подушки, не сдержалась:

— Что с тобой делается-то?

— Новая дорога, Натк, — утыкаясь ей в шею носом, шепнул Кузьмин. — Длинная — ох, ноги собьешь!

— Господи, твоя воля! Когда же ты успокоишься? — Она обняла его, утешая, укрепляя, воздвигая.

Олежка, слегка напуганный скоплением народа вокруг кровати, только поморщился, когда толстая игла скользнула в его вену. «Это большая капельница? — спросил он у Кузьмина, откидывая голову на подушке, чтобы видеть его лицо. — Что это, глюкоза?» — «Нет, профессор, — отозвался Вадик, нажимая ему на нос, — би-би! Это такая водичка, живая». Маньяк теребил пуговицу на халате.

Капельницу отсоединили. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Кузьмин. — «Нормально! Дядя Андрей, сыграем в шашки? Только чур! Не поддавайся!»

14

Кузьмин выбежал на эту полянку насквозь вымокший, простуженный и задыхающийся; остановился, обессиленно сронил на полеглую осеннюю траву рюкзак и повалился на него.

Отдышусь, подумал он, прикрывая глаза и подставляя лицо мелко брызгающему дождю; почувствовал, как, покачиваясь, под ним медленно вращает-

ся земля. Он огляделся. Серенький кривой стожок показался спасительным островом.

Он поднялся и, раскачиваясь, пошел к нему; зарыл руки в его жесткую скользкую поверхность, догребаясь до сухого сена, обрушил вниз, себе под ноги, всю эту слипшуюся кору и, чувствуя немереющей спиной обступающий холод, заторопился, стал рыться в стожке, как зверь. Обдирая лицо, повалился в маленькую нишу, кряхтя подобрал и уместил ноги.

Сначала по животу и спине драл озноб. Температура поднимается, понял он. Вот отчего так колотится сердце.

Он косил глаза на рюкзак, лежавший мятым незаметным комом на пожухлой траве, и пожалел, что не оставил себе на сегодня водки. Незаметно он задремал, а когда очнулся, почувствовал едкий вкус во рту, хотел сплюнуть, но, глубоко вздохнув, охнул — так сильно ударила в бока боль. Потом боль разлилась в голове, и стали мерзнуть ноги. Он пошевелил ими — живые...

В параличной неподвижности, обсыпанный сеном, он согрелся: сделалось тепло, даже душно, но перед глазами все расплылось. Заходило сердце, разрывая грудь.

Проснулся он в сумерках, задохнувшись — верхний край ниши обрушился, и он, как в кокон, сжатый со всех сторон сеном, стал задыхаться. В панике разбрасывая руки и ноги, он пробился наружу.

Густеющая серая пелена, поднимавшаяся от земли, затягивала, душила стожок, закладывала уши. Он испуганно потыкал рукой, ощутил льющийся неслышный дождь. Потом, сквозь вату в ушах, едва расслышал его шелестение снаружи стожка и в сене. До лица постепенно дошла сырая прохлада, и, успокоенный, он расслабился.

Надо ночь перебиться, а утром идти искать какой-нибудь ориентир — просеку, линию связи или еще что-нибудь, медленно подумал он. Спи, уговаривал он себя, спи, включатся инстинкты, и ты выступишь.

Но сон не шел. Значит, подумал он, не нужно спать, значит, надо о чем-нибудь думать, вспомнить что-нибудь нежное, теплое и хорошее, но не дом, не мою крепость, где играет сейчас моя аккуратная девочка с ясными глазами.

Он перевалился на бок, едва не выпав из ниши, и сразу же почувствовал боль в боку. Плеврит, понял он.

Поднял руку и, задев потолок своей норы, притащил ее к лицу. Оно горело, и двухдневная щетина ощущалась, как сквозь перчатку. Неловко нащупал пульс, сосчитал его, сбиваясь несколько раз. Циферблат часов горел ярко и ровно. Секундной стрелки он не видел, хотел отмерить время по движению минутной, но рука уже устала, онемела, упала.

Какой я длинный, подумал он, не ощущая ног — они вытягивались куда-то за стожок, растворялись в темноте. Почему им не холодно? Пять часов еще до рассвета, сосчитал он. Постой, какое же сегодня число? Удивился: зачем мне это? И возразил себе — значит, нужно. Вчера, да, день назад, я подумал о сегодняшнем дне.

Чей-то день рождения?

Он напрягся. А-а, вспомнил медлительно. Я смотрел на звезды и подумал о гороскопе. Герасименко привез из Японии свой гороскоп и биоритмы. Я засмеялся, напомнил им всем: «Человек умирает близ даты рождения». Вот оно. А ты — хитрая машинка, мозг, сознание, с придыханием сказал он про себя. Плоть моя страдает, а ты сам по себе.

А может быть, тебе это неинтересно? Что же сейчас общается со мной — часть тебя, обращенная ко мне, — душа? Или ты сам со мной играешь, нет, сам с собой! Ты ведь не спишь никогда, все что-то варишь, а утром подсовываешь мне готовую программу поведения. Внушаешь мне, что ты — сознание! А под ним, машинкой, — темная пещера, мрак клубяка инстинктов. И мягкая интуиция, кошка черная. Ночь — самое время жалить и кусаться. Ничего себе название — «подсознание»! Что, боишься сдохнуть? Будоражишься! Ну, давай, дам тебе волю, действуй!

Кузьмин прикрыл глаза, вслушиваясь в себя, как когда-то давно, на чердаке монастырского корпуса. Пока в нем жила настороженность, ничего не происходило, но потом пришло тепло, он задвигался во сне — теплая темная река быстро несла его, невесомого, в себе, легко покачивая, весело с ним играя, мимо незнакомого голого берега прямо под густую лиловую тучу с розовым брюхом, закрывшую весь горизонт. Вода все теснее обхватывала его, чернела; по ее поверхности пробежал глянec, и тут звонко ударил гром. Кузьмин поднял голову, радостно улыбаясь. И в сиреневом тумане надвигающейся лиловой стены дождя выпавший из чрева тучи ярко-красный шар. Шар покрутился под тучей, а с ее сырым глубоким выдохом оторвался, стал падать на реку. Кузьмина пронзило множество острых игл, и, опираясь о воду, ставшую упруго-твердой, он начал подниматься из воды, с силой притягиваемый этим, уже оранжево-красным шаром; с его головы и пальцев навстречу шару потекло голубое пламя. Тело обрело невесомость, исчезало. Шар, вертящийся, корчащийся, приблизился вплотную, заливая переплывом оттенков все вокруг, слепя глаза и все сильнее согревая грудь, и уже сердце останавливалось в предчувствии желанно-страшного соприкосновения, слияния, когда в последний миг Кузьмин дернулся, убоявшись, и шар с громовым ударом лопнул, взорвался, отшвыривая Кузьмина с волной, расколовшей реку до дна, на берег. Кузьмин ощутил сотрясающий удар, пришедшую из глубины тела боль, ледяной холод — и задохнулся в блаженном бесконечном вдохе.

Он открыл глаза. Полный беззвучный мрак окружал его. Под щекой была земля и вялое преющее сено. Он задвигался, собирая свое тело в комок, чтобы подняться и снова лечь в нишу, и, уже встав на четвереньки и с трудом приподняв голову, услышал крик. Крик монотонно повторялся, не давал собраться, сосредоточиться, и вдруг Кузьмина приподняло, швырнуло на ноги: господи, подумал он, а ведь это ребенок! Он вслушался и узнал детский крик.

Шатаясь, припадая на колени, он потащился на этот крик. Через несколько метров он остановился, сел на землю, хватаясь за грудь, и прислушался. Крик исчез.

Галлюцинации, понял Кузьмин. А клиника-то пнеомонии — хоть в учебники!.. Кто же зовет меня, Анютка? Нет, она здесь, во мне. Олежка? Бедный мой мальчик, неуспокоенная душа! Я помню, я все помню!

...А Олежка в последнюю ночь как будто выплыл из какого-то сна. Глаза его просветлели. Он захотел, чтобы включили свет в палате.

Он водил глазами по скудной обстановке, как бы запоминая ее, перебирал медленными непослушными пальцами марки и значки, натасканные Кузьминым и Вадиком, а потом попросил убрать их в корбочки. Он ревниво проследил за тем, как сестра уложила его сокровища, равнодушно позволив сделать себе уколы и отвернулся к стене.

Вадик и Кузьмин остались в клинике и на эту ночь; Вадик, устроившись у себя за столом, что-то писал, роясь в Олержкиной «Истории болезни», а Кузьмин, забравшись с ногами на кровать, тупо дремал, изредка вздрагивая и роняя голову. Свет настольной лампы не задевал его, а заснуть всерьез он все-таки не мог.

— Ну, все! — вздохнул с удовлетворением Вадик и потянулся. — Осталось только три строчки написать.

— А что это? — безразлично спросил Кузьмин, не открывая глаз.

— Посмертный эпикриз, — бодро сказал Вадик. — Ну, чего ты так смотришь?

— А ты... деловой, — с усмешечкой протянул Кузьмин. — Время — деньги!

— Не... раскисай, — отозвался Вадик. — И потом... жизнь есть жизнь. У меня завтра много дел, — сказал он озабоченно и устало.

— Да я разве что... А если бы я не сунулся со стимуляторами, а? Может быть?..

— Ну, хватит! — резко сказал Вадик и встал. — Он обречен. И был... И теперь... Дать тебе снотворного? Когда сестра, робко постучавшись, вошла и сказала: «Андрей Васильевич! Он вас зовет», — Кузьмин, прижимая руку к левому боку, побежал в палату. Вадик догнал его в тихом темном коридоре, крепко взял за плечо, заступил дорогу.

— Не ходи. — Он говорил тихо, потому что рядом сидела сестра. — Пойду я.

— Я должен, понимаешь, должен! — забормотал Кузьмин.

— Вернись, — вглядываясь ему в лицо, попросил Вадик.

— Пусти!

Вадик оглянулся на сестру, и она, вышколенная, ушла куда-то.

— Я тебя предупреждал — не привыкай к нему! Прошу тебя — поезжай домой. Я позвоню.

— Ты что? — еще сильнее бледнея, сказал Кузьмин. — За кого ты меня держишь?

Вадик досадливо мотнул головой.

— Ну, прошу тебя!

Кузьмин обошел его и побрел по коридору к яркому прямоугольнику дверного проема.

— Дяденька, поддержи меня за руку, — хрипло, шепотом сказал Олежка. — Мне стало теперь страшно, я боюсь спать.

— Конечно, малыш! — стараясь, бодро сказал Кузьмин. — Я здесь, я посижу. Тебе не больно?

Олежка крепко схватил его руку, и, повинаясь его движению, слабо и неуверенно, Кузьмин сел в изголовье, погладил головенку.

— Хочешь, я тебе что-нибудь расскажу? Ну вот, жил-был один мальчик... Много лет назад. Слушаешь? Вокруг него все было живое, настоящее. Кроме людей. Они, конечно, тоже были живые, но жили в другом мире: болели, плакали, сердились... И мальчик придумал: им всем надо рассказать, какой красивый мир вокруг них. Он мечтал — вот он возьмет живую воду... Побрызгает ею на них, и они все будут жить вместе с ним... Олежка?..

А ручка уже расслабла; Кузьмин осторожно устроил ее на кровати и пересел на стул. Он бы выключил яркий верхний свет, но подумал, что если Олежка вдруг еще проснется и увидит темноту, то может испугаться, и оставил лампы зажженными.

Олежка еще спал, а у него менялось лицо — ровно сложились губы, разгладилась морщинка на лбу — лицо стало взрослым и спокойным. Он ухотил.

«Прости меня. Прости мне».

...Когда пришел Вадик и деловито стал мыть руки, Кузьмин ровным голосом сказал ему:

— Уже все. Двадцать три минуты назад.

— Можешь работать? — спросил Вадик.

...Через два часа он принес в лабораторию флакончики. Дмитрий Иванович Филин, поднятый Кузьминым с постели, но бодрый и уже час бесцельно переставляющий посуду, нетерпеливо протянул за ними руку.

— Я сам. Делайте все в дубль, — приказал Кузьмин ему, испуганно поднявшему плечи и в растерянности переводящему взгляд с Вадика на Кузьмина и обратно. — Что вы на меня уставились?! — заорал Кузьмин. — На мне ничего не написано! Перепроверяйте меня!

Через полтора длинных сумеречных месяца в воскресенье, рано утром придя на работу, он обнаружил, что торопился зря: и последние культуры Олежкиных клеток, несмотря на все усилия их сохранить, законсервировать, погибли. Он сделал контрольные мазки и убедился — «включений» не было. Не было! Они должны были быть, а теперь, оказывается, их нет. Чистый опыт, поставленный природой. Насмешницей. Вот и все ясно. Чуда не получилось. Он сбросил флакончики в мойку и сел за свой стол, спиной к двери. Уставился взглядом на фотографию Анюточки под стеклом (этим летом, в траве, в венке из крупных ромашек, лукаво усмехающаяся, она обрывала лепестки цветка), подумал: это конец... концы в воду, и никаких следов...

В лаборатории было пусто и холодно — из-за больших окон, белого кафеля, высокого потолка, из-за порядка на лабораторных столах. За спиной щелкнул и тихо запел термостат Дмитрия Ивановича. Кузьмин оглянулся, но справился с любопытством и не стал копаться в нем. На крючке висел чистенький халат лаборантки, в его кармане торчала газета. Кузьмин с трудом встал, прошел до вешалки и взял эту газету. Позавчерашняя, зачитанная, она была свежей для него. Слепыми глазами он просмотрел ее, всю в пометках для политинформации, прочитал открытый абзац: «...Убийцы использовали подлый способ расправы — на имя Камала пришла посылка из родных мест. Дорогим, знакомым почерком было написано его имя. И человек, принесший посылку, был знаком — земляк, почти родственник. Камаль и его товарищи окружили стол, на котором лежала обычная почтовая коробка, они шутили... Когда крышку подняли, раздался чудовищный взрыв. Здание рухнуло...»

Кузьмин представил себе ослепительную вспышку, после которой ничего не было — ни вопросов, ни заболеваний, ни боли.

Пришел Дмитрий Иванович, тихо переоделся за его спиной, проходя мимо, негромко поздоровался (Кузьмин только мотнул головой) и сунул нос в термостат. Кузьмин услышал стеклянный звон передвижаемых флакончиков и ждал какого-нибудь восклицания — Дмитрий Иванович всегда делал какие-то необязательные вещи — жесты или восклицания, — и, не дождавшись, сказал:

— Приобщите к моим. Они в мойке.

— Почему? — отозвался через минуту Дмитрий Иванович. — Я их отправлю цитологам, пусть посмотрят, в чем дело...

— Вы что, обзавелись фабрикой РНК? — через два дня, позвонив Кузьмину домой, спросила знаменитейшая иммунолог. — Откуда ее столько в этих дохлых культурах?

— Что? Что! — чужим голосом отозвался Кузьмин. — РНК?!

День продолжился в ночь, без сна проведенную на кухне, в тишине, среди редких сильных ударов капель о непомытую тарелку в мойке, с гулками, глубокими вдруг вздохами леса под окном, с редким просверком света фар машин, по каким-то тревожным делам летящих по шоссе.

Ему не давала покоя мысль об этой РНК, неожиданно обнаруженной в погибших культурах опухолевых клеток Олежки.

Я унаследовал РНК и память, подумал Кузьмин на тусклом туманном рассвете, глядя на закипающий чайник. Все, что он мне оставил. Все, что у него было, — так продолжилась мысль. Память во мне, а РНК — как посылка из другой жизни, из-за черты обозреваемости, из-за границы между нами. И тут же, по странной ассоциации, он понял, как это было! Приоткрыв крышку, Камаль услышал легчайший щелчок и, читая глазами на листе бумаги, прикрывающем динамит, «Умри!», все понял — и лег на мину, расплачиваясь за доверчивость и чистоту.

И вдруг все стало ясно! Эта странная живая РНК в мертвых раковых клетках — та же мина, смерть в знакомой упаковке. Раковая клетка, убитая живой водой, изрыгает свой яд! «Боже! — подумал он. — Я в начале пути! Моя живая вода — просто биологический стимулятор, не больше...»

В. А. тяжело опустился на лавочку, откинулся на ее спинку. Лицо у него было спокойное. Мимо шли сотрудники института, где проходила конференция, с любопытством поглядывали на В. А. — он только что открывал заседание.

— Ну и что за беда? — не понял В. А. — Это наука. Милый, оглянись: какой век на дворе! Они слушали меня, как... граммофон, хотя прошло только тридцать лет. Что ты скажешь о сегодняшнем дне через тридцать лет? И хорошо! — Он погладил Кузьмина по рукаву. — Можешь представить себе, чтобы кто-нибудь случайно создал хотя бы твою живую воду? То-то! Я уж не говорю про настоящую. Даже в сказках у нее три хозяина: баба-яга, черный ворон и змей. А это вековой опыт, — засмеялся он. — Собери миллион фактов, сложи из их мозаики узор — тогда и прочтешь заклинание, формулу. А-а-а! Чего говорить, Андрюша! В одиночку?! Соврал ты где-то.

Он совсем замкнулся — отгородился от мира, как бы затворив все двери и окна, опустив шторы и выключив свет, — и, лишившись даже тени, стал заново изучать свои владения, свой замкнутый мир, сейчас заполненный мертвяще-плоскими, необъемными обозначениями предметов, явлений и людей.

Он обнаружил, что его концепция, здание, выставленное им, только кажется крепким; что оно, как тот монастырский корпус, уже обречено из-за своего неудобства, изжитости, множества перестроек, а теперь и населено только призраками.

В сосредоточенности своей, ибо не было на кого оглядываться в этом безмолвии, нарушаемом лишь шорохом истекающего в никуда песка-времени, он переступил порог, заглянул, как в открывшуюся пустую нишу, в будущее и, обрета в нем понимание конечности своих сил и желаний, обрушил свой мир, свой дом, хороня под обломками и маленькую тайну и легкую веселую надежду на удачу, на клад.

Попирая развалины концепции, он растолок в песок ее руины — и споткнулся об уцелевший неуклюжий обломок. Он перенес на него всю ярость и ненависть и обратил его в округлый, алмазной твердости голыш, который легко и незаметно для других

можно было бы зажать в кулаке или спрятать; но он жег ему руки и оттягивал карман. Он стал изучать его, и все, что он наработал, уместилось в конце концов на страничке очень сухого текста. И переписывая эту страничку много раз и исправляя до бесконечности, до утраты смысла, испытывая болезненное наслаждение от постепенного сокращения текста до полстранички, до абзаца, он трудно восходил по спирали, пока наконец, с другой высоты оценив свой результат, не сформулировал одну длинную фразу, смысл которой был понятен только ему. Он написал ее на отдельном листочке, который положил начало его секретному архиву, и в тот же день отдал материалы Маньяку.

Одиноким — тот же сумасшедший!

Какое-то время он ненавидел Наташу — за ее ежевечернее неделикатное подглядывание в пустой лист бумаги, за вопросительно округлившуюся бровь, за то уловимое, но неуличимое пренебрежение, насмешку над его муками, за озабоченность мелочами, за то, что она подсылала к нему Анюточку, а по воскресеньям гнала его гулять с ней в парк, тащила в гости и была, была все время рядом, когда ни оглянешь! С пугающей ясностью ему открылась вдруг их антиподность, и в великом презрении к себе, слепцу и недоумку, он странно вознеся в ледяное безразличие к ней. Но с последней точкой, поставленной в отчете, только ее близость, спокойная уверенность в неизбывности творящего жизнь мира поддержали его. В нем забрезжило понимание великой силы жизнеутверждения.

— ...Изумительно! — сказал Маньяк, снимая очки. — Вы вскрыли новый слой. — На его кривом лице светились глаза. Да он же красив, удивился Кузьмин. — Вы что, не понимаете, что теперь попали в учебники? Выходит, Коломенская-то не права!.. Столько лет!..

— Вы верили в нее? — поддался вперед Кузьмин.

— Нет. — Маньяк затряс головой. — Но любой путь, пройденный до конца, исчерпывает себя, и это тоже польза. Если заблуждения искренни и бескорыстны, надо дать им место. Я и о себе говорю. А у вас двойная удача: утвердили и опровергли.

— Удача? — вездливо спросил Кузьмин. — Вы смелее надо мной?

— Вы... чудак. — Маньяк непонимающе смотрел на Кузьмина. — Я не хочу вас обидеть... Мне бы так повезло! За любую цену.

— Любую? — переспросил Кузьмин.

Он с трудом досидел до конца рабочего дня, а назавтра с утра пошел в поликлинику. Больничные лист ему не дали.

«Ну, астения, — сказала врач. — У половины нас астения. Возьмите, коллега, отпуск или смените работу...»

Окаменевший, он приехал в институт и сразу же был приглашен к Кириллову.

— Поздравляю вас! — Кириллов, костистый, непоколебимый, стоя протягивал ему руку, и Кузьмин машинально пожал ее.

Он много раз потом вспоминал, но не мог вспомнить эту минуту, как будто рукопожатия не было — у ладони не осталось памяти от его сильной теплой руки, такой дружеской, легкой.

— Очень устали? — Кириллов положил ему руку на плечо, и в этом несвойственном ему жесте была та правда внимания и уважения, которая едва ли передаваема словами. — Мне хочется поговорить с вами, пока все еще горячо. Похоже, и вы хотите что-то сказать? — Он говорил это и улыбался ему, как ровне. — Говорите, Андрей Васильевич!

Они сели в кресла напротив друг друга, и Кузьмин, чтобы не отвлекаться, сцепил пальцы, стал смотреть в окно.

— Не волнуйтесь, — сказал Кириллов; он встал и отошел к книжному шкафу, чтобы оказаться в тени, не мешать Кузьмину.

— Сейчас, сейчас! — сосредоточиваясь, сказал Кузьмин. — Вот! Все замкнулось на этой РНК: она первое звено в какой-то новой цепи, может быть, очень длинной, может быть, ведущей к истоку. За нее надо хвататься и идти — мой метод вам хорошо подходит. Как, знаете, странно! — вглядываясь в лицо Кириллова, пробормотал он. — Я думал о другом, а пригодился он здесь. И вот что еще — я выбросил тогда флакончики. А РНК нашли в препаратах Филина. Я настаиваю, чтобы было отмечено его авторство. По небрежности могло случиться...

— Еще месяц назад Филин принес мне объяснительную записку. — Кириллов выдвинул ящик стола, достал обыкновенную канцелярскую папку и положил на нее руку. — Он пишет, что по вашему же приказу перепроверял вас. Андрей Васильевич!..

Кузьмин провел рукою по лицу, отвернулся.

Кириллов включил настольную лампу и поправил ее абзажур так, чтобы свет падал только на пол.

— Я не могу работать по этой проблеме, — тихо сказал Кузьмин. — Начав, я еще не знал, не понимал, что это такое. Олечка...

— Наше дело кровавое, — отозвался из сумрака Кириллов. — Обоюдострое. Но... ведь сказано было: наслаждение разума — познавать и отдавать, а долг души — настаивать и терпеть. Долг и наслаждение. Сердце и разум. Вместе, но сердце — впереди. Поэтому мы за все дорогое платим. Вы хотите уйти? Сейчас? Когда... Доказав существование РНК? — Кириллов вернулся в кресло. Глаза его над твердым малоподвижным ртом странно горели.

— Поймите меня! — воззвал Кузьмин, подаваясь вперед. — Я не могу — я пустой! Без желания, смысла, надежды... И я связан — это все-таки не моя тема. И еще... Хотите, признаюсь? — Он криво усмехнулся скорчившимся ртом. — Может быть, это объяснит — от моей теории осталась одна фраза, а? Опроверг сам себя! Нетипичный случай, да? — Он хрипло засмеялся.

— Не стану вас утешать, — нескорю дошел до Кузьмина голос Кириллова. — Никто ничего не знает про себя. Иная фраза стоит целой теории. Вы знаете — природа не дублирует. Знаете это на всю глубину аксиомы. А вы ученый. И не по должности. А, значит, носитель неповторимой, уникальной особенности... Верно, у каждого из нас есть своя тема, предназначение, но и долг, свой крест, — грустно сказал он. — И любой другой — не по силам, как в притче. Мне нечем вас заменить, — как будто предупредил он Кузьмина. — Подумайте...

Кузьмин пожал плечами, встал и отошел к окну. В институтском дворе галдели — разгружали ящики с новым оборудованием. Тут же Дмитрий Иванович любовно поглаживал громадный кожух ультрацентрифуги.

— Поверьте мне, — сказал Кириллов, — когда кто-нибудь сделает за вас вашу работу и вы поймете, что работа сделана плохо, что тот шаг, на который — случаем, обстоятельствами — были предназначены вы, никто не сделал... и время упущено, крест вас раздавит. Такое бывало...

— Я не могу. Клянусь вам, — сказал он, подходя к Кириллову, чтобы пожать ему руку, достойно попроситься, — даже если бы речь шла о моих родителях, даже если бы!... — Он задохнулся. — Я не боюсь ответственности, нет! У меня нет сил! И права: кто мне это даст? Вы? Кто-то другой? Никто.

Они стояли рядом, равновысокие, но Кузьмин не мог дотянуться взглядом до его лица: Кириллов становился все выше и выше, огромным.

— Ну, что ж! — равно сказал Кириллов, уходя от него и садясь за свой директорский стол. — Актриса ошиблась — для вас мир все-таки разделен на свое и чужое. — Он не гнал Кузьмина, он ждал, когда Кузьмин уйдет сам. — А право завоевывают в борьбе. Это азбука.

— Я готов помогать вам лабораторными исследованиями, — сказал Кузьмин уже от двери.

— Благодарю! — отрезал Кириллов.

— ...Да-а, жесткая вещь — наша профессия. — Маньяк опустился в кресло, то самое, в котором только что сидел Кузьмин, выключил настольную лампу, вытянулся — в эти часы он часто заходил к Кириллову, отдыхал душой. — Мы — погубители чужих работ, идей, репутаций.

— Дутых, — скупо отозвался Кириллов. Он стоял у окна, глядя в пустынный институтский двор. Там бегал шалавый черный пес, гонялся за сухими, шелестящими листьями и играл ими.

— Он, как... не найду сравнения. Что-то испепеляющее. Сколько же судеб он изменил? А сам...

— Просто везло — ни с кем не пересекался. А вот случилось.

— А мне жаль его, — в тишине сказал Маньяк. — Красивый талант. А надорвался на чужом.

Кузьмин вернулся к Герасименко, на прежнюю должность.

— Полезно иногда проветриться, — дружелюбно сказал Герасименко. — Но он отводил глаза, смущался, руки его беспокойно шевелились. — Подтолкните своих ребят — что-то они запутались. — Герасименковское «вы» корбило, казалось, оскорбляло.

...Не скоро ушли угроза и ожесточение, подозрительный взгляд и сухость. Но росла Аноточка, поражая его самобытностью, свободой, с которой она жила в этом угрожающем мире, естественностью, с которой она воспринимала его. И рядом была Наташа, все менявшаяся. И тайна их бытия возвращала Кузьмина к жизни. Ужасное напряжение последнего года рассеивалось, время от времени появлялось желание позвонить Дмитрию Ивановичу, узнать новости, подсказать какие-то подспудно додуманные мелочи, но он сдерживался, помня их холодное прощание.

Его переписка с Коломенской оборвалась — она не ответила ему на последнее письмо: «...мы тратились на погону за призраком. Меня не хватает на то, чтобы все связать: удачи и никчемность «розочек» и «включений», эту проклятую РНК и токсический эффект живой воды. Надо думать. Я ушел из института».

Его тянуло к прошлому: он снова стал встречаться с неунывающим, вернувшимся на работу В. А., увиделся с Тишиным и даже, наткнувшись в курительном холле библиотеки на испугавшегося Федора, спокойно поговорил с ним.

Он стал болезненно чувствителен к музыке (ночные программы «Маяка» — элегичные, нежно-грустные — доводили его временами до слез), к воспоминаниям — он вдруг разыскал (в доме ветеранов войны) дядю Ваню, довольно бодрого и веселого, выпил с ним вина и вернулся домой каким-то расплюснутым.

С ним что-то происходило: он стал часто по-детски трудно болеть; всегда невнимательно-поверхностный, теперь он остро, наравне с родителями, пе-

реживал выходки беспутного Николашки. А поверх всего — уже стал задумываться над цепью случайностей, над невозможностью совпадений удач и провалов, и над жалостью к себе поднимались снова еще зыбкие, новые построения.

Однажды в воскресенье они всей семьей съездили за город, под Рузу. Наслушавшись в свое время рассказов Кириллова и Вадика, он захватил с собой наивное удище с пробковым поплавком. Ему повезло — был клев, и он пристрастился к рыбалке. К осени он стал законченным рыболовом: обзавелся снаряжением, читал специальный журнал и не хвастался на работе добычливыми местами.

Эти еженедельные выезды как будто измучили Наташу (убедившись, что он отвлекся, что здесь у него, часами сидящего с удочками, не бывает того страшного опрокинутого лица, и угадав его желание), она стала отпускать его, терпя страх до той минуты, пока не узнавала его шаги от лифта к двери.

А он, разложив тихий костерок, валялся на берегу и, всегда мало надеясь на удачу, варил брикетную кашу; и, будь то дождь или солнце, возвращался домой хоть чуть-чуть, но распрямившимся. Он не признавался, что там, особенно если на его глазах менялась погода, вдруг поднимался мощный, порывами ветер, находили клубящиеся тучи и проливной дождь зло лупил по равнодушной земле и, наоборот, ненастье сменялось открытой, щемящей, предзакатной розовой ясностью, в поднимающемся с земли тумане наплывали тончайшие запахи, и тихо расправлялась трава, — там, отторгая что-то изначальное и нежное, в нем поднималась целительная боль и сладко мучила его. Он подчинялся ей, и она, как музыка, уводила его — в мечты, к мудрости вespонимания. Там спланировалась новая программа исследований — лабораторных, безопасных, однозначных по результатам. И там он догадался о значении РНК, внезапно и верно: зачерпывал котелком воду из реки и замер — будто упала пелена и он увидал.

...Наташа позвонила ему на работу, прочитала телеграмму от Любочки.

Он бросился к Герасименко, вызвал его из кабинета в коридор:

— Умерла Коломенская!..

— Все, — скривился Герасименко, вздохнул. — Все, Кузьмин! Можно ставить точку. Поздравляю!

— С чем? — ахнул Кузьмин и едва не взял тучного Герасименко за пацканы лиджака.

— Ладно-ладно!.. — Герасименко похлопал Кузьмина по плечу. В хитрых его глазах ничего нельзя было прочесть. — Мы все знаем о ваших заслугах.

— О каких заслугах? Вы на что намекаете? — закричал Кузьмин. В конце коридора мелькнуло знакомое лицо и спряталось. Открылась соседняя дверь и захлопнулась...

— Доказали псевдонаучность ее направления.

— Будь я проклят! — сказал Кузьмин сквозь зубы, ударил кулаком по стене. — Будь я проклят!..

— Поедете на похороны? — с любопытством спросил Герасименко.

— Я порядочный человек, — сказал Кузьмин. — Я и речу скажу. Если слово дадут.

...Было холодно, все время начинал сыпать мелкий дождь; все дорожки на кладбище были в грязь истоптаны. На ветках лип сидело множество ворон и наблюдало за копошившейся внизу толпой. Когда бухнули колокола на маленькой церквушке, вороны даже не взлетели. Они закаркали, засуетились, едва лишь толпа отхлынула от могилы, заваленной венками, и все поднимали головы, потому что всем, как

и Кузьмину, казалось, что в этом карканье слышатся издевательски-радостные нотки.

Поминки были в большом доме покойной.

Любочка, отозвав Кузьмина на кухню, сказала:

— Я не говорила ей и то письмо не показала.— Она вернула Кузьмину распечатанный конверт с измятым письмом. Любочка была так худа в черном, мешковатом платье...

— Спасибо тебе,— тихо говорил Кузьмин.— Что же будет, Любочка? Хочешь, я поговорю, перейдешь к Кириллову? — Он вглядывался в ее лицо.

— Что я там делать буду, Андрей Васильевич? — сказала Любочка.— Я же на подхвате была.— Она помолчала. Она уж пожалела об этом...

— Что же ты будешь делать? — спросил Кузьмин, беря ее руки.— Будешь продолжать? Не надо.

— Я знаю,— кивнула Любочка.— Жалко только, что мы надеялись. Много народа пришло, правда? И Федор из Москвы с кем-то приехал...

Кузьмин догадался — в толпе он видел энергично скорбящего товарища Н.

— Я вам все испортил... — Кузьмин отвел глаза.— Но знаешь, эта РНК...

— Что вы, Андрей Васильевич, не надо.— Любочка наконец посмотрела на него, и он ладонями почувствовал вступившее в ее руки тепло.— Как вы? — шепотом спросила она. В ее зеленых заплаканных глазах была открытая любовь, и только. Она развязала черный платок, взяла его в руку.

— Я в порядке,— кашлянув, сказал Кузьмин.

На кухню вошла измученная Актриса; ее строгое лицо было по-бабьи мягким, кротким, может быть, из-за такого же черного платка, что и у Любочки. Она брезгливо отстранилась, когда Кузьмин потянулся к ней рукой.

— Воркует? — с усмешкой спросила она, не глядя на отшатнувшегося Кузьмина.

— За что же ты его так! — вдруг заплакала Любочка, содрогаясь худенькими плечиками, и черный платок упал на пол.— Сегодня! Она простила, она! А ты не можешь... Ну что он такого сделал?

— Перестаны! — Актриса обняла Любочку, ладонью вытерла ей лицо.— Не плачь над ним, плачь над ней. Почему ты над ней не плачешь? — спросила она, ужасаясь.— Расскажи ему все, ну, расскажи! Или я расскажу! Говори!

— Я читала ей ваши письма,— захлебываясь, из-за спины Актрисы говорила Любочка.— Да, писала их и читала. Она улыбалась, да! — торопливо, убежденно бормотала Любочка.

— О-о-о! — воскликнула Актриса, повернулась лицом к Кузьмину, и ярость вспыхнула в ее глазах.— Он не понимает! Не понимаете? Перечеркнуть все— все! — о чем она мечтала. И умыть руки!.. Он разочаровался!.. Это... Я... — сказала она, приближаясь к Кузьмину,— я жива! И останусь жить, чтобы быть вам укором, напоминанием, проклятьем! Вы ударили ее последний — значит, она умерла из-за вас! Как называется ваша роль? Только это была не роль!

— Ну, замолчи же! — разрыдалась Любочка и встала между ними, прижимаясь к Кузьмину спиной.— Не слушайте ее, Андрей Васильевич! Она умерла спокойной, да! Почему вам надо взять этот груз на себя?.. Ну, скажи, почему ему? — спросила она Актрису звонко.

— И вправду,— вдруг успокаиваясь, сказала Актриса.— Почему?

Но еще мгновением раньше вокруг них что-то изменилось. Они оглянулись на дверь — там, прижавшись плечом к косяку, стояла Наташа и незнакомой глубины взглядом смотрела на Актрису и Любочку, — и они притихли.

— Идем, Любаша,— со вздохом сказала Актриса.— Надо начинать. Все собрались.

Любочка подняла с пола платок и покорно пошла за ней, мимо непосторонившейся Наташи. Кузьмин усмехнулся белыми губами: «Спасла?»

...За столом было тесно. Он сидел с краю, один: Наташа помогала женщинам на кухне.

Тихо было за столом. Тихо говорили о покойной. Но прорывалось: «Этот, этот!.. С краю сидит... Пусть скажет». Сердце Кузьмина онемело от боли.

«Ну, вот он — я. Казните! Но что же делать, если это тоже война — наша работа. И в ней есть свои амбразуры и минные поля. И ловушки. Но я знаю — она сама хотела найти истину», — вот что он сказал бы, запинаясь и проливая водку, если бы его подняли и спросили. В духоте, Наташей тепло одетый, он вспотел и, как-то недостойно суетясь, хватив наскоро несколько рюмок, вышел покурить.

На крыльце, молча рассматривая моросящее дождем низкое небо, докуривали Федор и Н.

— А-а-а! — обрадовался Кузьмин.— Вот и вся шайка в сборе! — Плюгавый мужчина Н. внимательно посмотрел на него.

— Да вы не обижайтесь, ребята! — сказал Кузьмин.— Я же свой пареня! Венок у меня, правда, меньше вашего, но слова правильные на ленте, буд-то у вас списал.— Сквозь дымку в непрестанно слезящихся глазах он перехватил умоляющий взгляд Федора на Н.— Ты меня извини, Федор.— Федор осторожно кивнул. Он сглотнул слюну и как будто хотел что-то сказать, но оглянулся на Н. и сник.— А хорошо я вас подкузьмил, а, товарищ Н.? — Кузьмин хохотнул.— С РНК, а?

Н. слушал молча, с терпеливой любезной улыбкой. Кузьмин постарался ослабиться как можно более похоже. Его качало из стороны в сторону, и он схватился за скрипнувшие перильца.

— А ведь ты, выродок, сопешься,— как-то отстраненно рассматривая его, сказал Н. очень веско и увел оглядывающегося Федора в дом.

Кузьмин довольно долго стоял на крыльце, прищуриваясь время от времени на калитку — для координации, — и вспоминал: кто же его еще называл так? Его уже тошнило и бросало в пот, но он вспоминал: так кричал отец, когда он, Кузьмин, не мог объяснить, почему же он однажды взял и не пошел в школу: ведь все уроки были приготовлены и он так хорошо знал эту прямую дорогу!

Потом на крыльцо выбежала Наташа и, сразу все поняв, увела его за дом.

На следующий день Кузьмину уехали в деревню, навестили Наташину мать. Вдоль дороги тянулись мокрые осевшие поля и сонный лес, такой покойный, вечный. Захотелось уйти, раствориться в этом покое, слиться с ним и не знать, ни что будет завтра, ни потом.

В Москву вернулись в пятницу; чихающий, с гудящей головой Кузьмин провалился всю субботу в постели, не позволяя приближаться к себе Анюточке и вяло обдумывая предстоящий на следующей неделе доклад в Академии, но в воскресенье утром, прибодрившийся телом и распластаный духом, он суетливо собрал свой рыболовный инвентарь. Он уже натягивал в прихожей штормовку, когда вышла Наташа, встала у косяка, сложив руки на груди.

— Хотя бы дома побыл,— сказала она, следя за ним потемневшими глазами.— То тебя от Аньки не отдерешь, то сбегаешь, неделю не повидишь...

— Ты что, не видишь, в каком я состоянии?! — взревел Кузьмин.— Могу я собой распорядиться когда-нибудь? — Она горько усмехнулась и ушла в комнату. Высунулась Анюточкина головенка, поморгала глазками, поморщила носиком.



— Ньюка! — шепнул Кузьмин. — Я тебе живую рыбку привезу, ладно?

— Не надо, — попросила Анноточка. — Живая ведь рыбка! Скоро придешь?

— Девушки мои, — сказал Кузьмин, приваливаясь к стене. — Отпустите меня, одному мне побыть надо! — И ушел.

Растрепаннейший, по дороге к водохранилищу, Кузьмин купил в магазине бутылку водки — бил озноб, его ломало — и еще днем почти всю ее выпил.

Ночью вызвездило — он не спал, хотя вставать надо было рано, чтобы поспеть на работу. Лежал на спине, вспоминал созвездия, герасименковский гороскоп. «Жулье! — думал он. — Всего не учтешь. И чей путь написан на звездах? Миллиарды душ были до меня и будут после меня, но что осталось от них на земле и на звездах бессмертного? Как странно, — подумал он. — Когда я не имел ничего, казалось — я владел всем; теперь, когда я могу утешиться РНК, я пуст. РНК уже существует помимо меня, крупица истины. (...— Но какими бы буквами ни было что-либо однажды объявлено, — все когда-нибудь уйдет в сноски, в комментарии, — давным-давно говорил В. А., бледнея. — Но не обратится в пыль, и ветер Времени не сдует ее со страниц книг — если это истинно и существует именно в том виде, в котором было однажды сотворено по звездному рецепту и до тебя было в тайне, а теперь стало известно — навеки, навсегда, куда будет Солнце и Земля и не прекратится род человеческого, — и бессмертно! Вот что такое Наука, Андрюша). Узнать, был ли я прав? И так навсегда не права Коломенская? Ну, останови время, Фауст, — засмеялся Кузьмин над собой. — Ничтожество!»

Потом он допил водку, прилег у костра — и заснул тяжелым пустым сном, а проснувшись, почувствовал ужасный холод и сырость, боль в спине и груди. Он побегал по бережку, пытаясь согреться, потом взбодрил костерок — и все под моросящим дождем. Озноб не проходил, наоборот, волнами пробегал по телу, что-то мучительно напоминая.

С воды на берег медленно и неотвратно напоздали клубы сырого тумана, холодный белый диск солнца едва обозначался за низкими тучами. И за спиной был глухой и сырой лес. Собирая снасти, Кузьмин промочил рукава куртки, и вода обожгла его. Тогда он подумал, пряча страх: надо уходить и быстро. Кое-как спрятав в знакомых кустах удочки, надувной матрац и котелок, он пошел к шоссе, срезая угол, через лес, но еще сильнее промок, замерз, побегал, не следя за ориентирами, и, обессиленный, очутился на этой полянке.

...А сейчас он сидел недалеко от стожка, окруженный туманом, задыхающийся в нем, и ждал повторения крика. Потом он вернулся, дополз до стожка, привалился к нему и, смертельно боясь уснуть в этой мертвой тишине и мраке, домучился до утра. Борясь со сном, часто спрашивал себя, иногда вслух: «Какое сегодня число?» — и запутывался. А под самое утро, захлебываясь в холодном тумане, сказал во тьму: «И это все?»

И, как после крика о помощи, все, о ком он сейчас вспомнил, пришли сюда и держали его, не давали провалиться в тяжелый черный сон, теребили его сердце, замирающее от слабости. Он водил глазами по их лицам, таким разным, пытался услышать то, что они говорили, кричали, шептали ему...

«Почему они держат меня? — удивился, подумал он об Актрисе и Н. — А-а-а! После меня, уже потом, они соберутся, объединенные мной, отсутствующим, Филин встанет на мое место, Н. раскроет мою тет-

радь, и они повторяют мой путь до конца, до тупика — ведь я не успел записать об РНК...» — застонал он.

— Держите меня! — сказал он. И держался сам.

Утро пришло неожиданно: только что, с трудом открывая глаза, он едва различал очертания опушки леса, смутные тени, — и вдруг над ним оказалось высокое, серое с голубизной небо, он увидел заиндевевшую солому и клочки посеребренной травы. Туман исчез, дышалось легче.

Солнце еще не вышло из-за деревьев, еще только розовели их верхушки, и молодые елочки на опушке были дымчато-серыми, поникшими.

Кузьмин задвигался, зашуршал сеном, и тут опять раздался крик. Он встал и, кренясь то вправо, то влево, добрался до елочек, уцепился за них. Крик раздался над головой. Поднимая голову, Кузьмин зашатался, упал, перекатился на спину; готовый ко всему, переждав боль, он открыл глаза. Над ним сидела тощая ворона и, вобрав голову, испуганно смотрела на него. Потом она подняла клюв и жалобно крикнула в пустое небо. Он засмеялся; сначала тихо, а потом все громче. Встал, сгибая елочки.

Прекрасный мир стоял у него перед глазами, чистый и холодный. Солнце, наливая светом лес, играло на застывшей ломкой траве, на многоцветной опавшей листве, согревало шляпку старого повалившегося гриба, брызгалось из капельки-дождинки, застрявшей в паутине. А там, за стожком, раскаленная докрасна, в резной пурпурной листве стояла калина, и все оттенки красного разбегались от нее в стороны, как от высокого жаркого пламени.

Великий мир был прекрасен и тих, и Кузьмин улынулся ему одереженными сухими губами.

Огненная калина на другой стороне полянки казалась костром, и он пошел к ней, все торопливее ступая; шатаясь, привалился всем телом к упругим живым ее веткам и поймал губами гроздь налитых ягод. И, зажмуривая глаза, в наслаждении изумляясь силе сладко-горького вкуса сока жизни, упиваясь его многосложностью, теперь рукой он грубо смял ягоды. Живое тепло вошло в его пальцы.

Солнце встало над верхушками деревьев, погладило его небритое, иссохшее лицо, согрело, и долгожданная свобода слабостью тяжелеющего тела, туманящейся головой и предчувствием сладкого долгого сна пришла к нему.

Он вспомнил: в то первое утро после проводов родителей за окнами крестниной комнаты солнце так же торжественно и нежно заново творило мир, открывая его ярким и ясным, незнакомым и неожиданным.

«Вот теперь все!» — понял Кузьмин без страха, потому что стало легко; и, теряя отболевшую, умершую свою часть, обретая свое единое больное тело, тянувшее его к земле, он уступил — заснул, не слыша приближающиеся знакомые голоса. На миг, пораженный шаровой молнией, умер. И проснулся в слезах.

15

Не больничными испытаниями, не долгой болезнью и не мелочными волнениями бытия, а новизной ощущений, новыми мерами боли и радости, ненависти и любви, времени и масштаба началась его вторая жизнь. А еще прежде он услышал: кто-то счастливо смеялся неподалеку. «Хочу туда!» — сказал себе Кузьмин.

Дня не проходило, чтобы к Кузьмину не было посетителя. Но только Актриса не давала о себе знать — и, получив однажды в передаче банку со знакомым вареньем, он подошел к окну. Актриса, присев у подмороженной кучи старых бурых листьев, раздувала под ней огонь... Она ждала Кузьмина там, за стенами клиники. А сейчас улыбнулась ему, благодарно кивающему, улыбнулась, как ребенку, утешившемуся малым. И он свободно и легко улыбнулся ей — Наташа уже увезла его письмо Кириллову. На завтра тот приехал. За ним в палату вошли Маньяк и откровенно радующийся Дмитрий Иванович.

За окном два часа шел тихий упорный снег, пушистый валик вырос у стекла — зима подступала строгой, белая, а они все говорили: о цели, о тактике...

«Папа!» — крикнула с улицы пунцовая от возни в снегу Анюточка. Хлопья падали в ее подставленные ладони. Кириллов, из-за плеча Кузьмина глядя на нее, улыбнулся:

— Ягодка на снегу.

— Свет мой ясный! — шепнул Кузьмин. — Так вот, первоочередное... — глядя на дочку, говорил он.

Он жил еще только свой тридцать четвертый год, и ему казалось — долго: так много он уже знал, так много раз изменялся, отрекаясь от себя прежнего. Но — «на алмазе след оставит лишь алмаз» — теперь ему открылось, что он остался прежним: все, на кого он хотел походить, стали всего лишь его гранями.

Как безличный кристалл, скрипя и воя меж гранильных камней, брызжа искрами, превращается в чисто светящийся изнутри, чуткий к звездному свету бриллиант, обретает стократную ценность и завораживающую взгляд законченность, так и талант Кузьмина освобождался от изначальных несовершенств. Счастливец, так рано узнал наконец он душевный покой: закон бытия — преодоление себя в следовании цели — был усвоен им.

Охраненный величием и мощью своей державы, любовью и нежностью, Кузьмин жил, исповедуя, что мир неделим для тех, кто часть его, что долг души — настаивать и терпеть, а наслаждение разумом — познавать и отдавать.

Он шел к ясной далекой цели, опять и опять опровергая себя, рождая блистательные идеи. Какие слова подставят к его имени! В каком ряду оно прозвучит...

Но нет! Не Кузьмин, а тот, другой, некогда узнанный и взлелеянный им талант, явившийся новый гений, пройдя по стопам своих предтеч, освоив и опровергнув их попытки, прогремев, как шаровая молния, дойдет до цели — ибо цепь попыток и не утраченных для человечества жизней создает знание и энергию, сродни тем, которые подняли человека с четверенек — в небо...

«Скорби, что ты каприз случайной природы — матери всего. Скорби, что воздух, солнце, тайны — тебе случайно все дано. Гневись на это, поднимайся и из крупицы развивайся — в жемчужину, в кристалл, в зерно!»



СТРОГИЙ И ДОБРЫЙ ТАЛАНТ

Журналу «Юности» почти четверть века. Юноши и девушки, читатели первых его номеров, уже взрослые, в расцвете сил и способностей. По-прежнему и они, а теперь и их дети читают (и любят) журнал. Среди авторов журнала с первых лет его возникновения был и остается писатель, исследователь нашей советской жизни, художник и публицист Григорий Александрович Медынский. Он не только автор интересных и страстных публикаций, всегда находивших широкий, скажу, бурный отклик читателей, но и постоянный член редколлегии «Юности», ее советник, помощник, вдохновитель многих идей, возникающих на страницах журнала.

Как многие талантливые писатели, Григорий Александрович пришел в литературу не сразу со школьной скамьи. Был педагогом, воспитателем беспризорников в начале революции, накопил жизненный опыт. Первые же произведения Григория Александровича вызвали благодарное признание читателей.

В романе «Марья», отмеченном Государственной премией СССР, писатель создает выразительный образ сильной и мужественной советской женщины.

Каждая новая книга Григория Александровича ставит новые вопросы, решает проблемы, связанные с жизнью нашего общества. Жизнь эта и героична, и сложна, и трудна, и счастлива. Писатель не бежит от ее противоречий, не идеализирует, не приукрашивает действительность. Перо его прямо и гражданственно. Таким пером написаны «Повесть о юности», «Разговор всерьез», «Честь», «Трудная книга» и все то многое, что создано Григорием Александровичем за долгие годы неустанный труд. Нельзя представить современную педагогическую мысль без его поисков и открытий, исследований и утверждений.

Рассказывая чаще о судьбах неблагополучных, иногда «оступившихся» подростков и юношей, писатель, однако, уверен, что современная молодежь «не растеряла понятий о высоком и чистом, благородном и возвышенном», что она «тянется к героическому» и надо это стремление к героическому всеми силами воспитывать в ней. В том и состоит подмога литератора партии в строительстве коммунизма, утверждает писатель.

Юбилей Григория Александровича тройной и трижды значительный.

Восемьдесят лет со дня рождения.

Пятьдесят пять лет творческого труда.

Шестьдесят лет ладной семейной жизни с Марией Никифоровной. Она заслуженная учительница РСФСР. Ее, прелестную, умную и одаренную девушку, он встретил шестьдесят лет назад и полюбил навсегда. Она шла и идет рядом с ним весь его и свой жизненный путь — верный его друг, советчик, первый читатель его рукописей, первый ценитель и критик его труда и таланта.

Нежно поздравляю их обоих, сердечно желаю им добра!

Мария ПРИЛЕЖАЕВА

Реданция «Юности», авторы и читатели журнала сердечно поздравляют Григория Александровича Медынского со славным юбилеем и высокой правительственной наградой.



**АНДРЕЙ
ДЕМЕНТЬЕВ**



Воспоминание об осени

Какая спокойная осень...
Ни хмурых дождей, ни ветров.
Давай все на время забросим
во имя далеких костров.

Они разгораются где-то...
За крышами нам не видать.
Сгорает в них щедрое лето.
А нам еще долго пылать.

И, может быть, в пламени этом
очистимся мы до конца.
Прозрачным ликующим светом
наполнятся наши сердца.

Давай все на время оставим —
дела городские и дом.
И вслед улетающим стаям
прощальную песню споем.

Нам будет легко и прекрасно
листвою золотою шуршать.
И листьям, как песточкам красным,
в полете не будем мешать.

И станет нам близок и дорог
закат, уходящий во тьму.
И новым покажется город,
когда мы вернемся к нему.

☆☆☆

Доброту не купишь на базаре.
Искренность у песни не займешь.
Не из книг приходит к людям зависть.
И без книг мы постигаем ложь.

Все учились по одним программам,
но не всем пошло ученье впрок.
Тот, как был — так и остался хамом.
Этот вот — от чванства изнемог.

Видимо, порой образованию
тронуть душу не хватает сил.
Дед мой без диплома и без звания
просто добрым человеком был.

Значит, доброта была вначале!..
Пусть она приходит в каждый дом,
что бы мы потом ни изучали,
кем бы в жизни ни были потом.

Бессонница

От обид не лишется,
от забот не спится.
Где-то лист колыхнется —
пропетела птица.

Из раскрытых окон
полночь льется в комнату.
С неба белый кокон
тянет нити к омуту.

Искупаюсь в омуте,
где кушинушки плавают.
Может, что-то вспомнится,
что, как встарь, обрадует.

А рассвет займется —
может, все изменится.
В душу свет прольется.
Ночь моя развеется.

☆☆☆

Вы все о высших проявлениях духа!..
Хоть жизнь сложна, для вас загадок нет.
Поэзия, как мудрая старуха:
что ни вопрос — уже готов ответ.

Вы все о высших проявлениях духа!..
Мне вашу бы премудрость одолжить.
Но к чьим-то болям сердце станет глухо.
Как рядом с горем безмятежно жить!!

А ваша мысль так высоко витает,
что ей себя не в силах превозмочь...
С таких высот не видно, кто страдает.
С таких высот как ближнему помочь!

Вина

За все несправедливости чужие
несу вину сквозь память и года.
За то, что на одной планете живы
любовь и боль, надежда и беда.

Я виноват, что не промолвил слова,
которое могло все изменить:
вернуть любовь — кто в ней разочарован,
вернуть надежду — если нечем жить.

Будь проклято несовершенство мира —
ваш эгоизм и слабый мой язык.
Прошу прощенья у больных и сирых
за то, что я к вине своей привык.

☆☆☆

Я иногда спохватываюсь вдруг:
уходят годы — сделано так мапо.
А жизнь меня и била и ласкала.
Но оглянуться вечно недосуг.

И суета — что океан за бортом...
У каждого из нас такой режим,
что мы сперва принадлежим заботам,
а уж потом себе принадлежим.

И как бы ни сложилась жизнь вначале,
и что б ни ожидало нас потом,—
благословляю все ее печали,
рассвет и вечер за моим окном.

Характер

У мужчины должен быть характер.
Лучше, если тихий, словно кратер,
под которым буря и огонь.

У мужчины должен быть характер,
добрый взгляд и крепкая ладонь.
Чтобы пламя сердце не сожгло.
Можно душу отвести на людях,
лишь бы в сердце не копилось зло.

У мужчины должен быть характер.
Если есть — считай, что повезло.

☆☆☆

И с легкостью нежданной иногда
наносим мы обиды близким людям.
И так потом бывает труден
путь от ошибки до стыда.

Монолог автогонщика

На крутых поворотах
машины выносит в кювет.
На крутых виражах
чемпионы ломают хребет.

Так уж вышло.
Машину мою занесло.
Ты, рискуя, подставил на помощь крыло...

Ничего не случилось.
Такие дела.
Лишь дорога дымилась.
Гонка дальше ушла.

Ты стоял, усмехаясь.
Кровь стирая со лба.
Говорил, усмехаясь:
— Видно, это судьба.

Я молчал среди груды железа.
Я еще в состоянии стресса.
И смотрел, словно видел тебя
в первый раз.
«Не судьба,— я сказал.—
Это ты меня спас».

☆☆☆

Как важно вовремя уйти.
Уйти, пока режут трибуны.
И уступить дорогу юным,
хотя полжизни впереди.

На это надо много сил —
уйти под грустный шепот судей.
Уйти, покуда не осудят
те, кто вчера боготворил.

И лишь соперник твой поймет,
сорвав удачливые кеды,
что был великою победой
тот неожиданный уход.

☆☆☆

Ты вернулась через много лет.
Ты пришла из дней полузабытых,
молчаливо наложив запрет
на мои вопросы и обиды.

Мы с тобой расстались в жизни той,
где цветы и звезды не погасли.
— Сколько лет, а ты все молодой!
— Сколько лет, а ты еще прекрасней!

Мы с тобой друг другу честно лжем,
потому что рады этой встрече,
потому что долго на земле живем,
знаем, как важны порою речи.

Потому что ни обид, ни бед
никогда не вспоминает юность.
Потому что через столько лет
ты ко мне из прошлого вернулась.

Наполеон

Никем не встреченный, нежданный
примчался он тайком в Париж.
Но ни восторгов барабанных,
ни ликований — только тишь.

И, вспоминая Ватерлоо,
метался в гнев до зари.
И, словно траур по былому,
темнел печально Тюипри.

Уже отряхивал колена
мир, ненавидевший его,
что отомстит Святой Еленой
за то былое торжество,

когда кумир ногами топал
в нетерпеливости своей.
И вся монаршая Европа
топилась в страхе у дверей.

...Министр полиции Фуше,
посол его придворной черни,
злорадно радуясь в душе,
ждет от кумира отречения.

Но что-то медлит узурпатор.
Всегда в своих решениях скор,
на самый горький свой парад он
придет прочесть им приговор.

И в руки радостному гному
его вручит. И ахнет враг,
как от великого к смешному
Сир сделает поспешный шаг.





«ЗАПАДАЮТ В ДУШУ, КАК СТИХИ...»

Автор снимков, которые публикуются на этих страницах, один из тех, о ком знаменитая символическая песенка «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом...».

Яков Рюмкин... Назовите это имя в кругу журналистов старшего поколения, и они непременно вспомнят какую-нибудь невероятную историю, героем которой был «вездесущий, легендарный Яша».

Имя это вы найдете в книгах Б. Полевого, Б. Горбатова, Вс. Вишневского, которые тепло пишут о своем боевом товарище.

Оружия излюбленного род он выбрал еще задолго до войны и вот уже полвека не расстается с ним, внося большой вклад в фотолетопись страны.

Где только не побывал за эти годы фотокорреспондент «Правды», а затем — «Огонька» Яков Рюмкин. Снимал первых наших полярников и первого космонавта, первых целинников и первопроходцев сибирской тайги... Это слово — «первый» — всегда было его профессиональным девизом. И в дни мирного созидания и в годы Великой Отечественной, которую прошел он рядом с солдатом. Вернее, как солдат.

Герой Советского Союза Сергей Борзенко писал о нем:

«Мне, как военному корреспонденту газеты «Правда», не раз приходилось выполнять задания редакции вместе с Рюмкиным. Кажется, не было такого фронта, где бы он не снимал. Рюмкина посылали туда, где шли кровопролитные бои, где, взламывая глубокую оборону противника, наши части вели наступление, — словом, фотокорреспондент «Правды» всегда был там, где происходили большие события и было всего опаснее.

...Большинство снимков Я. Рюмкина сохраняет свою ценность и поныне как яркие документы эпохи, образные свидетельства героизма советского народа, воспитанного Коммунистической партией. Многие снимки, сделанные им в годы войны, западают в душу, как хорошие стихи. Порой они суровы и будничны, порой героичны и торжественны, но всегда правдивы и глубоко человечны».

Эти слова с полным правом можно отнести и к фотографиям, которые публикует «Юность». Они рассказывают о героическом времени, о наших сверстниках и сверстницах, чей подвиг навсегда останется для советской молодежи примером беззаветного служения Родине.

П. САНИН





ВЛАДИМИР МОЩЕНКО

Бакенщик

Ветер раздирает туманы в клочья,
Ледокол мгновенно над рекой,
Но старик отчаливал и ночью
По привычке старой фронтовой.

Если спал — так снились переправы,
Снилась ночь и взрывов частокл.
Он дошел с боями до Варшавы,
Ранен был и дальше не пошел.

В гимнастерке выцветшей, в пилотке
По Донцу скользил в крошечной мгле
На своей выдавшей виды подке
С лампой шахтерской на корме.

Ночь с его души снимала камень.
И, спиной ощутив озноб,
Брал он весла влажными руками.
Но течению верил и не греб.

Зеленая ночь

Минутное везенье!
И так ли уж просты
Законы приземленья,
Законы высоты!

В ночи тепло крепчает!
Несется ввысь тепло
И невзначай качает
Гудящее крыло.

А самолет все ниже.
И душу над Днепром
Пленяет вновь Куинджи
Зеленым серебром.

И лишь любовь боится,
Что жить ей до утра,
Как гоголевской птице
Над водами Днепра.

Ночью зеленым этим
Придется быть потом
Меж смертью и бессмертием
Единственным звеном.

Пушкинский перевал

Вставало солнце. И скрипела
Неторопливая арба.
Возница пел, как будто пела
В начале дня сама судьба.

Снега почуяв, кони ржали.
В пыли, мыча, плелись волны.
Увы, с тех пор на перевале
Немало утекло воды.

Где пламя от костра металось
И грелся путник, там, увы,
Не то что углей не осталось,
Но даже выжженной травы.

Так почему ж, поднявшись снова
Сюда, удрал от суеты,
Мы ищем здесь следы былого,
Как ищут осенью цветы?

Все тихо здесь. И вдаль не мчатся
Километровые столбы.
И кажется, что вдруг раздастся
За поворотом скрип арбы.

☆☆☆

Этот снимок сердца, вправду, дивный!
Чудо фототехники! Цветной!
Но признаюсь: дорог мне наивный
Тот рисунок детский со стрелой.

Потому что на рисунке этом
Верно сердца суть отражена.
Перед горем, радостью, наветом,
Видите, душа обнажена.

Вот еще одна стрела вонзился.
Каплет кровь наивно с остря...
Почему сегодня счастлив я,
Что броней сердце не покрылось!

На скорости

Что подумать могли бы вершины
Этих гор, если б думать могли!
Мчится все: самолеты, машины,
Поезда, катера, корабли...

Даже кони — и те поотстали,
Как в замедленной съемке, плывут.
Мы торопимся! Мы опоздали!
Жалко нам не себя, а минут!

Ну, а если летим мы с откоса
Иль в кювет,
Вот тогда и покой...
Только вертятся долго колеса
По инерции, сами собой.



**АЛЕКСАНДР
КАМЕНСКИЙ**

ОПЫТ САРЬЯНА

Однадцатого мая 1972 года Ереван попрощался с Мартиросом Сергеевичем Сарьяном.

Тысячи людей вышли на улицы и образовали живые стены на всем пути траурной процессии — от оперного театра до городского пантеона, где ранее были погребены знаменитые армянские мастера. Их имена звучат ныне как символы культуры Армении: Комитас, Аветик Исаакян, Ваграм Папазян... Теперь и Сарьян занял свое место в ряду бессмертных.

Некстати было бы в этой связи произносить обидное слово «похороны». Происходило высокое действие, торжественное и просветленное, которое сразу же становилось памятной страницей национальной истории.

И когда я бросал по обычаю горсть сухой, зернистой ереванской земли в могилу Сарьяна, то думал не о бренном, а о вечном.

Мне вспомнилось, как двадцать лет назад, когда я начал готовить книгу о художнике и жил у него в гостях, мы однажды поехали «на этюды». Машины вел сын мастера, композитор Лазарь Сарьян. Он остановился где-то близ Эчмиадзина. Мы пошли по полю, затем поднялись на какой-то невысокий холм. Мартирос Сергеевич шел неторопливо, погруженный в себя. Неожиданно он наклонился и поднял продолговатый камень — очень старый, бугристый, иссеченный ветром, Сарьян с необычайной бережностью, любовно, даже нежно принялся поворачивать камень разными его гранями. И вдруг этот бездушный кусок породы обрел пластику, стал чем-то неуловимо похожим и на лицо седого художника, пересеченное тропинками морщин, и на весь окрестный пейзаж, сурово-пустынный, притихший в пелене осеннего тумана.

Сарьян долго рассматривал этот камень, а затем с интонацией спокойного размышления недрогнувшим голосом сказал:

— Как жаль будет расставаться со всем этим...

И направился к этюднику, который был уже закрыт и приспособлен неподалеку. Пейзаж, который он написал в последующие несколько часов («Октябрьский день», 1959), обладал светлой душой; нотки печали в нем звучали, но они лишь оттеняли чувство преклонения перед гармонией и совершенством природы, вечных сил жизни...

Мартирос Сарьян — это не только лидер армянской живописи на протяжении многих десятилетий, не только один из крупнейших представителей многонационального советского искусства, но и вообще один из самых прекрасных и значительных художников XX столетия. Во всем мире.

Что может служить основанием для такого решительного и ответственного утверждения?

В своей знаменитой, пророческой речи о Пушкине Федор Михайлович Достоевский с какой-то поразительной силой душевного взлета говорил о «всемирной отзывчивости» русского гения. Вся история литературы и искусства убеждает, что подобная отзывчивость всегда свойственна любому подлинно гениальному представителю любой национальной культуры. Очевидно, эта отзывчивость — внутреннее свойство и обязательная основа художественной гениальности. Творческая биография великого армянского мастера («варпета») Мартироса Сарьяна — еще одно доказательство такого тезиса. Вот уж кто на протяжении всего пути в искусстве (длинной в восемьдесят лет!) поистине обладал «всемирной отзывчивостью», уверенно и последовательно идя от национального к общечеловеческому.

Дело не только в широте профессиональной эрудиции и общих духовных интересов художника, хотя это, разумеется, обстоятельство первостепенного значения. Ведь с самых юных лет он соразмерял и сопрыгал национальные и «всемирные» начала. Сарьян вырос в армянской среде; языковые, психологические, культурные и иные, многими поколениями выишенные традиции армянского народа уже в детстве были для него как бы воздухом душевного формирования. Тот факт, что по стечению обстоятельств он впервые увидел землю коренной Армении уже взрослым человеком, ничуть не уменьшает значения национальных истоков его творчества. Когда, двадцати одного года от роду, Сарьян впервые увидел южное Закавказье, это была для него не экзотическая сторона, а родной край, верность и любовь к которому воспитали в нем с детства.

Но вместе с тем он с начальных лет жизни чуточно и жадно вбирал в свою душу опыт культурных народов. Прежде всего русской, чей язык был вторым родным языком Сарьяна. И живописи он учился у гениальных русских мастеров — Валентина Серова и Константина Коровина. Долгие годы Сарьян, углубленно решая национальные художественные проблемы, одновременно с этим шел в искусстве рука об руку с замечательными русскими мастерами; его творчество предреволюционных лет составляет неотделимую часть искусства России. В те же годы Сарьян изучает культуры Востока и Египта и Иране, осваивает и широко использует художественные открытия импрессионистов, Ван Гога, Гогена, Матисса, иных выдающихся мастеров разных стран и времен.

Точно так же характер искусства Сарьяна не только в том проявился, что он сильнее и ярче, чем кто-либо из его предшественников и современников, показал особую выразительность природы Армении, в сущности, открыв ее и для искусства, и для зрителей, и даже для художников, которые затем вслед за «варпетом» увидели в разных вариациях и значимых и остро современных аспектах родных пейзажей. Не исчерпывается сокровенный смысл сарьяновского творчества и тем, что он наряду с пейзажами запечатлел облики многих замечательных деятелей армянской культуры и общественной жизни, а в своих театральных эскизах и книжных иллюстрациях воссоздал страницы армянского зноса и армянской истории.

Все это крайне значительно, и все же такое не-

речисление составляет всего лишь «приказку» сарьяновского искусства. Его национальная суть и особос, высшее пазначение состоит в ином.

Ведь творчество Мартироса Сергеевича Сарьяна, еслн рассматривать все произведения великого мастера в совокупности,— это своего рода художественный срез исторических судеб армянского народа, его надежд, его предствлений о нравственном достоинстве, о счастье, о гражданском долге.

Летопись армянского народа глубоко драматична — сколько нашествий пришлось ему пережить, какие унижения и муки связаны у него с многовековым рассеянием, «диаспорой»! А иные страницы этой летописи в самом буквальном смысле слова написаны кровью. Сарьян был непосредственным свидетелем одной из таких трагедий: геноцида 1915 года, когда сотни тысяч армян, живших в Турции, погибли только из-за своего национального происхождения. Художник тяжело переживал эти ужасающие события, долгое время болел, не мог и думать о работе.

А ведь это всего лишь один эпизод многовековой драматической истории. Сколько было иных страданий и горестей!

Но вера в победу светлых начал добра, человечности придавала армянскому народу силы и жесточайших испытаниях тернистого исторического пути. Армянский народ просто бы не выжил, не сохранился без такой убежденности, которая и в его художественном творчестве составляет одно из самых сокровенных духовных качеств. И эпические легенды армян и бесхитростные песни их ашугов пронизывают великая жизнестойкость, всепокоряющая доброта сердца. Эти качества окрыляют армянскую поэзию от «Давида Сасунского» до Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, Егише Чаренца, оказываются содержанием основной дивного красочного богатства орнаментов, миниатюр, росписей, ковров, созданных тысячами мастеров на протяжении столетий. И вот эту-то народную убежденность, что светлые начала жизни неуничтожимы и непобедимы, что красота мира и счастье сопричастия к ней возобладают надо всем иным, с глубинной и проникновенностью великого художника воспринял Мартирос Сарьян. Такую концепцию бытия, как бы вынесенную за рамки всего повседневного и скоропреходящего, он положил в основу своего искусства. В этом самый глубинный, корневой слой национального характера (еще лучше сказать — национальной философии) сарьяновского творчества. Оно придало вековым традициям мировосприятия современное выражение, облекло его в новые художественные формы.

Но в чем, собственно, заключается эта современность и эта новизна, если говорить о моментах образно-стилистического плапа?

В этой связи прежде всего хотелось бы обратить внимание на одну из самых примечательных особенностей искусства Мартироса Сарьяна. Она состоит в том, что художник, изображая реально видимое, вместе с тем стремится к широким поэтическим обобщениям, идет к образу сложным (иногда парадоксальным) путем.

С особой очевидностью все это сказалось в ранних работах мастера, когда он так часто создавал своего рода живописные утопии и легенды. Многие истолкователи не могли подобрать к ним верного ключа. Некогда вульгарная критика попрекала раннего Сарьяна за отклонение от плоскожигейского правдоподобия. Но стилистику мастера, в раннюю и позднюю, невозможно понять всерьез вне его общих поэтических концепций. В картинах десятых

годов у Сарьяна сложно и своеобразно переплетаются конкретные черты подлинной, наблюдаемой действительности и мечтания о такой жизни, в которой ничто не угнетает человека, ничто не омрачает чистоту его чувств и помыслов, гармонично раскрывающихся в общении с прекрасной природой. Конечно же, картины молодого Сарьяна нецело рассматривать как конкретно-жанровые сцены. При всей жизненности отдельных фигур и деталей изображенне в этих произведениях носит в целом иносказательный характер. Зрительскому взгляду предстают воображаемые края безмятежного счастья, обетованные земли свободы и красоты. В такой эстетической концепции опять-таки совершенно явно проступают традиционные черты армянского национального художественного мышления. Ведь армянское искусство — это в большой мере искусство легенд и сказаний, полных героического пафоса и мечтательности, возвышенных гражданских идей и проникновенной лирики.

Эти черты творчества армянского живописца оказались в годы его молодости близки и родственно связаны с лучшими, плодотворнейшими тенденциями всего искусства России начала XX века. Как возторженно и вдохновенно мечтало оно в ту пору! Ведь именно тогда оно подарило миру классические совершенные образы «золотого века» в работах Александра Матвеева и Павла Кузнецова, разрывающих цепи угнетения богатырей Сергея Коненкова, полных трепета духовного пробуждения героев Анны Голубкиной. Оно звенело бубенцами шумных гуляний в картинах Бориса Кустодиева, валось к будущему на сказочно-романтических конях Кузмы Петрова-Водкина, бушевало стихией народных празднеств, лубков и вывесок в озорных, полных блеска смелого эксперимента произведениях мастеров группы «Бубиный валет».

Вся эта стихия празднично-романтической мечтательности, видений свободной и счастливой жизни человечества, разумеется, не случайно возникла. Она оказалась своего рода эстетической проекцией тех размышлений и надежд, которые связывались у российской интеллигенции с революционной ситуацией в стране. Само собой, эта ситуация и эти надежды так или иначе затрагивали творческие судьбы художников всех народов, населявших Россию. «Армянский варнаит» этой тематики в искусстве Сарьяна был лишь органичным проявлением межнационального художественного процесса.

Итак, образная и идейная сущность картин Сарьяна уже с ранних лет его творчества раскрывается не столько в сюжете и развитии, сколько в музыкально-поэтическом строе композиции. Такие принципы взаимоотношений сюжета, содержания и художественно-пластической формы характерны для мастера во все периоды его работы; они стали стержнем, структурной основой его живописной методологии.

Творческий гений Сарьяна раскрыл себя в блестящем в глубоком применении общих художественных закономерностей эпохи.

Кратко говоря, они сводятся к следующему. В XIX веке и ранее (начиная от эпохи Возрождения) живописное изображение строилось как объективный рассказ автора об увиденном. Даже если на полотне запечатлевалось нечто заведомо недостоинное для прямого наблюдения — историческое событие, эпизоды библейского повествования и т. д., — все равно живописец строил свою композицию как свидетельское показание на полотне. Изображаемая сцена словно бы происходила на глазах у зрителя, разворачивалась в рамках конкретного жизненного



Финиковая пальма. 1911 г.

Из произведений народного художника СССР
Мартироса Сергеевича САРЬЯНА. 1880—1972.



**Автопортрет
с маской.**
1933 г.

**Уличка
в Ереване.**
1945 г.





В Персии. 1915 г.



**Араратская
долина.**
1945 г.



К роднику.
1926 г.

факта, подчиненного принципам единства времени и места действия. Точность воссоздания натурно-предметной среды при этом сама собой разумеалась.

На рубеже XIX—XX веков столь совершенная и по-своему гармоничная система мирозерцания испытала в изобразительном искусстве основательные потрясения и постепенно начала уступать место иным художественно-философским концепциям. Такая эволюция, несомненно, была связана с огромными общественными и материально-техническими переменами, которые происходили на протяжении этой эпохи в жизни человечества. Именно эти перемены породили эстетику становления, формирующегося в незавершенного процесса. У мастеров, которые, следуя духу времени, стали разрабатывать новые системы живописного образа действительности, снемфоническая многоплановость и динамика изображения оказываются ядром творческого мышления.

Мартiros Сарьян в числе таких мастеров. В его ранних картинах конкретный факт в мечтательное видение, жанрово-повседневные мотивы и лирическое переживание, законченное действие и еще длящееся, развивающееся событие обретают равные права в образном мире произведения.

Это принципиально новая поэтика. Она побуждает художника вглядываться в подвижный, на глазах изменяющийся мир, причем это мир в целом, показываемый многопланово и широкоохватно. Новая поэтика допускает различные отсчеты времени в разных частях композиции, где могут сопоставляться и объединяться разные типы восприятия и переживания изображаемого. Следующий этой поэтике художник с острой душевной заинтересованностью наблюдает за происходящим, но не подчиняет его полностью своей авторской оценке. Он либо размышляет об увиденном, либо предоставляет самому «высказаться», либо — что чаще всего — соединяет и то и другое. Такая образная структура резко увеличивает значение моментов ассоциативного свойства.

Мартiros Сарьян использовал и оригинально варьировал художественную методологию новой эпохи не во имя узкоэстетических задач, но в поисках человеческого (и человеческого) освоения духовного опыта своего времени. В сложной музыке жизни нашего века он стремился услышать мотивы, в которых есть отзвуки традиций народного мировосприятия. Это придавало целенаправленность его образным решениям и всей его стилистике как в дореволюционный период, так и в советские годы. Это позволило мастеру столь убедительно и гибко соединить вековые особенности национального чувства жизни и позитивный смысл общемировых художественных исканий XX века.

Вот тут-то, в зоне скрещения очень различных и разнохарактерных моментов, и раскрывается огромный исторический масштаб искусства Сарьяна и особые причины его мирового значения. Произведения армянского мастера покоряют не только своей замечательной художественной силой, не только неповторимой характерностью национального интонационного строя. Органично соединив и то и другое на базе современного образно-стилевого мышления, Сарьян выносил в самых сокровенных глубинах своего искусства новаторскую поэзию жизнеутверждения. В том-то и суть, что она повторовская, живая, далекая от привычных стилевых клише и механических повторов. Как народность живописи Сарьяна глубинная, а не показная, так и его оптимизм — естественный вывод из всей системы понимания мира и жизни. Армянский мастер никогда не был оптимистом «во что бы то ни стало». Ему были веда-

ны и горькие раздумья, и драматические переживания, и многие печали жизни. Но он умел и через страдания, опираясь на духовный опыт народа, прийти к высокой философской радости. Тем содержательней, тем человеческой красотой его картин, добытая в глубоких душевных борениях. Тем дороже она нашему времени. Для XX века, потрясенного множеством общественных трагедий и сложных противоречий цивилизации, искусство человеческое, нашедшее свою поэтическую опору в повседневной жизни, поистине драгоценно.

Драгоценно и редко. Ведь кризисные явления мировой цивилизации в XX веке наибольшие утраты, пожалуй, причинили именно изобразительным искусствам. Сплошь и рядом (особенно в периоды после мировых войн) они прониклись духом безверия и отчаяния, теряли гуманистические опоры; потрясенное воображение художников забывало даже «алфавит природы», предметно-чувственный облик бытия. Причины этих драматических обстоятельств сложны и разнообразны, но одним из них, несомненно, является ослабление или полный разрыв связей художников с парадно-национальными традициями.

Сарьян сумел в своем творчестве не только преодолеть этот роковой разрыв, но и достичь такого проникновения в давние, глубинные национальные традиции, какого не достигал никто из его предшественников в армянском искусстве. Вместе с тем он не растворился в традиционных формах и интонациях, а, напротив, сумел основательно развить их на новый лад, дать им подлинно современную трактовку, которая впитала в себя многие достижения мировой художественной культуры своего времени. Потому-то искусство Сарьяна воспринимается не как отблеск былого, а как живое отражение жизни наших дней. Художник сумел придать реалистической методологии новые силы жизненной выразительности и поэтического совершенства. Ощущение красоты и счастья бытия, которое пронизывает картины Сарьяна, возникает как органичное проявление возрожденной на новых основах и творчески примененной к современности народнопоэтической философии жизни. Вот почему картины Мартirosа Сарьяна обладают «всемирной отзывчивостью», устойчивым и год от года возрастающим международным значением.

Метафорический строй, склонность к романтически-созерцательным размышлениям, глубокое сопричастие к стихии народно-праздничных мечтаний о счастливой жизни — все это свойственно не только ранним вещам Сарьяна, но и его работам советской эпохи. Глубокие и сложные образные структуры лежат в основе произведений Сарьяна на всем многолетнем протяжении его творческого пути.

Но в советские годы (особенно явственно — с конца двадцатых годов) эти структуры обретают иную, чем в былые годы, художественную жизнь. Отвлеченный, призрачный адрес места действия сменился в картинах живописца вполне конкретным — он изображает родную ему Армению, включает в композицию многочисленные реалии советской эпохи. В послереволюционных вещах Сарьяна на новый лад применяется система художественного многоголосия. К строго сохраняемой натурной основе подключается «вторая реальность» — позиция автора, который сопрягает с конкретными впечатлениями свои помыслы и мечты. Все это сложное сочетание материализуется в пластике картин, в их колорите, ритме, в градациях света, которые обладают у Сарьяна особо значительной экспрессивной силой. Широкое употребление условных приемов компози-

цин, живописно-пластических средств в советские годы свойственно работам художника не в меньшей степени, чем в его молодости. И это естественно проистекает из метафорической природы образного мира его полотен послереволюционных лет.

Наиболее развернуто вся программно-философская содержательность живописи Сарьяна этого периода предстает в его пейзажах (до революции, к слову сказать, «чистых» образцов этого жанра у него почти не встречается). В пейзажных композициях армянский мастер пытается раскрыть, так сказать, позитивную суть нового времени: связь традиционноподнародных представлений о стержневых началах бытия и порожденного нашими временами чувства красоты, понимания высшего жизненного предназначения человека.

Само собой, в композициях такого типа было бы нелепо искать какую бы то ни было хронiku повседневности. Более того, тут неприменны и обычные мерки суждений о ландшафтной живописи. Пейзажные картины Сарьяна представляют зрителю не только такие-то и такие-то места Армении. Перед нами всякий раз в уникальном образе возникает еще и поэтическое размышление современника, в котором звучат голоса радости и печали, сложного жизненного опыта и мечтательных порывов.

Точно так же в своих натюрмортах советских лет Сарьян не только отдает очередную дань восхищения земной красоте, не только демонстрирует свой несравненный декоративный талант. Философия праздничного восприятия жизни пронизывает и этот жанр сарьяновской работы. Во все эти изображения цветов, плодов, фруктов Сарьян влетает мудрые притчи. Они повествуют о том, как сказочно богаты могут быть впечатления от окружающего нас предметного мира, если складывается возможность увидеть его глазами свободной, творческой души. Тут очевиден еще один парадокс сарьяновского искусства: самый конкретно-предметный жанр его творчества оказывается и самым отвлеченно-мечтательным, самым романтическим.

Наконец, в портретное искусство Сарьяна за советские годы претерпевает любопытные видоизменения. В нем также, если говорить о лучших работах этого жанра, встречается двойная точка зрения на натурный объект. Зритель видит одновременно и реальный облик человека, и проекцию размышлений художника о герое портрета, об его душевной жизни, творческом призвании. Знаменитые сарьяновские изображения Егисе Чаренца и Иосифа Орбели, Александра Таманяна и Аветика Исаакяна, Ильи Эренбурга и Галины Улановой, Ираклия Андроникова и Уильяма Сарояна — это не только обладающие поразительным сходством портреты, это еще и своего рода романтические спектакли, посвященные этим замечательным людям и их творчеству.

Почему, собственно, «спектакли»? Не буду на этот раз давать общие определения, припомню лучше одно из самых прекрасных портретных «представлений» такого рода, созданных Сарьяном. В нем художник изобразил самого себя.

Я имею в виду автопортрет 1933 года, принадлежащий ныне Московскому Музею искусств народов Востока. Это небольшое полотно причудливо по сюжетной композиции, сложно и многогранно по замыслу. Первый план холста, во всю его высоту, занимают два прислоненных один к другому лика: сам художник, сосредоточенный, хмурый, напряженно смотрящий вдаль прищуренным взглядом, — и древняя маска, женская голова, тонкогубая и тонкобровая, с миндалевидным разрезом огромных темных глаз. Любопытно-таинственные и вместе с тем

воплоте реальные взаимоотношения складываются между двумя этими персонажами портретной композиции. Здесь тоже, конечно же, есть система «двойной проекции». Ведь человек в маске живет по отдельности своей жизнью, не замечая друг друга. Они как бы находятся в разных измерениях. Но зрителю предоставлена возможность сопоставлять «действующие лица» композиции. И в этом есть свой особый смысл. Безукоризненная ровность, гладкость форм маски контрастно подчеркивает живую игру мысли и чувства на лице художника. Однако же и маска не просто неодушевленный предмет, она в какой-то мере лицо. И потому, что в картине не только натурный объект изображен, а представлен современник об его образном смысле; и потому, что сама маска некогда была одухотворена безвестным ее создателем, а живописец наших дней отзывчиво воспринял эхо образов давних столетий, красота маски для него и ныне не мертва и не безмолвна.

Таков романтический спектакль, поставленный на «сценических подмостках» сарьяновского автопортрета. В определенном смысле он символичен. Художник повествует тут о творческой переключке с прошлым как об основе своего искусства. По его словам, он всегда «стремился вложить в свои картины и рисунки чувство счастья жизни, восхищение красотой земного бытия, прекрасного, как солнце, горы, поля моей родной Армении». Но ведь это и есть суть традиций народного мировосприятия, народного чувства красоты. Сарьян их возродил и продолжил в ходе общего развития армянской художественной культуры нашей эпохи. И потому его искусство, вступившее в такое глубокое и взаимопроницающее общение с прошлым, уже принадлежит и грядущим временам. Быть может, историк искусства каких-то следующих эпох скажет, что и в упомянутом автопортрете Сарьяна и во многих других его произведениях есть даже не двойная, а тройная проекция. Мы ведь просто еще не осознали, что на сарьяновских полотнах лежит и отблеск будущего, которое великий армянский мастер интуитивно предугадал.

Но хотел бы вновь вспомнить о днях прощания с Мартиросом Сергеевичем Сарьяном.

12 мая 1972 года семья художника и члены делегаций, съехавшихся со всех концов страны, вновь направились к могиле мастера. Я заметил, что к венкам, возложенным вчера, добавились маленькие букеты, которые принесла сюда жительница Еревана.

Образовалась целая гора цветов. Изобильная, пестрая россыпь, резко и звонко освещенная лучами неслепящего ереванского солнца. Над цветами жужжали и кружились пчелы. Жизнь продолжалась и на плоской, голой кладбищенской площадке. Философский парадокс в духе самых извечных народно-карнавальных традиций! И у большинства пришедших сразу же возникла одна и та же мысль: а ведь как прекрасно мог бы изобразить это зрелище Сарьян! Вообще, как ни горестны были переживания этих дней, трудно было не подумать, что даже само прощание с великим мастером несет в себе высокий жизненный смысл. Художник от нас ушел, но формы и краски продолжавшейся жизни выглядели так, будто он сам их создал. Сарьяновское видение мира стало как бы частью современного зрительского восприятия. Оно будет жить и развиваться вместе с жизнью времени.



**АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ,
ЮРИЙ КОЗЛОВ**

СВИДАНИЕ НА КИЧЕРЕ



Весной прошлого года проводили отряд добровольцев, который прямо с комсомольского съезда уезжал на Бурятский участок БАМа, на Кичеру. Это на севере Байкала.

На вокзале ребята плотно обступили заместителя начальника строительно-монтажного поезда № 608 Валерия Фадеева. Не терпелось узнать, как там на Кичере.

— Живем со всеми удобствами, — говорил Валерий. — Выходишь из дому на лыжах — и покатишь с горки прямо на работу. Снегу в этом году навалило — под два метра.

— А если серьезно?

— Если серьезно, в палатках жить не будете. Построили вам отличные общежития.

— Э-э-э, — разочарованно протянул кто-то. — Может, вы и просеку там вырубите и рельсы успели уложить? А мы — так, приедем парад принимать?

— Работы всем хватит. И забот еще предостаточно и проблем... — сказал Валерий.

Хотелось большого дела. Чтоб на новом месте, от самого нуля своими руками.

И вот наше первое свидание с ребятами на Кичере.

...Мы в Нижнеангарске. В тот день было жарко, ни ветерка. И дождика не ожидалось. Рубашки липли к телу, и, как назло, мимо единственного местечка, где можно было скоротать от сумасшедшего солнца, один за другим плыли оранжевые «Магнусы». Они исчезали в леске, который начинался сразу же за поселком около указателя «Кичера — 40 км».

Нам как раз было по пути. «Магнусом» мы давно были бы на месте. Однако с необыкновенным упрямством ждали и ждали обещанного райкомовского «газика». А он все не появлялся, и ожиданиям пошел второй час. Ну где он там? Можно было давно сбежать на Байкал искупаться или зайти в столовку: ели последний раз вчера в Иркутске... Эх!..

Было, однако, нечто, существенным образом облегчавшее нашу участь. За зданием аэропорта в допотопном ларьке полная тетя отпускала яблочный сок большими пивными кружками. Мы по очереди припадали к ларьку — сок был на удивление холодный. Когда пили его, делалось несколько легче. Жара вроде бы отступала, и, располагая временем, можно было спокойно рассмотреть поселок, куда нас занесло сегодня самым первым рейсом.

Поселок был деревянный, одноэтажный, рубленый давным-давно. На ярком солнце да на байкальских ветрах дерево выдубилось и походило теперь на старое, слегка подчеркнутое серебро.

Поселок возлежал между озером и плешивыми гольцами, которые, словно мощная крепостная стена, с места круто брали вверх. Домышки правильными ступенями спускались к озеру, однако делали это как-то робко, нерешительно, словно до сих пор не выбрали, с кем быть — с тайгой, которая начиналась сразу за околней и густо покрывала гольцы до пояса, или с громадой озера, бывшего в этот день лениво-неподвижным, словно свежесаленный коток.

Между тем выбор был сделан давно, без обиды и для тайги и для озера. В поселке жили охотники-промысловики и рыбаки — ловцы омуля. Сейчас их потомки вразвалочку прохаживались около нас, пили яблочный сок и с авоськами в руках сидели на завалинке магазина, хотя отличить с ходу старожилов от приезжих было не так просто. И те и другие одеты были по-городскому пестро, в добротное

и дорогое. Однако прнезжие вроде бы двигались быстрее. Говорили, вкусно проглатывая окопчання, то и дело поглядывали на часы. «Много светлвсь» — как потом определит один старожил... Местные же никонм образом не обнаруживали поспешности, словно спешить было дурным тоном. Они не торопясь размнвали папирогсы, не торопясь закуривали. Говорили медленно, с паузами, смакуя каждое слово. И пили яблочный сок маленькими осторожными глотками, словно это было церковное вино.

Ни дать ни взять два противоположных психологических типа!

Впрочем, и на самом деле они отражали всякую свой жизненный уклад, свое представление о темпах, о подлинных ценностях. При столь разных темпераментах им написано было конфликтовать, а не делать согласно большое и важное дело, каковым было строительство дороги.

Наблюдение это не было лишено основания. Мы в этом убедились буквально в следующую минуту. Выдавший виды «газик» лихо тормознул около нас, и, глотнув очередную порцию пыли, мы разглядели за рулем шофера в ковбойке и берете. На его лице застыла кровавая обида. Рядом сидел наш старый друг, знакомый еще по Тюмени — Сургуту, Валерий Цыганов, первый секретарь райкома комсомола. Валерий тоже был заметно расстроен.

— Опоздали. Вот благодарите Виктора (так звали шофера). Он у нас пунктуальный — меньше, чем на час, не опаздывает...

— Да я кабанчика соседского к ветеринару возил, — обиженно объяснил Виктор. — Подыхал кабанчик. Что — соседей в беде бросать? У нас так не положено.

— А два часа людей манежить положено? — устало сердился Валерий. — С такими, брат, темпами мы БАМ и после двухтысячного года не построим...

Виктор мрачно усмехнулся, мол, не маленький, ничего разыгрывать, и сказал, нисколько не заботясь о почтительности:

— Не построим, потому что товарищи, — он кивнул в нашу сторону, — ... потому что товарищи приедут в Кичеру не в двенадцать часов, а в два?

Цыганов развел руками: не понимает человек, что с него взять!

Мы наверняка опустили бы этот эпизод, если бы он не имел любопытного продолжения.

С грехом пополам — машина долго не заводилась — мы все-таки выехали в Кичеру. Дорога была хорошо накатана, и потому скорость была приличной. Зато любая выбоина отзывалась маленькой неприятностью: то и дело дверцы самопроизвольно открывались. Виктор хладнокровно их захлопывал, бормоча что-то о запчастях, которые вот-вот ожидаются. Это «вот-вот» длится не какие-то жалкие часы, а целые месяцы. И никто снабженцам не выговаривает, потому что люди с пониманием...

Под этот аккомпанемент мы во все глаза смотрели в окна.

Стоял август, благословенная для здешних мест пора. В мягких, пахучих золотисто-зеленых зарослях сосняка, кедровника, тонкоствольной лиственницы было тепло и тихо. Этот лес (именно лес, а не тайга, которая обычно встает частоколом, хитро переплетенным липайниками и прутником. Там приходится идти с топором — «прорубаться», — и очень быстро устаешь, перебираясь через мертвые завалы в бурелом), этот лес, просторный и светлый, неторопливо стекал с гольцов, вершины которых были

прикрыты вечными снегами. Стекал к глади озера, как бы входя в него.

За окнами мелькали причудливые пейзажи: то гигантский гранитный разлом, темно-красный и пупырчатый, как спелый гранат, то след недавнего камнепада, ровно, будто изыскательская визирка, разделенный лесистый склон; то водопад, который, как кисейная занавеска, прикрывает вход в неглубокую пещеру... И еще что-то и еще... Однако сейчас память преподносит более обобщенные картины, и этому трудно противостоять.

Закрыв глаза, и теперь видишь рассветы, когда верхушки гольцов под первыми солнечными лучами становятся похожими на уголья затухающего костра. И день, когда солнце разгуливает по небу, чистому и безгрешному, как холстина на лугу. На озеро нет сил смотреть. Оно как огромный раскаленный добела кусок металла. В озерных заводях вода совсем прогрелась, и лежншь в ней, блаженствуя, словно здесь не северная оконечность Байкала, а теплые причерноморские края. И вечер видится. Холодное ровное покрывало тумана по низинам и распадам. Пугливая быстрая тень и жалобный вскрик птицы, нечаянно сошедшей с гнезда. Крупные звезды над матово поблескивающим, словно фосфоресцирующим Байкалом. Онн зажглись, не дожидаясь, пока спрячется солнце, и с темнотой, набирая яркость, вечным взором вглядываются в черное зеркало озера.

...У нового мостика через какой-то ручей Виктор резко затормозил. Дверцы, конечно, тут же нараспашку, однако Виктор не спешит их закрывать. — Смотрите, смотрите!... А это как называется? — К обиженным поткам в голосе примешивается некое торжество, словно Виктор собрался взять реванш за недавнее опоздание. Мы высказываем из машины. Открылась такая картина.

Некий парень, голый по пояс, загнал и ручей огромный бензовоз и наводил на него лоск.

— Эй ты, ну-ка давай из ручья! — велел Виктор.

Парень и бровью не повел.

— Вот вам Виктор в полный рост, — сказал Цыганов. — Широта интересов, и до всего есть дело: то его трюизла судьба соседского кабанчика, то какой-то бензовоз...

— Да он же озеро безизном травит! — закричал Виктор. — Вы только гляньте, только гляньте!

Мы свесились через перильца. Точно, ручей радужно переливался нефтяными кругами.

— Запиши-ка номер, — сказал Цыганов. — Надо за такое матерально взгреть...

— Да что там записывать, — сказал хмуро Виктор. — Я его сейчас по-нашенскому. — И достал монтировку.

Осталось неясным: то ли парень кончил лоск наводить, то ли решил, что не стоит связываться — все-таки четверо против одного. Во всяком случае, пока Виктор спускался по откосу, наш нарушитель, как опытный наездник в седло, вскочил в кабину и был таков.

Мы тоже поехали. Виктор, почувствовав себя «на гребне», повеселел, разговорился.

Мы слушали.

— Сварила жена в субботу уху из хариуса. Похлебал юшку — вроде бы все в порядке. Принялся за рыбу. Ба! Верите — нет, не рыба — чистый мазут. Откуда? Скажу откуда. Тут недавно бензовоз застрял на речке. В цистерне горячего по горлышко. Тащили-тащили — никак. Решали: чем машину гробить, давай спустим горючку. И спустили.

— Под суд за такое надо! — сказал Цыганов. — Это при наших-то нехватках — бензин в воду!

— Видишь ты какой,— сказал Виктор.— Под суд за бензин. А за озеро?

— И за озеро тоже!

— Ага — «тоже»! — словно бы уличил Виктор.— Голова-то за озеро во вторую очередь болит. Ясна логика — дорогу бы построить, а как — это наплевать.

— Ты к словам не придирайся,— ответил Цыганов.— Не хозяева — варвары и в случае с бензином и с озером... Ну, а если следовать твоей логике — что, дорогу вообще не надо строить?

— Я этого не говорил. Надо, как же не надо. Однако по уму. Рубишь, скажем, просеку — убирай щепу под метелку. Скажу, почему так. Весной с гор потечет — вся щепка в озере. Вот тебе и сор и гниль. И конец нерестилищам...

— Что предлагаешь?

— А работать с оглядкой. Делать дело и не забывать про природу, которая и после тебя должна не одному поколению служить и глаз радовать... С оглядкой на старожилов.

— На тебя, значит...

— А почему нет, если за мной опыт?.. Я дерево на костер рублю только слабое, подсыхающее. Поймал рыбу недомерка — назад его, в озеро... Я...

— Хорошо, хорошо,— перебил Цыганов.— Только как ты все это мыслишь делать? Не с помощью мотитировки, надеюсь?.. Правильно. Так положение только усугубишь... Надо, знаешь, в комплексе да всем вместе... Замечал, может, человек великолепно работает, с людьми ровен, слабого не обидит, выручит из беды, у него интерес к жизни, широкий кругозор. Такой, уверен, природы не осквернит. И мы говорим: это человек культурный. А он что — таким родился? Да нет, конечно! Он так воспитан! Заложили всем строем жизни... Ну а если воспитания не хватает, слабо заложено, да еще попадет человек в естественную неразбериху первых месяцев освоения? А еще, учти, он не бог. Байкал, тайга, горы, как принято нынче говорить,— твоя среда обитания. Он в здешних местах временный, построил, что требовалось,— и ушел! Не потому ли — бензин в реку?

— Спрошу и я,— сказал Виктор.— Что предлагаешь?

— А создавать такие условия, чтобы каждый человек чувствовал себя здесь у нас не случайным, залетным, а в родной стихии, дома. Чтобы был заинтересован лучше работать, содержательнее, с пользой для себя и других отдыхать. Чтоб не сушил мозг, а развивался. Чтобы был простор для выдумки. Короче, чтобы жил полнокровно, а не однобоко — отработал и залег как медведь в берлогу...

— Если для всего этого условия создавать, БАМ точно после двухтысячного года построим,— весело сказал Виктор.— За что-нибудь одно надо браться...

— Почему? — возразил Валерий.— Пробуют же на Кичере. Прямо в процессе дела...

Поселок как бы растворился в лесу и пока не просматривается. Идешь — и чаще всего неожиданно, перед тобой на яркой, освещенной солнцем поляне словно бы открываются обитаемые островки. Здесь островки — новенькие общежития, которые старательно в два цвета красят девушки-малыры. Там островок — каюта из вагончиков: койтора, службы, над которыми как недреманное око денно и нощно светит прожектор. Еще островок — столовая, магазин в свежих смолистых потеках. И еще — аккуратные коттеджи для семейных.

Удалось увидеть Кичеру и с вертолета. Тут карти-

на определеннее, яснее. Виден замысел, план: что сделано и что сделать предстоит.

Внизу просеки, расчертившие на квадраты, зеленый таежный ковер. Некоторые квадраты, как клеточки в ребячьей игре «морской бой», заполнены деревянными кубиками домов. Над домами, сближая картину с ситуацией настоящего морского боя, клубятся дымы. Около других, еще недостроенных, крошечные фигурки людей. Туда-сюда снуют груженные машины. Два трактора-трелевочника хлопочут около поваленных деревьев. А под всем этим вдоль и поперек разливованным пространством, где вовсю кипит работа, жирной чертой легла просека, вырубленная под железную дорогу. Эта линия как бы подчеркивала важность всего того, что здесь делается людьми. А может, она уже подбивала какие-то итоги?

В вагончике-штабе за столом, сколоченным из струганых досок, — Валерий Фадеев. На нем вылинявшая бамовская форма, отутюженная — ни складочки. Лицо покрыто легким загаром. Глаза усталые, но веселые. Смотрят, как прежде, выжидательно, с подковыркой.

Присаживаемся. Стулья не стулья — обыкновенные табуретки, к которым прилажены спинки от старомодной венской мебели.

— Как в лучших домах! — говорит Валерий и добавляет уже серьезно: — Куда ни глянь — везде чего-нибудь не хватает!.. Думаете, по глупости или разгильдяйству прожектор днем и ночью горит? Просто нет пакетных выключателей. А свет-то нужен. Вечерами. Но кто сунется в темноте провода соединять?.. Или вот красим общежитие в коричнево-розовое, а не из-за отсутствия вкуса. Другой краски нет, братцы...

Валерий волнуется, ходит по кабинету, жестикулирует.

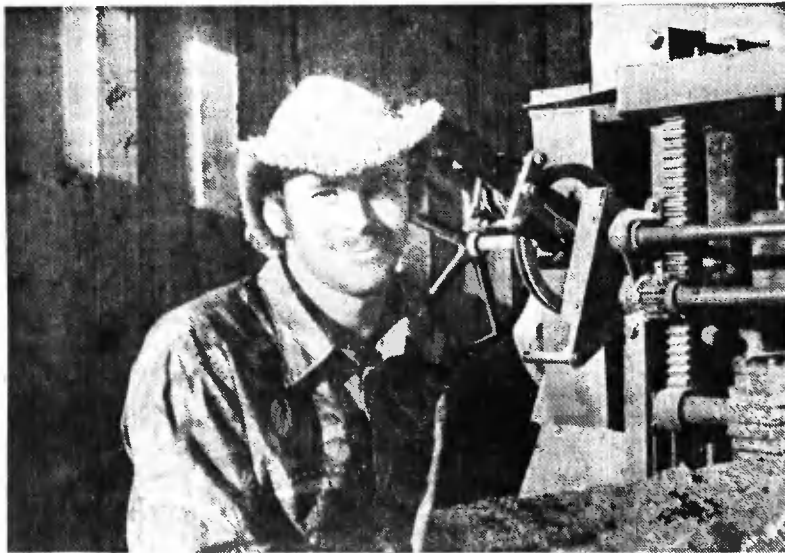
— Эх, начну вам перечислять, чего недостает, пальцев на руках не хватит. А как быть — сидеть сложа руки?.. Тут у нас однажды вышло. Только только бригаду сформировали, отправляем в лес, и выясняется: топоры есть, а топорича — увы! — застряли где-то под Иркутском. У ребят руки опустились. «Тоже мне,— говорят,— стройка века, а топорича не обеспечили!» Мы с Каплиным — тоже заместителем начальника поезда, молодежными делами он у нас занимается — в бригаду. «Что,— говорим,— будем дожидаться, пока с Большой земли топорича придут? Вертолет, может, занарядим?.. Стыдно, братцы!.. А ну за дело!»

— Валерий,— это говорит Каплин,— даром, что сам в прошлом столяр, такое топориче им изобразил — куда там фабричному!

— Главный урок не в этом,— говорит Фадеев.— Главное, ребята поняли, что нечего сидеть, ждать, пока лодку к берегу прибьет. Грести надо самим, грести!

За время, пока не виделись, Фадеев заметно похудел, как-то подобрался. Говорил, двигался резко. В подтверждение слов то и дело рубил воздух ладонью. Озабочен, видно, был изрядно.

В феврале прошлого года в поезде было сто с лишним человек. Месяц спустя, когда на Кичеру приехал отряд имени XVIII съезда, на каждого старожила стало приходиться по три новичка. Триста молодых ребят и девушек из Ленинграда, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края. Припомнились расклады: средний возраст бойцов — двадцать четыре года. В отряде сорок три девушки. Семьдесят четыре человека — коммунисты. Остальные комсомольцы. Фа-



Геннадий Плюхин — бамовский старожил. В Кичеру «высадился» с первым десантом. Сейчас работает на пилораме.

деев сказал тогда, что в Кичере вечерняя школа не потребуется: среднее образование в отряде было сплошным, и около ста человек имели высшее.

Валерий рассказывает нам о принципах формирования рабочих бригад и звеньев из бойцов отряда. И мы думаем, что такое уже встречалось, да не пришлось, а здесь, смотрите, стало правилом, системой.

— Раньше как делали, — говорит Фадеев. — Приезжает отряд, мы ребят по бригадам раскидываем — и вперед! А потом удивимся, разводим руками, почему коллектив не складывается да не клеится дело... Решили сделать по-другому. В общем, наш теперешний сводный отряд формировался на съезде из республиканских и областных отрядов. В каждом имелось свое оперативное руководство — командир, комиссар. Когда ребята приехали сюда, мы не стали расталкивать бойцов по старым бригадам, а создавали новые на основе отрядов с командиром во главе, если он был, конечно, опытным производственником. Расчет оказался верным. Ведь в отряде люди успели притереться, узнать возможности и привычки друг друга. У них сложились отношения. Зачем же ломать сложившееся? На здоровье, работайте... Вот только мы решили разбавить эти бригады самыми опытными своими рабочими. Все-таки слабая у большинства ребят была подготовка, да еще учтите нашу бамовскую специфику. Знаете, как у нас здесь говорят: «На БАМе и гвозди не так, как на Большой земле, забиваются...» Верно подмечено, наши специалисты на этот случай и были под рукой...

Валерий говорит обо всем спокойно, как о привычном. Но мы-то знаем, что совсем недавно среди кадровых строителей почти не было сторонников отрядов-бригад и, прежде чем они были признаны, пришлось поломать немало копий. Так было в Новом Уояне — это по соседству с Кичерой — два-три года назад. И хотя опыт этот был невеселым, заключались в нем все же и жизнеспособность, и перспектива, и будущее.

— Валерий, а ты помнишь, как все было в Новом Уояне? — спрашиваем мы Фадеева.

— В деталях, пожалуй, нет. Я работал тогда в Северобайкальске, и до нас доходили только слухи,

но сейчас мы попытались события восстановить, чтобы взять лучшее и не повторять ошибок, — документы кое-какие собрали. Беседовали с людьми... В общем, там ленинградцы высадили несколько отрядов, которые предварительно обкатывались на «Материке» — в Ленинграде, под Ленинградом. В условиях, приближенных к бамовским...

Все было очень интересно задумано у Фадеева. Сохранилась запись разговора с комиссаром ленинградского отряда Анатолием Кошкиным — приведем для начала ее.

«Тогда многие ломали головы, — рассказывал Анатолий, — как сохранить отряд в условиях сибирской новостройки. У кого-то мелькнула остроумная мысль: а что если попробовать стажировку — стажировку в условиях, приближенных к реальным сибирским? Чтобы люди задолго до поездки во время совместной работы могли хорошо узнать друг друга. Чтобы выявились их моральные, волевые, физические качества и стало ясно, — может ли человек работать в сложных условиях БАМа. Ленинградский обком комсомола поддержал нас, и мы собрали отряд в Кингисеппе. И там были объявлены условия нашей работы и жизни: коммуна. Условия жесткие: сухой закон, безоговорочное выполнение решений штаба отряда, командира, комиссара; непременное участие в соцсоревновании; досуг — спортивные и культурные мероприятия... Ребята, вступившие в отряд, как правило, уже отслужили в армии. Семейных мы не брали, была такая установка: брать холостых, имеющих опыт работы на производстве и обязательно рекомендованных райкомом комсомола. Причем характеристика давалась не формальная, а развернутая — штаб имел полное представление о будущем члене стройотряда... Стажировались два с половиной месяца. За это время отчислили из отряда двадцать пять человек. Нарушителей. А всех нас в Кингисеппе собралось 150 человек — из Ленинграда и области. Между прочим, Кингисепп был выбран не случайно. Там возводился химический комбинат — ударная комсомольская стройка. Условия были близкие к боевым, бамовским. Конечно, трудностей поменьше — Большая земля, но все-таки сложные условия

новостройки. Это одно. Другое — стажировка на стройке давала возможность нашим бойцам приносить реальную пользу — мы работали, строили всерьез, а не лабораторно, как это было бы на каком-нибудь учебном комбинате. Жили мы в благоустроенных общежитиях. Столовая — под боком... С полной отдачей работали все наши общественные организации. Я как комиссар беседовал с каждым бойцом отряда и, таким образом, по окончании стажировки знал настроение каждого, знал, кто чем дышит.

Перед отъездом приняли присягу. Каждый дал клятву трудиться с полной отдачей сил на строительстве БАМа. Хотя, конечно, никакая клятва не могла связать так, как совместная работа в Кингисепе... Когда приехали в Улан-Удэ, стало ясно: наш отряд разбивают. Трест один, а базовых точек две: в Северобайкальске и в Уояне. Кому куда ехать — сложный вопрос. Большинство рвалось в Уоян. В Северобайкальске место было уже обжитое, а в Уояне — ничего. С нуля надо начинать. В конце концов скрепя сердце разделились. Я попал сюда, в Уоян. Видели палатку в центре поселка? Мы ее оборудуем под музей — первая палатка Нового Уояна...

Некоторое время спустя после описываемых Анатолием событий один из нас побывал в Новом Уояне, и этот день живо запомнился. Вместе с автоколонной, которая везла в поселок щиты для детского садика, пришлось преодолевать только что пробитый тысячекilометровый меридианальный зимник вдоль берега Байкала. И первая встреча в Уояне — с ленинградцами.

Вспоминается, как ясным холодным утром колонна вкатилась в поселок. Поселок — десяток добротных из бруса домов вдоль единственной улицы и палатки в глубине чистого сосняка. На обочине люди — в полушубках, унтах, валенках. Ресницы, бороды, усы, меховые воротники щедро опущены ниже. Мороз в тот день был минус пятьдесят. Тогда подумалось: «С чего это встречают как самых высоких гостей? День нерабочий? А может, нет иного развлечения?» Позже, когда сидели в жарко натопленной палатке и пили густой чай, многое прояснилось. Наша колонна привезла в Новый Уоян не просто щиты для детского садика, а дело — работу, по которой за все предыдущие месяцы ожиданий ребята изрядно соскучились. Без дела сидела тоска по дому, по Ленинграду, и казалось, что пустой затеей оборачиваются тот порыв, тот энтузиазм, то горячее ожидание встречи с БАМом, которыми жили в Ленинграде и по дороге сюда, да и первые недели на этой суровой земле. «Сейчас все помаленьку налаживается — зимник! А раньше, представляете, один топор на пятерых...»

Приходилось наблюдать, как в ситуациях куда более простых люди не выдерживали испытания. Здесь же все было по-другому. Во всяком случае, у ленинградцев, в ленинградском отряде. За самые грубые месяцы, когда и зарплата, по выражению ребят, едва-едва «капала», они не потеряли (тоже их выражение) ни одного человека. Что удержало? Как не разбежались, не разбежались по домам? Эти вопросы тогда вертелись на языке. И вот что было отмечено: «Мы еще в Ленинграде были готовы к тому, что поначалу нас ждут трудности. Нам не сулили золотых гор, и поэтому не было драм и глубоких разочарований. Пережили все. Теперь, сами видите, вроде налаживается...» «Мы с самого Ленинграда вместе. Привыкли подчиняться коллективному решению. Решение было — держаться... Один раз, правда, дали

волю чувствам, накатали горестное письмо в Ленинградский обком комсомола, а отослать так и не отослали — что подумают об отряде?»

И опять слово Анатолию Кошкину:

«Я думаю, тут главную роль сыграла предыдущая совместная работа, тот дух единения и дружбы, возникший в отряде в Кингисепе, который нам удалось сохранить и в Новом Уояне... Что оказалось явным минусом — мы были недостаточно информированы. Думали, будем строить постоянный поселок в Северобайкальске, и в основном готовили специалистов по бетонным работам. Мы были уверены, что готовим людей по профилю будущей работы. Вышла серьезная неувязка: перво-наперво требовались плотники, лесорубы... Я хочу, чтобы на наш опыт обратили внимание, потому что в нем заключен серьезный урок для сотен и сотен отрядов, которые еще приедут в Сибирь. Ведь освоение понастоящему только начинается. Как, например, не учесть ошибку «Нижеангарсктрайстроя», головной организации на Бурятском участке БАМа, которая не посчиталась ни с общественными, ни с производственными принципами наших отрядов. Нам доказывали: вы рабочие СМП, и только. Никаких комиссаров, командиров, никакого самоуправления. Мы отвечали: да, мы рабочие, но у нас готовая комсомольская организация, у нас готовый коллектив художественной самодеятельности. Надо сохранить наше структурное деление. Поставить командиров и комиссаров мастерами, начальниками участков...»

Когда мы кончили читать рассказ Кошкина и коротко поделились своими уоянскими впечатлениями, Фадеев сказал:

— Не перестаю удивляться, как это в Уояне не уловили преимуществ таких отрядов. Фактически им достался готовый коллектив. Тут пока людей собьешь в одно целое, вечность пройдет...

— А если бы и уловили, — сказал Саша Каплин. — Что толку?.. Большинство ребят были бетонщиками, а первые годы, знаете, здесь бетонщику делать почти нечего. Просека, дома, мосты — это все для лесорубов и плотников. Сами ребята прощали, и весь сказ. Трудно разве было связаться со стройкой, выяснить, какие специалисты здесь в первую очередь требуются? По главному вышла промашка...

— Немудрено, дело новое.. А в нашем отряде что — один к одному лесорубы да плотники? Однако ничего, справляемся... — Фадеев рубанул ладонью воздух. — А знаете, все-таки меня как-то согревает, что в тяжелейших условиях — работы нет, специальности не те, топор один на пятерых — и не сдрейфнули. Тут, братцы, спаянность должна быть великая!

— Да они же не работали, — запротестовал Саша. — Они, как бы это сказать, выжили: у них это «идефикс» стало — продержаться...

— Значит, и впрямь моральная подготовка была настоящей, — сказал Валерий. — А если такому коллективу дать настоящую работу? И не изматывать неустойчивостью, не разгонять по разным углам, а хотя бы как у нас — развить опытными рабочими, да они бы горы свернули. Я это по нашему отряду вижу. Знаете, настоящий взрыв инициативы и выдумки. Слышали что-нибудь о нашем «Самострое»? А о магазине «Молдова»? — Фадеев довольно усмехнулся. — Поживите у нас с неделей, мы вам в спектакль покажем. Хотите самый модный — «Заседание

парткома?». Бригада Бондаря — лесорубы, целый самодельный театр, по всему БАМу гремит...

Он закрутил телефонный диск, попросил срочно пайти и прислать в контору комсорга.

— Сейчас придет Владас. Он все разобъяснит и покажет...

— А сколько у вас ребят уехало? — был наш вопрос.

— Семеро, — сказал Фадеев. — Из нашего сводного отряда только ленинградцы и белорусы прошли, так сказать, предварительную обкатку и еще на месте отсеяли людей случайных. Остальные собирались по старинке. Разнарядка райкома, и ты попадаешь в отряд. Отсюда отсев... И другое. У нас далеко не райские условия. Баня — в вагончике. Кино крутим, где придется. Сейчас вот строим школу, детсад, ясли, овощехранилище — торопимся, ребята вон в три смены шпарят... Тяжело бывает, что скрывать. Не каждому под силу — уезжают. Не могут взять в толк, что отставание соцкультбыта неизбежно. Мы сюда не на курорт приехали — строить дорогу...

И тут взорвался невозмутимый Саша Каплин.

— Для кого мы дорогу строим? Для медведей, что ли? Когда я на другой стройке работал, у нас все было поставлено иначе. Сначала прекрасные утепленные общежития строили. Там канализация автономная, горячая, холодная вода, душевые. Комнаты оборудованы — мебель, радио — все есть... В общем, сначала поселок, а потом объект... Дорого это? Да, дорого. Но зато сколько времени экономится, сколько человеческой энергии... А мы тут воду со сважины возим, без канализации мучаемся. На весь поселок — две вахтовые машины. В выходной день народ на Байкал свозить не можем. — Саша перевел дух. — Ты вот говоришь: взрыв энтузиазма, инициативы. А по-моему, ребята за месяц-другой вдоволь насытились романтикой и теперь с удовольствием, насколько это возможно, создают здесь условия, соответствующие своим развитым потребностям. А что это значит? Это значит, напрочь устарела точка зрения, что здесь мы можем жить, всячески ограничивая себя, лишь бы дорога строилась. Мы должны жить нормально. В условиях, приближенных к городским. Теперь за это голосуют действием — вот откуда наш «Самострой».

— Да не горячись ты, — говорит Фадеев. — Пойми, здесь не Московская область. Позвонил, и тебе в течение дня по асфальтику доставили все, что надо. Здесь, сам знаешь, каждую мелочь за тридцать земель тащишь. — Фадеев на секунду призадумался. — Вот давай рассудим. Представь, ты в Улан-Удэ, у тебя два грузовика и решение на выбор: отправить к нам сюда за тысячу с лишним километров пятьсот штук шпал для дороги или пятьсот рулонов линолеума. Твое решение?

— Я лично ему отправлю, — не задумываясь сказал Саша. — Пусть людям уютней живется...

— Вот и ошибочка. Хотя бы половину шпал прихватил. Шпал нет — нет работы. А без дела какая радость в линолеумных полах?.. Особая тут ситуация, брат. Надо учитывать. — Фадеев вдруг широко улыбнулся. — А вот насчет развитых потребностей ты здорово сказал. Только я думаю: а почему в других поездках инициативных ребят все же меньше? Что тут?

— Наши чувствуют, наверно, что не зажимаем. Что во всем идем навстречу. Что не лезем по мелочам. И потом поощряется, когда ребята сами придумывают, сами дело делают, сами оценивают. Помоему, для человека нет стимула важнее...

Саша сказал все это уже спокойно, не торопясь, подбирая слова, однако видно было, что в споре с Фадеевым он остался при своем мнении.

— Владас, а сколько тебе лет?

— Двадцать три.

Он высокий, светловолосый, с аккуратно подстриженной бородкой. Идет чуть сутулясь, широким неспешным шагом. Рукава чистой рубашки закатаны по локоть... Солнце садится, и жара постепенно спадает. Густым облаком заходили комары. Мы накидываем на голову капюшоны штормовок, а Владасу ни почем. Он говорит приятным низким голосом:

— Комары здесь, как собаки: своих не кусают, а чужим проходу не дают!

Владас Зигмутас — тогдашний секретарь комитета комсомола поезда. Был комиссаром литовского отряда. Работал лесорубом, пока вот, как сам говорит, не выбился в комсомольские вожаки.

Мы только что из комитета комсомола. Рассматривали там стенды с фотографиями. Вот отряд вступил в поселок, идут по глубокому снегу ребята с чмодами. Вот митинг, на трибуне Фадеев и начальник поезда Георгий Яненько. А вот, видимо, идет заселение общежития.

— Ребята, которые строили для нас общежития, — говорит Владас, — сами пошли жить в палатки. Видите, как нас здесь встречали.

Мы идем по поселку, встречающие девушки задумчиво поглядывают на Владаса.

— Что, Владас, — спрашиваем, — жениться еще не надумал?

— У меня в Литве невеста, — говорит Владас. — Она консерваторию закончила. Преполагает в музыкальной школе. Вот приехать сюда собирается, посмотреть. Пишет, откроете в Кичере музыкальную школу, останусь...

— Постараться надо, Владас...

— Откроем, даже если невеста не придет, — обещает он. — В Северобайкальске вон создана целая школа искусств. Мы что, хуже?..

В Литве Владас работал слесарем-наладчиком автоматических систем. Работа тонкая. Интересуемся, легко ли было «перековываться» в лесорубы.

— Куда там, — говорит Владас, лениво отмахиваясь от комаров. — Пила «Дружба» трещит, как мотоцикл. А я сам мотоциклист. Первое время думал не о том, чтобы дерево грамотно спилить, а как бы пила не укатила. Смех!.. Хотя, знаете, было бы куда проще, если бы нас дома подготовили так, как белорусов или ленинградцев. Они на следующее утро после приезда встали — и на работу. А мы мнемся, ежимся. Где у дерева комель, и того не знаем. Спасибо местным ребятам. Асы. В два счета всему обучили. И потом нам было легче — пример белорусских ребят был перед глазами. Старались тянуться за ними, не отставать. И они охотно помогали.

Был конец рабочего дня, и по просекам и тропкам тянулись к жилью ребята и девушки. Впрочем, «тянулись» — не то слово, комары вопреки заверениям Владаса, заставляли и «своих» прибавить шагу. И нередко в руках ребят, как опахало, нервно покачивалась зеленая ветка.

Однако никто, пожалуй, не проходил мимо небольшой, но изрядно вытопанной площадки. Там на столбе красовался новый почтовый ящик. Все знали, что почта прибывает по таким-то дням, и все-



Свадьба на БАМЕ.

таки каждый раз испытывали судьбу: а вдруг пришла внеурочно.

Почтовый ящик на этот раз был забит. И письма в ярких конвертах кучей лежали прямо на земле.

— Скучают? Переполены впечатлениями?

— Есть такое, — ответил Владас. — Но Кичера особенно задала работу Минсвязи после того, как официально был разрешен «Самострой»... Понимаете, народ у нас молодой. Почти у каждого на Большой земле жених или невеста. А то жена или муж. Общегития рассчитаны на холостяков. А «Самострой» открыл возможность людям соединиться и преспокойно жить семьей здесь, на Кичере.

Наверное, ни одна новостройка, будь то город или поселок, не обходится без спутников, которые, как грибы, растут по окраинам. Этот бич городов, который народ окрестил «шапхаями», «нахаловками», по сути и есть самострой, с маленькой, правда, буквы. С его помощью люди, используя самые разные подручные средства, времени решают свои жилищные проблемы.

Наверное, и Кичере не миновать было своей «нахаловки». Однако начальник 608 СМП Георгий Яненко (его, к сожалению, в наш приезд не было. Он «пробивал» в Улан-Удэ приставку для телеретранслятора — скоро Кичера должна была принимать Москву) так вот Яненко с неожиданной легкостью одобрил предложение толковое и остроумное. На участке, предназначенном для типовых двухэтажных домов, вводить которые по плану нужно будет только через год-два, ребята предлагали сегодня строить двухквартирные домики методом народной стройки. Все было рассчитано: просека давала сколько угодно строевого леса, пиломатериала работала здесь с первых дней. А главное, предложение соответствовало желанию большинства жителей Кичеры.

Годится!

— Дело организовали так, — рассказывал Владас. —

Из каждой бригады выделялись один-два человека, как правило, люди многоопытные. Они и копались у домиков, а бригада делала за них работу на объектах. Ну, а после работы и в выходные дни собирались на площадке «Самостроя» все вместе.

Мы видели самостроевский поселок. Некоторые домишки уже поднялись под крышу, и, заглянув в оконный проем, можно было вполне представить будущие апартаменты — две комнаты, кухню, прихожую и кладовку. Каждая мелочь здесь делалась с любовью. Щели между брусками были тщательно законопачены. Углы заведены без малейшей погрешности.

Около одного домишки нашего провожатого окликали:

— Эй, Владас, у тебя пожарник есть знакомый?

— А ты что, уже горюшь или только дымишься? — весело переспросил Владас.

Собеседник Владаса назвался Ярославом Коробко и был бамовский старожил. Строил Улькан. Здесь, гордо сообщая, собирался осесть капитально.

— Нравится. А квартира будет. Только без веранды. Пожарники зарубили. Говорят, расстояние между домами не позволяет. А куда я ребенка в колясочке буду ставить, комарам на съедение?

— Да есть ли у тебя ребенок? — засомневался Владас.

— Нет, так будет... И потом, какой дом без палисадника? Я, например, здесь и помидоры и огурцы собираюсь выращивать.

— Это как? — любопытствовали мы. — Здесь же вечная мерзлота!

— А в ящичках на ножках. Засыпаешь в ящик землю. Солнца здесь предостаточно. Растет себе закуска!

Владас обещал разобраться с пожарниками. Ярослав взял за гопор.

— А знаете,— говорил Владас.— Почта у нас обширная не только туда, на материк, но и обратно. У меня в комитете — гора писем. Просят принять на работу. Земля слухами полнится, будто у нас какие-то особые условия. А по мне то же самое — и климат, и неустраиваемость, и зарплата в конце концов...

А что привлекает?

Когда осматривали общежитие, великолепное, утепленное со всех сторон десятимиллиметровой фанерой, с большими, светлыми комнатами, — знаменитое бамовское общежитие, предмет вожделения всех сибирских строителей, в одной из комнат мелькнуло знакомое лицо.

— Владас, а эту девушку не Ленкой ли зовут? Она ленинградка?

— Ленинградка, точно... Что, встречали?

— Да вроде бы еще в Новом Уояне...

— Так давайте зайдем!..

На столе немислимой густоты чай. С опаской его прихлебываем, потихоньку оглядывая комнату. Стена над каждой из четырех кроватей — маленькая история жизни и девичьих привязанностей. Вот это, видимо, место Лены. Гравюры: «Решетка Летнего сада», «Петропавловская крепость», фотография пожилой пары. Родители. Сама Лена — в шубе, унтах, огромной меховой шапке. Еще какие-то снимки.

Лена рассказывает:

— Действительно, дождались мы в Уояне лучших времен. Никто назад не уехал. Все, казалось бы, постепенно поправилось. И работа нашлась, и специальности мы получили, и по зимнику привезли необходимое — в том числе и бензин. Было тесно, чем «Дружбы» завладевать, и машины по поселку забегали... Порядок, словом. А в душе, знаете, что-то оборвалось. Видно, сказалось напряжение тяжелых месяцев. Я уехала домой. Мама была рада. «Господи,— говорит,— ну, кажется, теперь на всю жизнь набабилась! Или опять потянет?» Устроилась я на работу по старой специальности — чертежницей. Все вроде бы нормализовалось, а, знаете, читаю газету, там, где про БАМ, стараюсь пропустить. Гложет тоска, и все. Однажды радиостанцию «Юность» слушала, концерт по заявкам бамовцев. Вдруг фамилия знакомой девушки звучит — с ней тяготы все перенесли... Эх, думаю. Назавтра рассчиталась, купила билет за свои деньги — и сюда. Прихожу в контору, а мне: «Уборщицей можем оформить или сторожем». А я им: «Вы что, с ума сошли, да я с «Дружбой» управляюсь лучше, чем иная мастерица со швейной машиной!..» Взяли...

Лена подливает нам чаю. Лицо у нее тонкое, красивое и строгое. Смотрим то на фото, то на Лену, сравниваем. Она ловит взгляд.

— Волосы пришлось покороче остричь. В лесу мешают.

— Вернулась, стало быть, потому что переживала — все друзья здесь, а ты как бы их бросила?

— Да нет же... Тогда уже меня никто не держал и не порицал. Наоборот. Все понимали — перенапрягалась... Дело тут в другом. Попробую объяснить. Работает у нас бригада плотников Саши Задорожнюка. Они из молдавского отряда. Дали им объект — магазин. Объект как объект — серое скучное здание. А видели, что они там понаделали? (Видели. Это действительно здорово. Полки изрезаны орнаментом. На стенах деревянные миниатюры — девушки с распущенными волосами, аисты, кисти винограда, пастухи в папах.) Что им за это — втрое заплатили? Или посулили ковер вне очереди? Нет. На то была их добрая воля. И я уверена, идут ребята утром на работу и с удовольствием на свою работу

смотрят. Это дает, по-моему, и необыкновенное ощущение собственной значимости и нужности людям... Вот чем ценна для меня Кичера. Здесь ты видишь плод своих усилий целиком. Была тайга, и вдруг вырос поселок. Третьего дня речку вброд переходили, а теперь уже народ торопится по мосту, сработанному твоими руками... И еще привлекает простор. Тут только надо быть щедрей, а место, где можно приложить способности, талант, всегда найдется!..

Возвращались из Кичеры. Валерий Цыганов заинтересовался у шофера Виктора, поправилось ли ему в поселке.

— Суетятся много,— сказал Виктор.— У меня с непривычки голова разболелась. В Нижнеангарске-то тишь и благодать. Но, знаете, одно определенно произвело впечатление. Там они себе домики строят — отличные домики, и здорово строят. Так можно работать, когда хочешь поселиться у Байкала навсегда. А я рассуждаю так: если человек рассчитывает на постоянное, можно вполне ему природу доверить. Кто, скажите, будет рубить сук, на котором сидит?

— Хитришь ты, Виктор! — сказал Цыганов.

— А чего хитрить? Наша нижнеангарская молодежь поразъезжалась — одни старики, считай, в поселке. А край-то богатейший — его без молодежи не поднять. Если люди всерьез приехали, как их не принять.

В Нижнеангарск приехали поздним вечером.

...Кажется, совсем недавно были на Кичере, а ведь не узнать, говорят, теперь поселка. И общежитие построили, и городок самостроевский разросся. Есть новая школа, детский сад-ясли, клуб. И даже танц-веранда собственная. Кичерцы ни в чем не хотят уступать своим сверстникам — горожанам с Большой землей.

Растет поселок, углубляется в тайгу трасса — растут люди, на глазах меняются судьбы. Прилетел с Байкала наш товарищ: «Цыганов-то теперь — секретарь парткома мостоотряда, и Каплин в райкоме партии работает... Уступили место молодым!»

А самим-то — только-только под тридцать!

Быстро растет здесь смена.



Фото
С. СЕМОВА.

«ЛЮБОВЬЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ...»

(Письма наших читателей)

В журнале «Юность» № 5 за 1978 год было опубликовано письмо молодой свердловчанки Елены Котельской «Год назад я вышла замуж...» Проблемы, затронутые Еленой, не оставили равнодушными наших читателей. В редакцию пришло свыше тысячи писем. В десятом номере нашего журнала за прошлый год была напечатана первая подборка писем читателей. Сейчас почти изучают социологи. Они вместе с читателями — авторами писем — примут участие в очередном заседании «Клуба юных», отчет о котором редакция планирует напечатать в одном из номеров этого года. Тема: современная молодая семья. А пока — вторая подборка читательских писем.

«НИКОГДА НЕ ОБИЖАЙТЕ ПЕРВЫМИ...»

...Как я понял — детей они не имели. А если бы имели, да не одного, как тогда?

Ведь проще расстаться друг с другом, чем мужу с женой и детьми, чем детям с отцом или матерью. Конечно, можно и не расставаться, а просто, как говорят, «жить для детей». Можно и так, но что в душе у супругов? Эта семья уже несчастливая.

Трудно, особенно в молодости, удержаться от взаимных упреков. Сейчас я могу сказать: «Берегите своих близких, берегите от первых обид, никогда не обижайте первыми — это и будет одна из ступенек, которая ведет к счастливой жизни».

Счастье не только нужно беречь, хоть и это не легко, его нужно уметь строить, возводить, а значит, нужны и терпение, и выдержка, и крепкие нер-

вы. За счастье нужно бороться, стоять горой, а не уходить в сторону и «ставить принцип» — ведь это уже ступенька не к счастью, а к раздору. Помните, как у Щипачева:

«Любовью дорожить умеете,
с годами дорожить вдвойне».

Владимир КОСЕНКО

г. Чирчик.

«ГЛАВНОЕ НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ...»

Хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу письма Елены Котельской «Год назад я вышла замуж».

Трудно в жизни принимать и давать советы. Но еще труднее самому человеку принимать правильные, глубоко осмысленные решения. Для этого надо очень хорошо себя проверить и поверить в справедливость совершенных действий. Нужно учиться узнавать и понимать людей. Надо постоянно думать, потом действовать, заранее зная цель.

Елена пишет, что вышла замуж, «хотя особого, знаете, как в романах, чувства не было». А что, простите, было? Обыкновенное влечение? Что толкнуло на решение выйти замуж на второй неделе знакомства?

Найти «милого, внимательного парня» проще, чем найти настоящего друга. Ошибка Елены в том, что он ей не был и никогда не будет другом. Пусть они ходили вместе в театр, кино и т. д., они на все смотрели по-разному, чувствовали по-разному, значит, и понимали по-разному. И вот в трудные для Елены времена это с болью для нее ощутилось. Она ведь жила в свое удовольствие, пока мать мужа не умерла. И на нее, как на женщину, легла вся нагрузка, а муж как привык, так и продолжал жить, не замечая, может быть, даже сознательно, происшедшей с ней перемены. И Елена пошла на конфликт, перестала стирать, мыть, засела за самообразование. Поздно. Поздно она стала самообразовываться...

А ведь нить жизни была в руках самой Елены. Посмотрела бы пристальнее на своего будущего мужа, а не на апартаменты, думаю, поняла бы, что это за человек. Но, как говорят: «На ошибках учатся».

Елене желаю всего самого доброго, для этого у нее есть все. Главное, только не потерять себя. А может быть, то, что случилось, — на пользу. Как говорят: не познав горести в беде, не узнаешь радости в жизни.

Ирина ЦИТКО,
студентка, 21 год.

(г. Кемерово.

«МЕНЯ НИКТО НИГДЕ НЕ ЖДЕТ...»

В № 5 журнала «Юность» я прочла письмо Е. Котельской, которая рассказала о своей судьбе. Я тоже только год замужем. Мне хочется поделиться своими мыслями.

Дружили мы недолго, всего два месяца, но нынешним временам это срок большой. Познакомилась я со своим мужем летом 1977 года, понравились друг другу. Я оканчивала институт культуры,

у него образование неполное среднее. Подружки говорили: «Что ты, Нина, в своем ли уме, ведь тебе с ним даже говорить будет не о чем, у вас разные интересы, он одни детективы читает, искусством и театром не увлекается». Но я поняла, что этого парня я полюбила всей душой и не смогу без него прожить ни одного дня. Мы поженились. Свадьбу «шпикарию» решили не делать, подарков нам не дарили. В деревне все говорили, что мы похожи на пенсионеров больше, чем на современную молодежь. Мол, свадьба бывает один раз пастоящая, и, конечно, необходимо пригласить всю деревню.

Уехали мы жить и работать в районный центр, жили очень дружно, все семейные обязанности делили поровну. Оказалось, мой муж не такой уж отсталый человек, стал увлекаться искусством, музыкой. Никто нам не мешал строить свои семейные отношения. Но по некоторым обстоятельствам нам пришлось уехать из района вновь в деревню, где жили его и мои родители. Сначала все шло хорошо. Мы не ссорились, но стало видно, что мы все дальше и дальше отдалялись друг от друга. Все чаще мой муж стал ходить к своим родителям. Они вместо того, чтобы помочь, стали действовать в обратном направлении. Они решили, что им нужна не такая сноха, решили нас развести. Дело в том, что свекровь всегда требовала, чтобы мы все свободное время проводили в ее доме. А мне хотелось, чтобы мы больше находились среди молодежи, своих сверстников. Тем более что если пойдешь в гости к его родителям, там необходимо всегда выпивать, без этого из-за стола не выпустят. Если же я откажусь от рюмки, они кровно обижаются: «зло я оставляю». Ничего плохого не видят в том, чтобы напиться («ведь свое пьем, а не ворованное»).

Уехала я в город, решила устроиться на работу. О муже думала: если он меня любит, то придет за мной или ко мне. Но все произошло иначе. Работу я нашла сразу, а вот где жить, сколько ни искала, найти не смогла. Знакомых, родных в городе нет. И пришлось мне не солоно хлебавши снова ехать в деревню к мужу. Живем сейчас с ним, не ссоримся, ходим к его родителям... На душе у меня не очень спокойно. Выводата я в чем? Унижение ли это — самой вернуться? Чувствую, что надо уехать, но куда? Меня никто нигде не ждет. Вот и все...

Нина Н.,
23 года.

«НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ ПОДОБНОГО...»

Раньше я была натурой немного романтической: писала лирические стихи, верила, что окружают меня только добрые люди. Может, поэтому так и переживала все очень остро.

В семье моей этого не было — отчим не пьет, не курит, прекрасный человек, и нам все это представлялось просто дикостью. Не хотел Саша идти к моим родным, ибо там не ставили на стол спиртного. Кофе, чай — все, кроме одного, ему необходимо. А сестру мужа я вообще не способна была понять как личность. Всегда может выпить наравне с парнем, неизменно сигарета в зубах.

Да, моя вина, что не видела этого раньше. Три месяца знакомства — этого, конечно, мало О, я знаю, многие попытаются обвинить меня, сказать, что я мало боролась за свое счастье. Но поймите же

меня, я уже не узнаю того человека, за которого выходила замуж. Передо мной сейчас нечто опустившееся, презренное. Мне приходилось с подобным сталкиваться раньше, на чужих примерах. Я являюсь нештатным инспектором по делам несовершеннолетних. Видела подростков, которые в пьяном виде принимали подобие звериной, сподобившись на любое преступление. Учила их, брала над ними шефство, но взяла шефство над мужем — нет, из этого ничего не вышло.

У нас много говорится, что мы должны перевоспитывать и влиять на таких. Я прекрасно это понимаю, сама я кандидат в члены КПСС — это обязывает еще больше, но главным-то помощником должен ведь быть он сам. Я не смогла сдвинуть его с этой «мертвой точки»...

Решила разойтись, пока не несем ответственности за детей. Подали на развод. По взаимному согласию. Странно как-то звучит. Не правда ли? Но даже в день, когда относили заявление, муж пригласил меня выпить с ним и его другом В., недавно вышедшим из тюрьмы. Как вы это рассудите? Три месяца нам дали на размышление, они истекают, и скоро мы разойдемся. Решение мое твердое.

Когда спрашивают у Саши, почему мы разошлись, он говорит: «Она денег на пиво не давала, все пьют сейчас, а она считала, что я должен быть исклучением». Но это же смешно, наконец. Я презираю этого человека, для которого не было ничего святого, была лишь одна цель — водка. Это ужасно, никому не желаю подобного, ибо где пьянка — там неизменно ссоры, непонимание и, наконец, вражда между самыми близкими людьми.

Арина АЛЕКСЕЕВА

г. Сосновка,
УССР.

«СИЛА ЖЕНСКАЯ — В НАШЕЙ СЛАБОСТИ»

Хотя я уже не «год назад вышла замуж», а приняла участие в разговоре хотелось бы.

Так же, как Елена Котельская, вышла замуж через две недели знакомства и была веселая свадьба (сто двадцать человек) и так же особого чувства («как в романах», не было).

Прошел год — и я собралась уходить от мужа, считала себя несчастной. И ушла бы, если б не совет одной доброй женщины. Она всегда говорила: «Сила женская — в нашей слабости». Не надо винить мужа, что не хочет помогать, его так воспитали — попробуй перевоспитать: надо тебе, чтобы помог на кухне, скажи: «Помоги, милый, или посиди рядом, а то мне скучно одной».

Мне же не хотелось «унижаться» — все ждала, ругала, кричала, делала «пазлы», ничего не получалось. А потом стала делать так, как подсказала женщина. И что же? Настолько муж привык, что потом не ждал, когда приду с работы, сам сготовит, уберет и постирает. Дети появились — их с детства приучали помогать по дому. Случается, мы с мужем в длительной командировке — дети все делают сами: покупают продукты, готовят, убирают, стирают и учатся без троек. Следовательно, женщина должна быть дипломатом и стремиться к сохранению семьи очень тонко, не оскорбляя мужского достоинства, прививать мужу те черты и качества, которые бы хотела видеть в идеале. Надо только сильно захотеть, и все получится!

Зоя Ивановна ГЕРАЩЕНКО

Здравствуй, Лена!

Прочитала в журнале «Юность» твое письмо — и не могу не написать тебе. Не хочу писать банальных фраз, вроде: «оно меня взволновало» (а оно меня, кстати, очень задело за живое) — скажу только, что оно, твое письмо, помогло мне укрепиться в себе. До чего же похожи наши судьбы!

Меня тоже зовут Лена, и тоже год назад я вышла замуж. Я не хотела и не буду писать, почему мы с мужем, не дожив до годовщины свадьбы всего один месяц, вдруг расстались, как писал А. Н. Толстой — «каждая семья несчастлива по-своему» (или что-то в этом роде, сейчас не это главное). Я не хочу сказать, что я всегда была права, — нет, я была крайне вспыльчива и груба, часто просто не понимала своего мужа. Хотя понимать-то было нечего. Мы работали с ним в одной художественной мастерской. Я гордилась его честолобием (в сущности, в какой-то мере это положительная черта) — ведь художник немислим без честолобия. А его знание славянских языков! По-польски и чешски он изъяснялся так же, как по-русски. Я его очень любила. Любила бескорыстно, преданно, неистово. Я пожертвовала для него всем, потеряла интересную и любимую работу, — словом все, чем живут обычные люди. Он не любил меня... Но я верила своему глупому сердцу. И уступала во всем только я...

Нет, у нас никто не умирал, к счастью, и жили мы у меня дома. Я так хотела ребенка, а он говорил мне примерно те же слова: мол, рано еще с детьми возиться. Сколько раз он унижал меня, пренебрегал мной, обманывал... я все прощала. Я боялась потерять его. Он ушел. Как он собирал вещи! Он даже не старался скрыть своей радости. Только теперь я узнала, что он и до свадьбы не любил меня, а женился только из любопытства. И родители мои и друзья — словом, все отговаривали меня от этого сумасшедшего брака.

Теперь, когда мы расстались, я поняла, каким я еще была несмышленищем. Я ничего не знала, а думала, что знаю жизнь, ничего не умела, не понимала.

Только теперь я открыла глаза и увидела, что то время, пока я была со своим мужем, ушло «в трубу». Я бросила изостудию и погубила свою творческую карьеру. Я отстала от жизни, несмотря на то, что каждый день мы бывали то в кино, то из концертах, то на выставках. Просто я на все смотрела его глазами, примерялась к его вкусам, а вкусы у него были весьма посредственные.

Я получала хороший урок. Я стала внимательней вглядываться в людей, стала к ним терпимей, сама стала осмотрительней в своих поступках, почувствовала вкус к работе, поняла, что такое по-настоящему творчески трудиться; узнала цену словам и поступкам, ну и многое другое. И я не в обиде на жизнь, нет.

Милая Леночка, как бы ни было тебе трудно — не злись на жизнь и на людей. Жизнь прекрасна и удивительна, а люди в большинстве своем все-таки достойны любви и уважения. И если в жизни произошла ошибка — подумай: все к лучшему, на ошибках учатся.

А настоящая любовь придет. И уже не в тягость, а в радость станут домашние заботы.

Лена Л.

г. Донецк.

ОЛЕГ ПОПЦОВ,
секретарь правления Московской
писательской организации

будущее— в настоящем

Седьмое Всесоюзное совещание молодых писателей. Уже седьмое... К этому привыкаешь с трудом, тем более когда на твоей памяти и третье, и четвертое, и пятое... Начинаешь понимать, что только теоретически время бесконечно.

Совещание молодых — волнующее событие уже потому, что каждое из них оставляло свой след в литературе, выводило на орбиту новые имена.

Михаил Лукошин, Сергей Орлов, Сергей Наровчатов, Анатолий Алексин, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, а чуть позже — Виктор Астафьев и Василий Шукшин; а чуть позже — Василий Белов, Евгений Евтушенко и Роберт Рождественский. Да разве перечислишь всех, кого открывали эти самые совещания молодых. Вот почему наше волнение предметно. Кем будет заявлена наша литература на седьмом форуме молодых, выдержит ли она испытание временем?

Поколение в литературе не просто возрастная категория, а всегда, я подчеркиваю — всегда время в личностном исчислении. И никакие разжиженные возражения: «дескать, тогда и сейчас — время несопоставимое, и сравнивать его вряд ли возможно», не могут нас оторвать от ответа на главный вопрос. Только сравнение с высшими достижениями, только сравнение с тем, чье творчество сегодня составляет гордость нашей литературы, даст нам точный ответ, насколько значительна цена наших сегодняшних литературных открытий.

Совещание всегда итог. Тремя месяцами ранее, в преддверии Всесоюзного совещания, собрались молодые литераторы Москвы и Московской области, собрались в Софрино. У этой четвертой по счету встречи была одна отличительная черта — ей предшествовал конкурс работ тех, кто желал стать участником встречи. Итоги конкурса явились неожиданностью как для меня, так и для моих коллег — секретарей правления Московской писательской организации, Владимира Амлинского и Николая Воронова, с которыми мы вершим неспокойный труд, именуемый «Комиссия по работе с молодыми»...

Четыреста молодых людей сочли уровень своего творчества достойным внимания большой литературы. Эта цифра мне представляется не случайной, хотя мы ожидали меньшего. И оптимистический рефрен — «ничего удивительного, наша страна богата талантами» — вряд ли сведет на нет наше желание над подобной цифрой задуматься. В софринские «семинаристы» попал каждый третий — сто тридцать четыре человека. Еще человек семьдесят участвовали в нем в качестве «вольюслушателей». Итого двести — цифра сверхзначительная. Но это лишь половина тех, кто участвовал в конкурсе.

Нинто не появляется в литературе сам по себе — рискну повторить эту фразу. Если бы речь шла о явлении самодеятельном, стихийном, то волнение наше было бы излишним. Нас же не удивляют мешки писем, которые получают редакции телевидения, радио, газет и журналов в ответ на призыв участвовать в конкурсе самых остроумных, самых изобретательных, любителей истории или географии.

Но самодеятельность и осмысленная заявка на профессионализм — понятия разного характера.

В моей редакторской практике был один примечательный разговор с учеником девятого класса Александром средней школы Ставропольского края. Работал этот паренек в школьной производственной бригаде. Он привлек внимание тем, что очень тщательно и дотошно отбирал рассаду: промерял ее, взвешивал. Кто-то из старших, наблюдая сосредоточенную работу подростка, умственно сказал:

«Сразу видно — будущий агроном».

Мальчик реплику услышал, был сильно раздосадован и тут же включился в разговор.

«Удивительное дело, — сказал подросток, — Как все просто: провел карандашом по бумаге на виду у всех, уме отбоя нет — будущий художник. Гайку привинтил — будущий механик. Я с рассадой возжусь — меня в агрономы определили. А мне просто трудиться нравится, устывать. Копать могу, плотничать могу. Если что-то умеешь — всегда нравится, труд чувствуешь. А буду я летчиком».

Мне представляется этот монолог подростка не по-подростковому мудрым.

Человека, сделавшего стихотворную подпись к фотографии в стенной газете, не следует тотчас же назвать поэтом. А сочинившего заметку — прозаиком.

За каждым из четырехсот участников конкурса стояла весомая рекомендация либо издательства, либо редакции журнала, газеты, либо члена Союза писателей. Иной раз, рекомендуя, мы не очень отягощаем себя раздумьем, к чему нас обязывают подобные рекомендации. Нередко слышишь: «Он попросил, говорит, без рекомендации не принимают — порядок такой. Ну, я и рекомендовал». Все было: и рекомендации, данные на ходу, в холле ЦДЛ, и рекомендации, взятые с боем, с четвертого или пятого захода, когда предполагаемый семинарист брал в колыцевую осаду предполагаемого наставника. Но, в счастие, не эти издержки определяли тональность, дух подготовки софринского совещания, а в дальнейшем и его проведение. Объем творчества, его разнохарактерность — вот что мы познали на этом совещании. Представляется принципиальной мысль, что всякое подобное совещание, с одной стороны, итог кропотливой работы с молодыми, с другой — начало работы с молодыми, но уже в ином качестве, под иным углом зрения. Об этом очень точно говорил Юрий Нагибин на закрытии софринского совещания. Он призывал своих коллег быть внимательными и не считать свой педагогический долг уже выполненным. «Мы нужны им, и еще долго будем нужны; не как литературные метры, а как собеседники, как их товарищи, как редактора их творчества». Я рисую продолжить мысль Нагибина. Роль наставника в литературе — роль долговременная. Помимо всего прочего, наставник дополняет издательское видение, конкретизирует его, выделяя в общем литературном процессе предмет своего пристального изучения. Комплекс редакторской непогрешимости — плохой гарант несовершенства ошибок. Еще неизвестно, когда мы ошибаемся больше, — когда печатаем или когда настаиваем на своем нежелании публиковать того или иного автора, далекого от нашего мироощущения своим литературным материалом, сюжетным построением, языком. Я с полной уверенностью готов сказать, что открытие для журнала «Сельская молодежь» таких прозаиков, как Вячеслав Сухачев или Анатолий Петухов, было бы немислимим без участия Виктора Астафьева. Анатолий Афанасьев был открыт для журнала Юрием Трифоновым. В литературную судьбу Анатолия Кончица первое слово сказал Георгий Семенов. И ты вдруг замечаешь, что уже иначе относишься к рекомендациям, ибо в твоём редакторском сознании произошёл перелом. Ты постоянно держишь в поле зрения тех, кому присущ дар — открывать.

Возможно, эти писатели даже не подозревают, что этот второй слой их творчества постигается и изучается со стороны не менее тщательно, нежели каждая их новая работа.

В литературе есть три главных дела: писать, издавать и растить смену. Три дела, как три кита, на которых стоит литература. И хотя справедливо утверждение — литератора создает жизнь, не менее справедливо и то, что литератора в значительной степени формирует сама литература, духовное окружение, общение с собратьями по перу. И утрата одного из этих начал, бесспорно, сужает творческие возможности молодого писателя.

Эпоха научно-технической революции наложила отпечаток на структурный срез молодой литературы. Достаточно заметить, что из ста тридцати четырех участников софринского совещания сто двадцать два

имели высшее образование. И как следствие — возросшая культура молодых, умение владеть словом. Мы являемся свидетелями ситуации, когда интеллектуальный багаж, даруемый самыми различными профессиями, исходит из наполненности, сложности, технической насыщенности времени. Это уже само по себе благоприятная начальная среда для писательского навыка. Отсюда и желание заняться творчеством обретает характер повального увлечения, напоминающего ситуацию, когда самодельная песня, гитарный бум захлестнули студенческие общезнания, улицы, школы, породив признанных дворовых кумиров, шансонье, где музыка, слова и исполнение имели одного и того же автора. В этом увлечении сказались массовая тяга молодежи к проявлению своего «я», к нестандартному общению, к музыкальной культуре — устраивались фестивали, конкурсы, появились тысячи самодельных ансамблей. Громадную работу и поныне в этом направлении ведут комсомол, телевидение, радио. Но вряд ли кто ставил задачу, чтобы эта самодельная стихия хлынула в Союз композиторов и пополнила его ряды, хотя подобное музыкальное бурление должно было выявить таланты и выявило их. Нечто подобное мы переживаем сейчас с нашими литературными объединениями, которых десятки тысяч. И было бы неверно, если мы станем рассматривать литературные объединения как некие подготовительные курсы в Союз писателей.

Литературные объединения — это типичные объединения по интересам, сближающие людей, увлеченных литературой. И справедливое желание участников объединения иметь в лице руководителя профессионального литератора — это прежде всего свидетельство того, что данное объединение станет центром духовной жизни завода, института, колхоза. И когда я слышу о планировании неких результатов, которых якобы должно достичь объединение на ивее выращивания писателей, я полагаю, что наша разумная работа обретает характер фелбетонии. Руководитель литературного объединения — это всегда просветитель. Атмосфера объединения должна способствовать проявлению увлеченности литературой. И когда мы формируем литературные студии, мы прежде всего обращаемся к литературным объединениям, потому что найти талант всегда проще среди увлеченных. Однако этот процесс должен проходить естественно, и нам следует бояться превращения литературного объединения в некое помещение с искусственным климатом.

Радостно, что за плечами большинства молодых, входящих в литературу, сегодня уже наработана жизненная биография. И вот что любопытно. Отношение к своей биографии у молодых литераторов двойное, тем более когда мы ведем разговор о тех, кто в преддверии литературы. Молодые, уже дебютировавшие, и те, кому это предстоит, — это разные молодые, с разным видением литературы и себя в литературе. С одной стороны, молодой писатель замкнут рамками своей биографии. Из шести участников нашего семинара в Софрино четверо предложили рассказы о своем детстве — впрочем, на детстве осмысление собственной биографии и окончилось. Сравнивая этих молодых с авторами первых и вторых книг, замечаешь: собственный жизненный материал начинает работать как литературная порода по мере возрастного отдаления от него. В данном случае у молодых прозаиков проявилось доверие только к собственному детству. Прошлое всегда рождает зоркость памяти и разума. И вечные советы руководителей семинаров, обращенные к своим ученикам: «попробуйте написать о себе», — не что иное, как призы обернуться на прожитую жизнь и через нее шагнуть в литературу. Недоверие к соб-

ственной жизненной биографии, когда ей отказано в праве быть литературным материалом, — явление, достаточно распространенное среди молодых. И как следствие — появление неких упражняний в прозе и поэзии, чрезмерно описательных, точных и зорких в этой описательности, но никак не ушедших дальше нее. Собственные жизненные конфликты кажутся не заслуживающими внимания. А дара к обобщению еще нет. Появляется некая бессюжетная проза, дарующая раскованность и рождающая похожест на что-то значительное. И герои еще не отягощены ответственностью большого дела, ключевой профессией. А есть некие промежуточные персонажи: продавцы, сторожа, проводники, попутчики в дороге, пастухи, преклонные старики или улыбочивые дети. Наши призывы к гражданственности, к масштабности творчества правомерны и естественны. Однако мы должны учесть, что подобное состояние в литературе — состояние созревающее, отчасти возрастное. Анатолий Кривоносов — начинающий и автор романа «Поживем — увидим» — это два разных Кривоносова по масштабу жизненной позиции. То же самое я мог бы сказать об Анатолии Руслове и Анатолии Афанасьеве.

Радует бесспорная нравственная нацеленность молодых, приверженность их к вечным темам русской литературы: поиск первопричины зла и жестокости, доброты и совести. Молодость предполагает ошибки, творческие неудачи, но она не дает права на скидку. У искусства свои законы: нельзя начать примитивно, а продолжить с одарением. Есть только одна градация начала — талантливость.

В 1969 году ныне известный прозаик, не попадавший по возрасту в категорию молодых, но человек даровитый, с непростой жизненной судьбой, в качестве исключения был рекомендован журналом «Юность» на Пятое всесоюзное совещание молодых. Писатель попал в семинар Юрия Бондарева. Впоследствии он рассказывал, что, увидев свою фамилию в семинаре Бондарева, почти что произнес молитву: «Повезло, он тоже воевал. Поймет».

Рукопись писателя участника семинара разбирали беспощадно, с присущим молодым максимализмом оценок. Рукопись была несовершенно и уязвима, но в ней было главное: неотшлифованный кусок жизни. Видимо, это увидел Бондарев и в заключение семинара сказал: «Надо работать, работать беспощадно, до изнеможения». Дальше события развивались традиционно: рукопись рекомендовали, автор ее переработал и сдал в издательство. И вот тут случилось отклонение от правила. Юрий Васильевич Бондарев попросил переработанную рукопись прислать ему. Хотелось узнать, насколько требовательно автор отнесся к замечаниям, высказанным на семинаре. Рукопись Бондарев прочел, вызвал автора к себе домой и в течение двух месяцев каждодневно работал с ним над словом, образом, построением сюжета. «Он заставлял меня перечитывать куски собственной рукописи, находить неточности. Он хотел, чтобы я сам научился чувствовать и угадывать несовершенство, фальшь. И это был для меня литературный университет. Да что там говорить, — университет жизни». Затем рукопись сдали в набор, и новое писательское имя заступило на литературную вахту. Этим рассказом я вряд ли что прибавлю к имени Юрия Васильевича Бондарева. Писателя удивительного и столь же удивительного и неповторимого человека. Знаю только: к книгам Ю. Бондарева прибавилась еще одна книга — писательская судьба Юрия Додолева. Как говорится, «что было, то было».

Вспоминая этот случай, я обращаюсь мысленно к постановлению ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью» и повторяю для себя очень важную, а точнее сказать, главную мысль этого документа. Внимание и доверие к молодым — это не только создание условий для творчества, выдвижение молодых, но это и доверие их творчеству, признание за молодыми не столько будущего, сколько настоящего нашей литературы, а значит, и отношение к ним со всей мерой взрослости и требовательности коммунистов.



ЛЕОНИД
БАХНОВ

ПУШКИН И ДРАМА

Сегодня в большом ходу слова: «Новое прочтение». Еще бы: телевидение, театр, кино «читают» классику! И многие критики, которых мы привыкли числить по ведомству текущей литературы, тоже сделали вороват в сторону классического наследия, и вот нам уже предлагается «новое прочтение» бессмертных произведений Гоголя, Толстого Достоевского, Пушкина...

Впрочем, обращаясь к книге Ст. Рассадина «Драматург Пушкин» (М., «Искусство», 1977), хочется несколько сместить акцент, перенести его со слова «новое» на следующее, на «прочтение», и вовсе не потому, что это прочтение лишено новизны. Перед нами именно прочтение или даже точнее чтение — процесс, совершающийся на наших глазах, — драматургических шедевров Пушкина. Слова за словом, стиха за стихом, сцены за сценой. Все важно, все значительно, все нагружено смыслом — от незаметного эпитета до ремарки.

Критик разворачивает свою концепцию творческого пути Пушкина-драматурга. (Здесь к месту будет сказать, что Рассадин нашел точное название для книги: не «Драматургия Пушкина», а именно «Драматург Пушкин» — подчеркивается связь с личностью поэта.)

Главное, может быть, достоинство исследовательского метода, который исповедует Рассадин, — это его разомкнутость. Критик прочитывает драматургические произведения Пушкина не изолированно, не «сами по себе», но в обширном контексте всего творчества поэта, его судьбы, эпохи, в контексте последующего развития литературы. Ему ничего не стоит перекинуть мостик от «Моцарта и Сальери» к «вольным» стихам Пушкина, от «Каменного гостя» — к «Гробовщику» или даже к «Анне Карениной», от «Сцен из рыцарских времен» — к преддвухой истории Пушкина, к стихам «третьестепенного поэта» П. И. Вейнберга, к романам Ф. М. До-

стоевского, чье имя, кстати, то и дело появляется на страницах книги... Эта свобода, с которой оперирует исследователь многочисленными именами, цитатами, фактами, подчас отдаленно связанными друг с другом, рождает ощущение убедительности, позволяет различить за «мелочами» явления и понятия весьма существенные.

«...Склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете...»

«Когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать...»

Обе цитаты — из «Каменного гостя». Обе — из монологов Дон Гуана. В чем же различие между этими двумя поэтическими образами? Казалось бы — вопрос поэтики, мастерства формы — вполне частный вопрос. А между тем за ним — самая суть, как это показывает критик, трагедии Дон Гуана. Огромный шаг, сделанный пушкинским героем, «шаг из одного душевного состояния в другое, и больше того: от одного человека к совсем иному». Слова «пойдете кудри наклонять и плакать» принадлежат преображенному Дон Гуану — Дон Гуану, познавшему силу любви, ту силу, которая и делает его героем трагическим.

Так за поэтикой проступает судьба. Судьба не просто героев драматургии, но его собственная, Пушкина, судьба. Недаром в название главы о трагедии «Скупой рыцарь» вынесено знаменитое «Невольник чести», а главе о «Моцарте и Сальере» как эпиграф предпослана цитата из «Кондуитного списка Кавалергардского Ея Величества Полка Поручика Барона Дантеса Геккерена», характеризующая весьма положительно убийцу поэта; недаром, наконец, вслед за приговором Командору, вернее, стоявшей за ним тупой силе, появляются слова: «Пушкина самого давила (и раздавила) эта сила обычая, жестокости, эта жестокая правота общества, не желавшего признавать прав белой вороны».

Но Рассадин настойчиво опровергает все попытки буквального сличения Пушкина с Моцартом, Дон Гуаном, Князем из «Русалки» и т. п. «Маленькие трагедии, — говорит критик, — нужно не столько сопоставлять с биографией Пушкина, сколько включать в систему его мыслей».

Одна из глав книги так и называется — «Чужая лирика». Не в смысле «чуждая», но — «не своя». Говоря о «лирической природе» пушкинской драматургии, исследователь замечает, что Пушкин не отдает свой голос целиком ни одному из персонажей — ни духовно близким, ни внутренние бесконечно далеким. При этом все значительные персонажи произносят монологи, созданные по художественным законам, близким к законам его собственной лирики. Грань, отделяющая эту «чужую» лирику от «его», тонка, подчас с трудом различима. В знаменитом Гимне Чуме («Пир во время чумы») некоторые исследователи видели непосредственное выражение идей Пушкина. Проследившая эволюцию взглядов поэта, Рассадин опровергает это распространенное мнение. Пушкин одарил Вальсинггана силой своего голоса не для того, чтобы с ним согласиться. В пору создания «маленьких трагедий» проповедь «смелости вне нравственности» не могла быть близка поэту. «Пир во время чумы» — это напряженная полемика («диспут» — остроумно замечает критик) героев друг с другом и Пушкина со всеми, прежде всего с Вальсингамом. «От цинизма, — говорит Рассадин, — Пушкин отворачивается».

В своих драматургических произведениях Пушкин ставит важнейшие нравственные вопросы, те вопросы, которыми потом целый век будет болеть русская литература. Поэтика пушкинских драм направлена

на то, чтобы точнее вскрывать именно нравственное содержание. «Здесь,— говорит Рассадин о «маленьких трагедиях»,— не одна правда, а несколько. Пушкин тут выходит за пределы собственной личности, больше того: прячет от читателя себя, свой взгляд, свое суждение, позволяя героям на свободе высказать их собственные правды, как бы эти правды ни были страшны и чужды Пушкину».

Отсюда прямой шаг к Достоевскому, к его методу, к его поэтике.

Вообще последующая литература высветила в Пушкине многое из того, что было скрыто от его современников. И не только литература. Так, пушкинский Сальери, каким его видит критик — «человек толпы, агент черни»,— предстает своего рода прообразом нищезанесенного «сверхчеловека». Возможно, в этом есть некоторый «перехлест», однако несомненно: в творчестве великого писателя — и, может быть, наиболее явственно в его драматургии — проросла нравственная проблематика будущих времен. Современники, конечно же, не могли в полной мере ни понять, ни оценить этой проблематики, так же, как и не способны были оценить принципиальной новизны создаваемого Пушкиным художественного метода, который позже станут называть «реализмом».

Как высочайшее достоинство пушкинской драматургии оценивает критик ее историзм. Вместе с историзмом росло и другое важное качество драматургии Пушкина — объективность, нашедшая себе предельное воплощение в последней, неоконченной драме (а точнее — сказке, что убедительно доказывает Рассадин) — в «Сценах из рыцарских времен».

«Объективность пушкинского историзма,— пишет критик,— согрета и выверена человечностью». Человечностью, иначе говоря, нравственностью. И снова нравственное оказывается на первом месте.

У исследователя, обращающегося к творчеству Пушкина, есть один несомненный козырь — дистанция во времени. Прочитывая с нами драматические произведения Пушкина, Рассадин постоянно сверяет это прочтение со следующими страницами русской литературы. Отыскивая причины незавершенности последних драм, критик находит их не только в роковой пуле Дантеса, но и в том, что «неосуществленные сюжеты...— это невольная попытка заглянуть за предел возможного — лично для себя и для современной литературы». Так возникают в книге имена Гоголя, Достоевского, Чехова... Находя в Пушкине «ростки» писателей будущего, исследователь делает зримым и осязаемым тот факт, что Пушкин воистину дал жизнь великой русской литературе и надолго определил пути ее развития.

«Вперед, к Пушкину!» — провозгласил Рассадин в середине шестидесятых. Тогда это казалось парадоксом. Сейчас этот лозунг понятнее. Еще более понятным его делает книга «Драматург Пушкин».



ВИКТОР ПОТИЕВСКИЙ

☆☆☆

Сколько воинов нынче в границе
По великой России моей.
Вы в глаза их взгляните, взгляните,
Вы цветы принесите с полей.
Зарастают окопы лесные,
Материнское сердце болит...
Сколько вечных огней по России
Над молчанием мраморных плит!
Этот каменный полк многоликий
Сжал винтовки и поднял мечи.
И в порыве отваги великой
Он на миг оживает в ночи.
Эти плечи невиданной силы
Рядом, рядом с плечами живых...
Сколько вечных огней по России —
Негасимых, тревожных, немых!

Сова

По голосу уже совсем стара...»
Она кричит.
И эхо в ночь хохочет.
И крик совы —
Как черный выплеск ночи,
Глаза — что угли моего костра.
Короткая совиная пора,
Как жизнь моя, не знает повторенья.
Случайности, тревоги, озаренья
Ждут часа своего, ждут до утра.
Что хочешь мне сказать, ночная птица!
Что утаить?
О чем твой крик, о чем!..
А звездный рой над пламенем кружится,
И ночь сгорает на костре моем.

Гроза

Я помню: над огромным миром спящим,
Мгновенным светом темноту разя,
Во всем своем могуществе слепящем
Гремела полуночная гроза.
Качались и трещали ветви молний,
Качался старый тополь у реки.
Отцовский голос сердце мое пополнил
Годам, десятилетиям вопреки.
И понял я: вовек не позабыты
Все дорогие дни и голоса
И были только до поры сокрыты
Пространства, что открыла мне гроза!
Во мраке бушевала непогода,
Звенели стекла, падали столбы.
... На огненной ладони небосвода
Вдруг высветились линии судьбы.



«УСТАМИ МЛАДЕНЦА...»

Ну что, казалось бы? Сын рос, а отец за ним записывал. Потом все сложилось в книгу. Но скромная эта работа волнует: читатели пишут письма, солидные журналы («Литературное обозрение», «Детская литература») откликаются на нее рецензиями. В чем тут дело? Конечно, вдумчивый читатель понимает, что книга Михаила Шевченко («Кто ты на земле», Центрально-черноземное книжное издательство, 1977 г.) только на первый взгляд складывалась просто. На самом деле житейский материал просеян зыскательно и точно: вошедшие в книгу записи за десять лет — история о том, как просыпается душа, как человек растет.

Когда-то Корней Чуковский со свойственным ему темпераментом призывал чуть ли не всех граждан собирать «речения детей». Утрачиваемые бесследно, они казались ему преступно брошенным на ветер народным достоянием. В «детском лепете» слышался ему своеобразный голос своего времени. Подзаголовки книжки М. Шевченко — «Повесть о маленьком современнике». И дело не в каких-то внешних приметах дня, причудливо отраженных в сознании ребенка (пятилетним Максимка играет в «марсиониста», шестилетним — рисует «драпающих из Вьетнама американцев» и т. п.), а в самом характере его мышления. Сравните:

— «Я хотела бы быть знаешь чем? — воздухом.
— Почему?»

— Нет, лучше небом, чтобы ко мне летали ангелы» (К. Чуковский, «От двух до пяти»).

«Когда строили горы, почему не предусмотрели скамеечки?» (М. Шевченко, «Кто ты на земле»). Это высказывания детей, живущих в разных мирах с разным к ним отношением. Перед нами маленькие «пантеист» и «прагматик».

...«Простодушная» книжка М. Шевченко дает интересный материал для размышлений. Взять хотя бы тему — ребенок и телевидение. До того, как Максимка выучился читать, его духовная жизнь протекала под явным диктатом телевизора. По умело отобранному высказыванию ребенка читатель сам сможет проследить воздействие «средств массовой информации» на формирование сознания, то есть то, о чем сейчас пишут философы...

И все же книжка привлекает не только этой своей точной реакцией на время. Напротив, в нанизанных на ее страничках мерещится и несогласие и, может быть, неосознанный, но спор с таким вот «социологическим» взглядом на ребенка. «Отвел его в детский сад. Вечером спрашиваю: — Ты что делал в садике? — Тебя искал, папа...» Или: «Укладываю его спать. В темноте. — Папа, ты тут? — Да. — Ты, папа, не бойся. Если нападут волны, я с тобой».

Это неистребимо детское, сбереженное писателем, пожалуй, самое важное в книге. Можно сказать, что с этой книжкой детства стало чуть-чуть больше...

Книга М. Шевченко, хоть и написана литератором-профессиона-

лом и совсем, казалось бы, не о масштабных событиях, видится в ряду ярких свидетельств «людей жизни». Ведь сначала надо было любить, мучиться, открывать в себе талант отца, воспитателя, человека, а потом уже делать из всего этого книгу.

Марина
БОРЦЕВСКАЯ

ЕДИНАЯ ПРАВДА

Чернышевский, Шолохов, Серафимович — три крупных имени, три очень разных... Что могло побудить В. Осипова, автора «Дополнения к трем биографиям» (изд-во «Правда») объединить их в одной книге? Проведая серьезную, кропотливую, увлекательнейшую работу по изучению малоизвестных фактов трех жизненных и литературных судеб, Валентин Осипов точно и последовательно изложил перед читателем не только, скажем, мотивы создания Чернышевским романа, откликающегося на события Парижской коммуны, или основные этапы творческой дружбы двух крупнейших советских писателей — Серафимовича и Шолохова, но и самим сопоставлением и подбором тех же самых фактов еще раз убедительно утвердил своим повествованием мысль о высокой преемственности традиций прогресса, традиций гуманизма и революционности в русской словесности.

Действительно, начиная рассказ о вилковском периоде ссылки Чернышевского, размышляя о путях, по которым могло дойти известие о Парижской коммуне 1871 года на далекую ссыльную окраину царской России, кратко излагая проблемы, сюжет, направленность не оконченного, к сожалению, романа «Отблески сияния», В. Осипов приводит выдержки из письма Чернышевского жене — письма, написанного за несколько месяцев до 18 марта 1871 года, но свидетельствующего о постоянном и неослабном интересе писателя к революционным событиям в мире, от которого он был физически (но не духовно!) отгорожен перепуганным царизмом: «...для всего континента Западной Европы начинается новый период жизни... Это пригодится и для нашей родины». Но знаменательно и другое. Это, как пишет В. Осипов, «желание Н. Г. Чернышевского приблизить Парижскую коммуну к русской революционной молодежи... В России могли быть и были люди с судьбой, подобной Владимиру Васильевичу (главный герой романа. — Т. К.)! Игнория подтверждает это блестящим перечнем фамилий и фактов». Елизавета Кушелева (Дмитриева) и Анна Васильевна Корвин-Круковская, Владимир и Софья Ковалевские — вот лишь некоторые имена, пронзительные для нас сегодня с благоговением.

Менее полувека отделяют «Отблески сияния» от появления «Донских рассказов» и «Тихого Дона», от начала большой писательской дружбы автора «Железного пото-



ка» Серафимовича с Шолоховым. И вот уже год за годом, поэтапно предстает перед нами история их отношений — товарищеских принципиальных, по-литературски требовательных друг к другу. И так же чутко и внимательно, как когда-то Серафимович отнесся к нему самому, так же заботливо, любовно и строго приглядывается к литературной смене опытный, всемирно известный мастер слова из Вешенской. «Шолохов не мог не потянуться к Серафимовичу», — пишет В. Осипов. И это неоспоримо, потому что одни и те же идеалы — служение народу и борьба за революционные преобразования в стране — питали их творчество. Те же идеалы поддерживали стойкость духа Чернышевского в его двадцатилетней ссылке. Им верны и те, кому выпало продолжать построение будущего в нашей стране. И в основе этих светлых идеалов остается поныне и пребудет вечно единая правда — и провозглашенная с баррикад Парижской коммуны, и отмерцавшая на стыках героев «Железного потока», и глянущая в самом конце «Тихого Дона» на Григория Мелехова из-под насплывших бровей его сына.

Татьяна
КУЗОВЛЕВА

ЧУЖОЕ — КАК СВОЕ...

Вы приходите в театр... «И в извечном кубе сценического пространства материализуется воображение актеров и зрителей, возникает живая жизнь, и нет конца разнообразию человеческой фантазии. И тогда в прекрасном спектакле наступает пауза, все — и тот, кто играет, и тот, кто смотрит, объединяются в удивительном творческом усилении — постижении истинного театром и домысливают то, чего не выскажешь словами».

«Кто держит паузу» — так назвал свою книгу известный советский актер Сергей Юрский (изд. «Искусство», Ленинградское отделение). Он поясняет: «В театре при всем могуществе режиссера XX века паузу держит актер. Он последняя инстанция, он сам разговаривает со зрителем». От его мастерства зависит, создается ли та атмосфера напряженного волнения мысли и сердца, на которую рассчитывал режиссер, задумывая паузу в данном месте партитуры спектакля. Но что, в свою очередь, есть мастерство актера? Как распределить в этом понятии роли вдохновения, природной одаренности, неустанного кропотливого труда, пота и нервов, придирчиво изнурительного отбора единственного варианта в актерской профессии? «Вдохновение должно постыть мигнута в мигнута, — пишет Юрский, — а не постыло — начиная без вдохновения. 19.30. ...По закулисным лестницам визит идет толпа во фразах. Сегодня в 174-й раз на нашей сцене...» Но ведь для

зрителя, впервые пришедшего на спектакль, этот «раз» всегда первый!

Юрский адресовал свою книгу не только коллегам, но и самому широкому кругу читателей. Написана она легко, увлекательно, чувство юмора никогда не изменяет ее автору. В книге множество действующих лиц и среди них такие известные деятели нашего искусства, как Георгий Товстоногов, Николай Черкасов, Ефим Копелян, Виталий Полицеймако, Кирилл Лавров, Олег Басилашвили, Павел Луспенаев и многие другие. И, конечно, сам Юрский, делящийся размышлениями, опытом, иногда дискутирующий, то и дело обращаясь к ярким, интересным воспоминаниям. Но так уж получается, что главным действующим лицом книги оказывается Театр — с его парадным блеском и рабочими буднями кулис, с его забавными курьезами и невидимыми миру слезами, с его так и не распознанной до конца магией, заставляющей нас в любую непогоду метаться в поисках «лишнего билета»; древний и всегда новый Театр — удивительное место, куда люди стремятся для того, чтобы увидеть, как другие люди «играют в человеческие отношения».

Актер написал книгу о театре, о своей профессии, о своих товарищах по работе, о людях, чье влияние считает решающим в его творческой жизни... И все же это не только мемуары и не только попытка разобраться в профессиональном существе своей работы. Читая книгу Юрского, мы постоянно задаемся вопросом, ради чего ведется эта «игра в человеческие отношения», почему она столь заманчива и для тех, кто играет, и для тех, кто смотрит на играющих. Ответов на этот вопрос множество. Много их и у Юрского. Но самый, на наш взгляд, главный ответ он формулирует так: «...в театре чаще, чем в жизни, человек способен пережить чужое как свое, совсем личное. А это всплеск человечности в человеке».

Вы приходите в театр...

Ольга
ГАРИБОВА

МОНОЛОГ О ДИАЛОГЕ

Передо мной книга, на обложке которой красивая девушка с поднятым залом (маска фехтовальщика) и преклонных лет мужчина с рапирой в руке и одухотворенным, а бы даже сказал, поэтическим выражением лица. Она чемпионка мира в состязаниях на рапирах Татьяна Любечкая. Он ее тренер, заслуженный тренер СССР Виталий Аркадьев. Они о чем-то говорят. Они ведут диалог. А о чем они ведут диалог, мы узнаем из книги, которая называется «Диалог о поединке», авторами которой они являются.

Я ничего не знал об этой книге. К сожалению, наша реклама редко интересуется хорошей книгой.

И если бы не мой приятель, который, зная о моей патологической страсти к спорту вообще, купил ее в издательстве «Физкультура и спорт», где она, кстати, и вышла, я бы сегодня, возможно, и не имел удовольствия написать об этой книге несколько строк. Даже не в порядке рецензии, а в порядке настоятельной рекомендации «всем возрастам» прочитать «Диалог о поединке» от начала до конца.

Книга эта, с моей точки зрения, интересна каждому — и тому, кто любит спорт, и тому, кто его совершенно не признает, потому что не понимает, или не понимает, потому что не признает. Здесь есть история фехтования, география фехтования, биология фехтования, психология фехтования, даже астрономия фехтования (тогда, когда диалог касается фехтовальных «звезд»). Но если вы думаете, что, изучив эту книгу, научитесь фехтовать, то вы глубоко ошибаетесь. «Диалог о поединке» не учебник. Это размышления о людях, которые посвятили свою жизнь фехтованию, подобно тому, как отдадут себя целиком сцене, или небу, или морю...

Современные мушкетеры (так любят называть фехтовальщиков наша спортивная пресса) вдруг как бы остаются без масок, сами по себе, и мы видим, как гортанный победный клин граничит со слезами поражения, как уверенность сменяется сомнением, как желание жить в спорте входит порой в конфликт с желанием жить в семье и иметь детей...

А еще хорошо, что книга эта о том, что мы все, конечно, понимаем, но уж как-то мало об этом задумываемся, о том, что человек, называющийся сухим металлическим словом «тренер», всегда человек. И каждый укол, полученный его учеником, ранит и его. И каждый раз в сердце...

И еще, что очень важно, это диалог не просто о поединке, а о благородном, честном поединке. И так этот диалог захватывает, что хочется схватить в правую руку рапиру и с криком «защищайся!» броситься на противника. Но потом понимаешь, что тогда не сможешь писать — правая рука уже давно занята авторучкой. Хорошо Татьяне Любечкой: она всю жизнь фехтовала левой рукой, а писала — правой...

Аркадий
АРКАНОВ



«МНЕ ПОВЕЗЛО...

Как-то с очередной редакционной почтой мы получили большой конверт с альбомом рисунков. К альбому было приложено письмо. Мы думаем, что и судьба художницы и ее творчество заинтересуют вас.

Уважаемая редакция! Я давняя читательница Вашего журнала, хотя возраст мой именем его не назовешь. Но так уж сложилась моя жизнь, что, наверное, навсегда я останусь молодой, потому что вокруг меня всегда юные люди. Уходят одни, приходят другие, и я всегда в курсе всех проблем этого возраста, их вопросов, поисков, интересов.

С детства я больна: не могу ходить. Физически мир сузился до пределов оконного вида. Но мне здорово повезло на людей. В первую очередь — на родителей, которые посвятили мне всю свою жизнь. Впоследствии в годы, когда перед каждым юным человеком встают вопросы: «Кем быть?», «Как жить?», «В чем смысл жизни?» — мне опять повезло. Я находилась на лечении в Ленинградском НИИ имени Тюрнера.



Среди горя и страданий больных детей силами медицинского и педагогического персонала была создана самая что ни на есть здоровая атмосфера, атмосфера занятости, творчества, духовности. Там происходило мое душевное становление, там мне захотелось найти себя, свое занятие, быть полезной, нужной.

Тогда я поступила в заочный Народный университет искусств имени Н. К. Крупской в Москве на факультет рисунка и живописи. Не потому, что имела к этому выдающиеся способности, скорее их не было совсем, но потому, что не было иного выбора. Мне повезло с педагогами. Они по капле, бережно, индивидуально, исходя из моих возможностей, «выдавливали» из меня невозможное. Вероятно, мой пример еще раз доказывает, что нет детей бездарных, надо только создать условия для рождения если не таланта, то хотя бы маленького дара, дара творить.

В 1965 году я окончила университет. В том же году в г. Боровске была устроена моя первая персональная выставка, ставшая передвижной (по Калужской области). И потом — постоянное участие во всех

Зимняя сказка.

районных, областных выставках самодеятельных художников, во Всесоюзной выставке.

Я пришла к людям со своими рисунками, а они, люди, пришли ко мне. Появилось много друзей. Навсегда. Люди всякие, разные, через них я чувствую живое дыхание мира, его беды и радости.

Жизнь не бывает гладкой, у меня в судьбе было больше страданий, чем радостей, но я считаю себя счастливым человеком, потому что чувствую себя нужной, полезной. Потому что жизнь моя полна если не снегами и ветрами, не лесами и травами, то искусством, книгами, поэзией, музыкой, людьми. Из всего, что я чувствую, о чем думаю, мне хочется сделать рисунок. Не все получается. Бывают сомнения, разочарования, когда понимаю, что чувствую я сильнее, богаче, острее, чем умею рассказать об этом линией, штрихами. Но сомнения только подстегивают стремление к совершенствованию.

Много лет я сотрудничаю с областной комсомольской газетой «Молодой ленинец», где публикуются



Бережность.



Детские сны

мои статьи на темы морали, эссе о художниках. Газета — это еще одна моя точка соприкосновения, контакт с миром.

Я часто упоминаю здесь слова «мне повезло». Наверно, иначе и быть не может в нашей стране, если только сам человек не позволяет себе упасть, если напрягает силы своей души.

Я пишу не для того, чтобы рассказать о себе, я пишу для того, чтобы рассказать о людях, с которыми можно выжить в любой ситуации, среди которых можно чувствовать себя счастливым, даже будучи связанным болезнью навсегда.

С уважением

Людмила КИСЕЛЕВА



И. ДЕЛЯРТИНСКИЙ

НАДЯ ПАВЛОВА: «ЭТО СЧАСТЬЕ — РАБОТАТЬ В БОЛЬШОМ...»

*Уважаемые товарищи!
В прошлых номерах «Юности»
вы напечатали очерки
о прекрасных молодых артистах
Софии Ротару и Марине Неёловой.
Хотелось, чтобы вы продолжили
рассказы о молодых
мастерах искусства нашей страны.
Расскажите, пожалуйста,
о солистке балета
Большого театра СССР Надежде Павловой
Мне кажется, многим читателям
будет интересно узнать о творчестве,
репетициях и выступлениях
этой замечательной балерины.*

Елена АРДАШЕВИЧ

г. Полтава.



Перед встречей с Надей Павловой я внимательно прочитал письма, приходящие в редакцию журнала «Юность» и в Большой театр. Чаще всего это письма от девочек, восхищенных балетным искусством, тем или иным исполнителем. Иногда они — наши корреспонденты — ученики балетных школ, студий, желающие непременно стать известными балеринами или танцорами. Поэтому, беседуя с Надей Павловой, мне хотелось узнать не только о ее приходе в балет, но и о тех трудностях, которые встанут перед артистами балета: о том, что стоит за известностью и популярностью, — о каждодневной кропотливой работе, предвещающей успех.

О Надежде Павловой много говорят с того памятного дня, когда она семнадцатилетней девочкой в 1973 году завоевала «Гран-при» и золотую медаль на втором Международном конкурсе артистов балета в Москве. Мнение было одно — это чудо, явление в

Сцена из балета С. Слонимского «Нкар».

Фото А. МАКАРОВА.

балете. Действительно, приход Нади в искусство удивителен. Владимир Васильев, известный танцовщик и балетмейстер Большого театра, признался:

— Другого такого яркого прихода просто не помню, во всяком случае. на моей памяти не было столь блестящего дебюта, как это случилось с Надей. Она просто ворвалась, очаровала и растрогала зрителей настолько, что сразу же, с первых шагов стала легендой. Я вспоминаю международный конкурс, который проходил в Большом театре, и Надю перед выступлением — бледную, испуганную, окруженную фото- и кинопортретами. У меня было одно желание — как-то спасти эту девочку от журналистов, дать ей возможность хоть на несколько минут остаться одной, собраться с мыслями, войти в образ, хотя бы разогреться по-настоящему. Но, увы, это было невозможно! И, несмотря на эти трудности, она по праву завоевала тогда золотую медаль.

Выступая на конкурсе, Надя была ученицей последнего класса Пермского хореографического училища. А впереди был еще год работы на сцене Пермского театра оперы и балета... И вот август 1975 года:

— Ошеломляющая новость — меня приглашают в Большой театр. В Большой! Радостно и страшно. Подумать — лучшая сцена страны, а для меня — и мира! Одно дело конкурс на сцене ГАБТа, другое — танцевать целые спектакли, да еще при таком взыскательном зрителе, который видел Марину Семенову, Галину Уланову, Майю Плисецкую...

Всякий раз, когда меня спрашивают, как я пришла в балет, вспоминаю Дом пионеров в Чебоксарах, куда ходила заниматься в танцевальный кружок. Мне было шесть лет, когда мои родители отдали меня в этот кружок, совсем не помышляя о том, что когда-нибудь их дочь будет танцевать в балете. Я занималась, потому что мне нравилось танцевать. Начинала играть музыку, и я забывала все на свете — школу, игры и попадала в мир сказочных образов. Однажды моя подруга Регина Кузьмичева (теперь артистка Пермского театра оперы и балета), приехав на каникулы из Пермского хореографического училища, сказала мне: «Ты вроде неплохо танцуешь, приезжай к нам в училище — может, и поступишь».

С тех пор учиться в нем стало моей заветной мечтой. Когда мне исполнилось десять лет, я с папой поехала в Пермь, не очень надеясь попасть в училище, но, к удивлению, экзамены сдала хорошо, меня зачислили и сразу устроили в интернат.

Семь лет я училась у одного педагога — Людмилы Павловны Сахаровой. Она сделала из меня — неопытной девочки — балерину. Все, чему научила Людмила Павловна, очень помогло в первые годы работы в театре, тогда я танцевала сразу в трех спектаклях: «Ромео и Джульетте», «Дон Кихоте», «Чудесном майдане». Для одного года работы это много, но, к счастью, сольные номера из этих балетов я готовила еще в училище с Сахаровой. Моя победа на конкурсе — это тоже заслуга Людмилы Павловны.

Жизнь на сцене Большого началась со «смотрины» в балете «Жизель». В этот день большое жюри одобрило мое существование в труппе Большого театра.

В Москве мне очень повезло. Я попала к известной балерине и замечательному педагогу Марине Тимофеевне Семеновой. В Большом хорошая традиция — знаменитые артисты с удивительной заботой и терпением передают накопленные знания и опыт своим питомцам. Марина Тимофеевна видит свое продолжение в учениках. Я бы сказала, что ей известны секреты высшего балетного искусства, каждый раз Марина Тимофеевна открывает для нас все новые и новые законы балета. Я говорю «нас», потому что с тех пор, как приехала в Москву, моим постоянным

партнером стал мой муж Слава Гордеев. (До этого я впервые выступила в паре с В. Гордеевым на Международном конкурсе артистов балета.)

Удивительно в Семеновой то, что она может показать не только за балерину — что и как нужно делать, но и за танцовщика.

Подготовка к спектаклям занимает у нас почти все время. Рабочий день начинается с девяти часов с класса, занимаемся, как школьники — это такой ежедневный тренинг. После разминки дневная репетиция на полтора-два часа. Перерыв, и снова репетиция, если вечером не заняты. А иногда и перед спектаклем бывают репетиции, в зависимости от того, какой балет и как мы к нему готовы. К каждому балету приходится готовиться по-разному, например, «Спящую красавицу» мы танцуем уже год и все время репетируем — перед каждым спектаклем как будто заново. Как ни странно, но классику готовить всего труднее. Вроде и порядок знаешь хорошо, и музыка вся «сидит» в тебе, и технически все можешь сделать, но что-то не получается. Над «Лебединым озером» работаем уже больше года, но кажется, что еще ничего не сделали.

Чисто классических спектаклей в нашем репертуаре осталось мало: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Дон Кихот», остальные балеты делаются стилизованными, и поэтому грань между классикой и современностью несколько стирается. Мне кажется, в современных спектаклях танцевать легче.

Правда, мы не всегда можем выбирать, в каком спектакле нам танцевать. Это решает балетмейстер, но придерживаться своего амплуа необходимо. Конечно, кроме амплуа, существуют и нужды театра в данном репертуаре. Бывает так, что мы хотим подготовить один балет, но не можем, потому что есть масса исполнителей на эту роль, и мы работаем над совсем другими спектаклями, где есть прорывы.

Новый балет «Ангара» Ю. Григоровича мы готовили почти полгода. Работа над «Ангарой» сразу увлекла и меня и Славу — ведь герои этого спектакля близки нам и по возрасту и по жизненным принципам. Мы как раз родились и живем в годы всех этих свершений, и музыка писалась в наше время. Кстати, очень помогали нам в работе над балетом воспоминания о поездке на Челябинский тракторный завод и другие крупные заводы нашей страны. Работая над образами, мы старались опираться на наши жизненные впечатления о тех людях, которых мы там встретили. Эту интересную для нас работу мы не успели показать до конца сезона в Москве. Тогда решили повезти спектакль в Алма-Ату, куда поехала на гастроли вся наша балетная труппа.

Можете себе представить, как мы готовились к премьере «Ангары». Танцевать первый спектакль в Казахстане, на незнакомой сцене, да еще перед новым зрителем... Перед гастролями так волювались, что не смогли спокойно провести свои десять отпускных дней. Три дня полного расслабления, а потом опять приступили к репетициям. Но самое приятное то, что работа не пропала даром. Это была премьера не только для нас, но чуть ли не для всего Казахстана. Народ в театр проникал разными путями, мне рассказали, как одна девочка так хотела попасть в театр, что пролезла через подсобное помещение. Билеты попытались ее задержать, и она потеряла башмачок, получилось, как в сказке о «Золушке», по этому башмачку ее и разыскивали.

Такое желание людей попасть в театр нас очень растрогало. Мы, артисты, всегда очень чувствительны к реакциям зрительного зала. Выходишь на сцену и буквально через пять минут ощущаешь, какой сегодня зритель. Бывают трудные спектакли, когда понимаешь, что зритель не твой, существует какой-то

барьер, отделяющий сцену от зрительного зала: иногда публика бывает неподготовленная или усталая. Тут и хочется что-то сделать, но не выходит. А когда зал настроен дружелюбно, отзывается на каждый удачно сделанный элемент, это подхлестывает, тут и силы неизвестно откуда берутся и желание еще чем-нибудь удивить. Конечно, во многом наше состояние зависит от того, насколько мы готовы к встрече со зрителем. Но мне кажется, и зритель должен готовиться к встрече с искусством. И еще хочу сказать, что признание, утверждение признания — вещь очень сложная. Я как-то всегда стараюсь не думать об этом, а выходить на сцену и танцевать... А там судить вам, зрителям!

Одна из моих последних работ — балет «Икар», который поставил Владимир Васильев. Очень важно для нас было, что мы работали непосредственно с ним. Когда танцуешь в балете, зная, что он был поставлен на какого-то танцора, который выступал в этом балете до тебя, — это одно, а когда получаешь все непосредственно из первых рук, от постановщика — это другое. Мне кажется, что поэтому «Икар» нам удался.

Того же мнения придерживается и сам Владимир Васильев:

«Я очень волновался перед премьерой. Мне хотелось, чтобы Павлова и Гордеев танцевали в этом балете не просто хорошо, а гораздо лучше, чем танцевали мы с Екатериной Максимовой. Это совершенно естественно, когда выходит новая пара, от нее ждешь большего, чего-то другого. Самое страшное для актера — это повторять уже готовые формулы, а вот искать все время новое — это необыкновенно интересно.

Первый спектакль меня очень и очень порадовал. Я подумал: да, уйдем мы, предположим, но спектакль будет жить, потому что появились актеры, которые необыкновенно интересно рассказывают о судьбе своих героев в этом спектакле. Линия спектакля осталась нетронутой, а вот художественного эффекта новые исполнители добились другими средствами. Например, в начале спектакля Икар поднимается над массой людей, лежащих иниц. У меня Икар — отмеченный судьбой, иекни полубог. А Икар Славы — такой же человек, как и все, он поднялся и удивлен: почему все лежат, его просто нитерес побуждает встать. Решения разные, но спектакль кончается тем, что Икар полетел. А вот как к этому он шел, зависит уже от исполнителя, от его возможностей — эмоциональных, физических, внутренних».

Прекрасно, когда замысел балетмейстера совпадает с возможностями исполнителя, как правило, из такого содружества получается хороший слав. Желание же станцевать балет, поставленный на тебя, не покидает ни одного солиста, по-настоящему любящего свое искусство.

Век балетных артистов очень короток, и каждый год работы на сцене Большого — это огромный отрезок времени, который их приближает к последней ступеньке, и поэтому велико желание артиста найти себя как можно скорее в своем балете, в своем спектакле. Надя Павлова сумела не раствориться в труппе Большого театра, выдержать сравнения с выдающимися мастерами, танцующими на этой сцене. За четыре года своей московской жизни она станцевала главные партии в девяти балетах: «Щелкучик», «Спящая красавица», «Спартак», «Любовью за любовь», «Дон Кихот», «Икар», «Эти чарующие звуки», «Ангара», «Легенда о любви». Во все эти партии Надя вносит обаяние своей индивидуальности — искренность, непосредственность и убежденность в том, что на сцене нужно жить!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ!



Писатель Анатолий Ананьев
удостоен Государственной
премии РСФСР имени М. Горького
1978 года

за роман «Версты любви».

Анатолий Ананьев —
давний автор «Юности».

В № 5 за 1964 год

была опубликована его повесть
«Козыри монаха Григория».



Критик и литературовед
Феликс Кузнецов удостоен
Государственной премии РСФСР
имени М. Горького 1978 года

за книгу «Переключка эпох».

Феликс Кузнецов —
автор нашего журнала.

**РЕДАКЦИЯ «ЮНОСТИ»
ЖЕЛАЕТ СВОИМ
ДОРОГИМ АВТОРАМ
НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ.**



КИРИЛЛ
НАБУТОВ

О ПОЛЬЗЕ НАХАЛЬСТВА

Нахальство обыкновенное, бытовое, назову его так, — это отдаленные ноги в грамме и пиво без очереди. Нахальство спортивное — это, в общем, тоже без очереди. Без очереди золотая медаль, когда все прочат тебе — перспективному, но зеленому — еще два года пребывать в вторых ролях. Нахальство — это смелость, кажущаяся безрассудной, но нет! Она построена на трезвом и холодном расчете. Это презрение к обстоятельствам, которые вместе с соперником хотят победить тебя; все случается: проколы велосипедных трубок, лобовой ветер и встречная волна, судья, свистящий в одну сторону, и мало ав какне неприятности подбрасывает никогда не предугадываемый спорт! Нахальство — это умение сориентироваться в оглушающе неожиданной ситуации, когда в голове мечется вопрос «Что делать, что делать?!», и тут в ответ на него приходит это единственное, подчас безумное решение.

Вот это, по-моему, и есть спортивное нахальство. Мне его всегда не хватало. Паничкой и тихоней я никогда не был. Кабинет директора школы моя мама нашла бы с закрытыми глазами и сейчас. Но вот в девятом классе, уже попробовав свои силы в баскетболе и футболе, я решил заняться академической греблей...

На одной из первых тренировок, когда я выносил из эллинга одиночку, тренер Олег Григорьевич Меньшуткин сказал: «А сейчас ты прикинешься с Андреем на пятьсот метров». И показал на здорового детину, отходившего от боя в своей «мышьнице» — пластмассовой тренировочной лодке. На языке гребцов «прикинуться» означает пройти наперегонки какой-нибудь отрезок. Особой радостю предложение тренера у меня не вызвало: соперник виушал уважение своими размерами, а у меня еще ни одна тренировка не обходилась без купания. О победе я и не мечтал. Главной задачей было не вывернуться из лодки. После старта выяснилось, правда, что соперник мой такой же «чайник». И все же я проиграл. Не мог представить, что обгоню такого здоровяка. Тренер подозвал меня к плоту и сказал



очень тихо: «А сейчас ты у него выиграешь и не вывернешься. Понял?» И пришлось мне забыть о том, что за бортом сентябрьская ленинградская вода, и выиграть.

Через год я поехал в Калинин на Всесоюзное юношеское первенство ЦС «Труда». Там предстояло выступать в двойке распашной без рулевого — лодке очень тонкой, требующей идеальной скатанности и точности в работе. И еще — внимания, особенно от первого номера — того, кто сидит ближе к носу. Ему по штату положено рудиться — к подвижной подножке на первом номере прикреплен рулевой трос. Стоит чуть двинуть ногой, и лодка меняет курс. Будешь невнимателен — зарулишься неизвестно куда. В нашей двойке эта обязанность — рулиться — была возложена на меня, и справлялся я с ней, что называется, из рук вон. А кроме того, я и мой загребной заметно отличались друг от друга, как принято теперь говорить, по антропометрическим данным.

Шура Орлов имел весьма солидные габариты, я же был тощ и, откровенно говоря, хил. Не был даже «сухим, но техничным» — так с некоторой иронией называют не очень мощных, но выносливых и координированных в гребле ребят. Ни выносливостью, ни особой техникой я еще не обладал. Впрочем, мой загребной этими качествами тоже был наделен не слишком щедро. Но в отличие от меня Шура оказался нахалом. Нахалом, естественно, в спортивном смысле. В жизни он и сейчас молчалив, мягко душой и незаметен, поскольку может быть незаметен двухметрового роста мужчина, весящий за центнер.

Так уж получилось, что в лодку мы сели вместе всего за три дня до гонки, и, ловя сочувственные взгляды ребят, я издевался лишь, что мы не будем последними. Однако и эти робкие надежды растворились после знакомства с будущими соперниками. Особо впечатляли коломенцы — они уже были кандидатами в мастера спорта. Квадратные плечи, витые канаты мышц и взгляды, доходчиво внушавшие, что в категорию друзей-соперников нам не попасть.

Да и какими мы были соперниками? Слон смотрел на муравья. На старт мне выходить совсем расхотелось. И я бы, наверное, не вышел, если бы не мой партнер. Как только я начинал разговор о нашем неотвратимом и жутком провале, он обрывал меня: «Мы будем в тройке. Будем бороться за первое место».

Уже после гонки, когда стоявшим рядом коломенцам вручали грамоты за второе место, я понял, что мы никогда бы не выиграли у них, не прими Саша это нахальное решение... Мы ушли со старта последними, и у нас оставался единственный шанс: без оглядки и ненужных раздумий броситься вдогонку — а там будь, что будет. Берем старт, затем «десять — выход», то есть десять мощных гребков, дающих лодке начальную скорость, и вместо того, чтобы «раскатить» ее на дистанционном ходу, в темпе этих десяти стартовых продолжаем погоню. Как мы ее прошли, эту гонку, не помню. Единственное, что видел, это маячившую слева сзади корму коломенской двойки. Они шли впереди всю гонку — с первых до последних гребков. Но самый последний остался все же за нами. Вместе с этим гребком я понял, наконец, что в спорте можно выигрывать, и, не будучи фаворитом, поверил в свои силы. На следующий сезон у меня были большие планы. Но сразу по возвращении из Калинин я сдал экзамены на факультет журналистики Ленинградского университета и чуть позже понял, что должен выбрать: журналистика или спорт. Я выбрал первое. Наверное, в душе чувствовал, что спортивного нахальства мне все-таки не хватает.

А то, что я буду спортивным журналистом, у меня не вызывало сомнений уже в третьем классе. Примерно к тому же времени относятся мои первые опыты на поприще спортивного репортажа. Комментаторской кабиной служила ванная. Я запираясь в ней и перед зеркалом вел репортажи о матчах футбольной сборной страны, в которых, естественно, играл сам чаще всего вратарем. Вымыть руки в нашем доме было тогда проблемой: из-за запертой двери доносился мой невнятный шепот, изредка прерывающийся ликующим: «Го-о-ол!»

Мне очень нравилось дело, которое делал мой отец: он был спортивным комментатором Ленинградского радио и телевидения. Я хотел быть на него похожим.

Мой отец был большим спортсменом. Можно развить силу или выносливость, но резкость и координацию движений — трудно, почти невозможно. Мою отцу все это было отпущено природой с избытком. Он был мастером спорта по баскетболу, волейболу и футболу. Известность приобрел как футбольный вратарь — играл за ленинградские «Динамо», «Красную звезду». Из всех своих матчей чаще всего вспоминал финал Кубка страны 1938 года: «Спартак» Москва — «Красная звезда». Хотя ленинградцы и проиграли, тот матч был «звездным часом» их двадцатилетнего вратаря — Виктора Набутова. О знаменитом блокадном матче, в котором отец участвовал, он мне особенно не рассказывал...

В семнадцать лет он со своей матерью — моей бабушкой — жил в Оренбурге. Его друзья потом рассказывали мне, что отец иногда вызывал на матч целую команду, полную волейбольную команду в шесть человек, и играл против нее один. И не было случая, чтобы он проиграл. Умение ориентироваться в сложнейшей ситуации и моментальную реакцию на все происходящее отец сохранил до конца жизни.

Спорт для него неожиданно закрыла травма. И перед ним — тогда уже человеком с дипломом отличника Электротехнического института — стоял

выбор: тренер, инженер или журналист. Последний вариант — попробовать себя на радио — был предложен совершенно неожиданно известным шахматистом Александром Толушем. Отец выбрал радио — в этом весь его характер: мгновенно прикинуть, что к чему, и без оглядки на былые успехи, нахально (не могу удержаться от этого слова) окунуться в незнакомую ситуацию.

Отец мне много рассказывал о своей работе. Помню его рассказ о том, как он летел в Мехико на чемпионат мира по футболу. Летел с пересадкой в Монреале. Но из-за плохой погоды самолет в Москве задержался, и когда они приземлились в Монреале, до вылета самолета на Мехико оставалось около десяти минут. Наш ИЛ-62 приземлился в одном конце аэропорта, а мексиканский самолет взлетал с другого. Остаться в Монреале было нельзя — не было канадской визы, а за нарушение паспортного режима в Канаде полагается две недели тюремного заключения. И тогда отец, бросив чемодан прямо на полосу, побежал к зданию таможни. Служащий аэропорта, взглянув на билет, не сказав ни слова, выпихнул отца в служебную машину и погнал к самолету. Отец вбежал на трап, когда тот уже должен был отчалить. Успел! Чемодан прилетел из Монреаля в Мехико через 4 дня. Перед отъездом из Москвы отец предусмотрительно наклеил на чемодан визитную карточку и напечатал сверху по-английски: «Мехико. Чемпионат мира по футболу. Пресс-центр».

Был еще случай в Гренобле. И о нем отец рассказывал со смехом, хотя там, в Гренобле, ему было не до веселья. На Гренобльской Олимпиаде комментаторов развозили «по точкам» на микроавтобусах. Управляли ими французские полицейские, гоночные по альпийским дорогам с бешеной скоростью. И однажды во время рейса к 70-метровому трамплину автобус опрокинулся в кювет. У двоих западногерманских журналистов было сотрясение мозга, американец сломал ногу, а моего отца — он тоже был в этой машине — вытащили с разбитыми локтями и коленями. Пострадавших упаковывали в санитарные машины. Но там, у трамплина, были другие комментаторы — из ФРГ и из США, а вот советских — никого. Отца заменить было некому. И когда его уже закатывали в машину «Скорой помощи», он спрыгнул с носилок и побежал, прихрамывая, к трамплину. Побежал, забыв в опрокинутом автобусе папку с протоколами и необходимой информацией. До трамплина было около полутора километров. До «эфира» — десять минут. Репортаж состоялся.

А в последний день той Олимпиады — уже на 90-метровом трамплине — ленинградец Владимир Белоусов, прыгавший одним из последних, после всех «главных», в первой же попытке улетел на 101,5 метра — дальше всех. Ему удалось и вторая попытка, и он завоевал последнюю золотую медаль Олимпийских игр. Возле Белоусова уже началось вавилонское столпотворение, но отец не мог предостеречь, чтобы кто-то другой взял первое интервью у его земляка, который преподнес такую сенсацию. Прихватив с собой двух дюжих французских телеоператоров, он с микрофоном в руках бросился в толпу. Решительно преодолев сопротивление западных коллег, они завладели Белоусовым, и наши зрители получили первое интервью с новым чемпионом.

Я часто смотрю на фотографию: шерстяная шапочка Белоусова, и рвущийся к ней через толпу с микрофоном в руках мой отец. Кто-то из знакомых сфотографировал его прямо с экрана телевизора...

Подобные рассказы отца я слушал очень внимательно и мотал на ус. Надеюсь, что буду следовать по его стопам. Боялся только, что окажусь слишком робок. Я уже понимал, что в спортивной журналистике хорошее нахальство столь же необходимо, как и в самом спорте.

Года полтора назад в Ленинграде, во Дворце спорта, проходили спортивно-театрализованные представления — этакая смесь спорта и эстрады. И среди номеров был интересный матч хоккеистов: сборная ветеранов против детской команды. На радио мне поручили взять интервью у одного из участников этого матча — Евгения Майорова. Главная трудность заключалась в том, что у меня не было служебного пропуска, а без него за кулисы не попасть. Что делать? Вижу, двое парней несут за кулисы какие-то ящики. На всякий случай раскрываю магнитофон, пристраиваюсь к ребятам и, проходя мимо контролера, небрежно бросаю через плечо: «Эти со мной — телекамеру несем». И хотя контролер вскоре понял, что к чему, я уже успел затеряться в закулисной толпе. Интервью прошло в эфир через несколько дней.

После этого случая я вроде бы преодолел барьер робости и смущения. Но скоро выяснилось, что сориентироваться в неожиданной ситуации и поймать нужного человека — это лишь половина дела. Нужно еще сориентироваться в разговоре, суметь «вытащить» из собеседника что-то по-настоящему интересное.

Мне поручили сделать репортаж о соревнованиях

борцов. Уже не теряясь, спокойно представляюсь главному судье. Он перечисляет: шестьдесят участников, восемь обществ... Записываю на магнитофон главного судью, а сам думаю, что пока у меня лишь голая информация. Спрашиваю: «Скажите, а никого из знаменитостей здесь нет?» — «Как же, вот Анатолий Александрович сидит». Я оборачиваюсь и вижу — Анатолий Рошин. В Ленинграде Рошина знают все. Олимпийский чемпион в сорок лет! На двух Олимпиадах быть вторым и дожидаться-таки своего часа! «Не волнуйся, — говорю себе, — главное — решительнее...» «Извините, я вам не помешал? Нет? Ну, так будьте любезны, ответьте на пару вопросов». И подхожу к Рошину.

— Извините, Ленинградское радио. Я вам не помешал?

— Нет. Тебе что?

— Да вот пару вопросов хотел...

— Пошли, — сказал Рошин и встал.

Я чуть язык не проглотил. Может, Рошин и не выше меня ростом (я не гигант, конечно, но все-таки длинный — 193 сантиметра), но шире раза в три. Передо мной стоял Большой человек, и я растерялся. Стою как вкопанный, а Рошин спокойно на меня смотрит и говорит, улыбаясь: «Ну что, записываться-то будем, а то там схватка начинается?» И тут с языка сорвалось: «А как вы стали таким здоровым?» Рошин рассказывал целый час...

Не знаю уж, какой спортивный журналист из меня получится, но я буду заниматься этим делом и дальше. Я вам кажусь нахалом?..



Анна МАЛЫШЕВА,
ученица 9-го класса.

НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ ОТ САНИ ВАСИЛЬЕВА

Я, нервно поглядывая на часы, надевая на себя длинное платье, странные туфли на тоненьком каблучке, весеннюю шляпку с тряпичными фиалками, хватаю в руки выходную сумочку, наплечную и кидку и бегу к двери. И вдруг мне становится страшно. «Боже мой, — думаю я, — неужели я смогу выйти на улицу в таком виде совсем одна? Ни за что!» Я возвращаюсь в комнату, хватаю телефонную трубку, набираю номер... «Саня? Сань, я не могу!» Санька торопится, нервничает, но сразу понимает, в чем дело. «Хорошо, мы заедем за тобой».

И через полчаса я присоединяюсь к шумной компании, и мы отправляемся по Москве.

Мы входим в троллейбус. Лица у нас серьезные, изредка кто-нибудь хихикнет, и сразу же вновь принимает степенный вид. Накидки, цилиндры, шляпки с вуалями, кружевные зонтики — все это бросалось в глаза. Наше шествие вызвало у прохожих удивление, растерянность, иногда даже испуг, но никто не смеялся. Если бы не дети, которые хохотали, кричали ура, хлопали в ладоши и еще множеством способов выражали свой восторг, мы бы пришли в полное уныние. Дети нас спасли, точнее, спасли наше хорошее настроение.

Нельзя сказать, что на нас были наряды, характерные для той или иной эпохи, если вдуматься — глупее костюмов и не придумаешь.

В наряде каждого из нас было намешано все, начиная от первой четверти XIX века и до двадцатых годов нашего столетия. Придумал этот весенний маскарад герой моего очерка Саня Васильев, студент постановочного факультета школы-студии МХАТа. Лично он шествовал в длинном клетчатом коричневом пальто, в старомодной шляпе и в пенсне...

Очутившись впервые в Саниной комнате, я была и удивлена, и поражена, и просто ошарашена. Тут представлена во всей красе гармония «века нынешнего и века минувшего». Представьте себе, что вы входите в комнату, со вкусом обставленную старинной (но все не роскошной) мебелью, на стенах множество фотографий (тоже старинных), громко тикают часы (несомненно, прошлого века), а все это завершает (или, наоборот, предвещает) тяжелая бронзовая люстра, которую можно обойти вокруг и осмотреть, не поднимая головы. На внутренней стороне двери прикреплены металлические дощечки различной формы. Это эмблемы русских страховых обществ, которых в России было, кажется, восемь, а в Саниной коллекции пока шесть. Говорю пока, потому что не сомневаюсь, что со временем их будет ровно столько, сколько нужно, даже если извлечь их придется из-под земли.

Всякий, кто входит в эту комнату, понимает, что живет в ней не столетняя старушка, в порядке хранящая вещи своих предков, а самый что ни на есть современный и уж, конечно, не старый человек.

Сейчас Сане 20 лет. Но речь о нем как о знатоке и коллекционере антиквариата зашла еще 4 года назад.

Болгарское телевидение готовило цикл передач об интересных людях нашего города, и на Центральном телевидении болгарским коллегам рассказали про Саню. В детстве Саня снялся в нескольких телевизионных спектаклях, а в спектакле «Женька наоборот» сыграл даже главную роль. А в 1970 году на телевидении появилась новая передача — театр «Колокольчик». Спектакли этого театра были адресованы детям, и играли в них тоже дети. «Директору театра» Сане Васильеву со всех концов страны приходили письма. Было письмо и с таким адресом: «Москва, в редакцию, директору Сане Васильеву». И ведь дошло — вот каков был размах его популярности! А когда Саня стал уже большим мальчиком, ему продолжали писать на телевидение, но теперь — в «Будильник».

Однако, побывав в гостях у Сани, болгарские коллеги заинтересовались прежде всего его коллекцией антиквариата. А за четыре прошедших года коллекция основательно пополнилась, и тот, кто не был у Сани, не может себе даже отдаленно представить, что это за коллекция.

При слове «антиквариат» представляются обычно канделябры екатерининских времен, старинные подсвечники, огромные книги с золотым обрезом в потертых кожаных переплетах, гостиные и ломберные столики на причудливых крученых ножках, потемневшие картины в тяжелых рамах и многое-многое другое. Словом, все то, что можно купить в антикварном магазине, увидеть в музее, разглядеть на старой фотографии. Но Санин энтузиазм направлен прежде всего на предметы быта былых эпох.

Что такое быт? Мы порой слышим: бытовые проблемы, бытовые неурядицы, человек ведет себя так-то и так-то в быту. И часто это слово звучит с осуждением, как противоположность чему-то высокому и прекрасному. Я, например, часто слышала о людях, которые не могут «подняться выше быта». А за годы общения с Саней впервые поняла, что слова «быт» и «быть» — однокоренные.



Быт — это все, что было когда-то и что есть сейчас. Конечно, великая музыка не быт, и гениальная картина тоже, но без палитры, красок, кистей художник не создаст полотна, а музыкант не донесет до слушателей свою мысль, если не будет располагать нотами и инструментом. Все это — предметы их быта. И все равно в слове «быт» остается какой-то неодобрительный оттенок, поэтому мне нравится, когда Саня, разговаривая о своей коллекции, говорит не «быт», в «материальная культура».

Я не сомневаюсь, что молодая чеховская героиня могла бы от-

правиться с любым визитом в любой дом прямо из квартиры Сани Васильева и с ней не случилось бы никаких комических историй, как с иными героями, попавшими по воле автора не в свою эпоху.

Она падела бы подходящее случаю платье, перчатки, накинула бы на плечи ажурную кружевную шаль, положила бы в свою театральную сумочку биполь, надушенный посовой платок, программу предстоящего концерта,

Вверху на снимке вы видите Саню в облике молодого человека тридцатых годов прошлого века.

Фото С. СЕМОВА.

захватила бы зонтик на случай плохой погоды, а Саня, как и подобает воспитанному молодому человеку, поджидал бы ее тем временем в передней, держа в руках трость и цилиндр. Конечно, в концерте он не позволил бы ей самой тратиться на лимонад и шоколадные конфеты. Представим далее, как, проводив ее домой, он оставляет ей свою визитную карточку и грустно отправляется в скромную студенческую келью, где рядом с элегантным фраком пристроился неуклюжий уют. Он ставит самовар, машинально берет из дешевой жестяной коробочки леденец. Перед сном он заметит, что пуговица на паволочке плохо держится, и, достав иголку с ниткой, не очень умело пришьет ее на место.

Как вы, очевидно, догадываетесь, все только что перечисленные бывшие предметы — от платья, туфлей, зонтика и цилиндра до белевых пуговиц, фантика от конфеты, коробки из-под леденцов и концертной программы — я видел у Сани. Что же касается утюга, то их у Сани несколько, так же, как самоваров, кошельков, флаконов из-под духов. Но это лишь небольшая часть его коллекции.

Когда Саня, учась в десятом классе, работал при этом в театре «Современник» бутафором, он изучил все старые дома и дворы в районе Чистых прудов и Покровских ворот. В одном из этих дворов он высмотрел на помойке старую фотографию. Выяснилось, что это портрет Надсон и что эта самая фотография воспроизведена в четвертом томе пятитомной «Истории русской литературы XIX века». А Саня нашел оригинал...

В картотеке его находок и две тысячи спичечных коробков из шестидесяти девяти стран мира. Среди них экспонаты начиная с первых лет двадцатого века и до наших дней. Недавно Саня решил подарить свою коллекцию спичечных коробков музею.

А Санява коллекция старинных фотографий и открыток, начиная с первых русских дагерротипов, просто редкостна. В рамках на стенах висят лишь незначительная ее часть, а остальные разложены по специальным коробкам, шкапулам, ящичкам и распределены в точном порядке. Если же говорить о коробках и шкапулах, нельзя не вспомнить небольшую тумбу из карельской березы, которая скромно стоит в Саняной комнате. Впервые, Саня почти рисковал жизнью, когда по обледенелой крыше старого дома спустился за ней в запертый двор.

Кто-то выбросил ее туда за ненужностью, а иначе проникнуть во двор было невозможно. Во-вторых, он сам привел ее в порядок. А, в-третьих, теперь в ней хранятся самые разные принадлежности для реставрации дерева, металла, бумаги, тканей и т. д. Одна из шкапулок, в которых хранится часть Саняной коллекции, буквально возрождена им. Выглядит она как кованый сундучок, оббитый крест-накрест тончайшими полосками металла, создающими строгий геометрический рисунок. О первоначальном виде шкапулки, когда она попала в руки Сани Васильеву, можно было только догадываться. И он восстановил ее не только снаружи, но и изнутри, потому что, если «истерся» металл, можно предположить, что стало с шелковой обивкой...

Если ломают старые московские дома, Саня терпеливо ждет момента, когда начнут вскрывать пол, потому что под полом могут оказаться мелочи, бесценные для него: фантики, старые трамвайные билеты, старые пуговицы, конверты, вязальные спицы, швейные иглы, дешевые очки или пенсне и прочие предметы, которые не поступают в антикварные магазины, не хранятся у потомков как реликвии, а выбрасываются как хлам.

А недавно Саня Васильев принял участие в работе над фильмом «Любовное письмо лорда Байрона». В его задачу входило создать интерьер жилого дома в Нью-Орлеане на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Оказалось, что специалистов в этой области найти очень сложно. Саня не только помог создать этот интерьер, но и предложил для съемок кое-что из своей коллекции. В титрах этого ВГИКовского фильма значится: «Консультант по материальной культуре А. Васильев».

Как-то он пришел после просмотра фильма «Нос» — еще до того, как его показали по телевидению. Долго рассказывал, и ясно было, что это интересно посмотреть. А Саня полусерьезно говорит: «Нет-нет, мне лично нельзя смотреть такие вещи!» «Почему?» «А я все критикую. Вот вроде бы все верно, и дома сияты те, что стояли в прошлом веке, и люди одеты правильно, и вывески старые висят, а ведь внутри домов — все изменилось!» «Господи, Саня, при чем здесь внутренности домов, когда снимают улицу?» «Как это при чем?! Все равно ведь видно: то форточка марлей изнутри затянута, то завески не те сквозь стекла просвечивают. И получается вроде бы и девятнадцатый век, да не совсем».

То же самое было после телевизионных «Двенадцати стульев». И обивка на стуле оказалась не совсем та, и слишком она была новая, хотя стулья уже побывали в употреблении, и цветочки на обивке как-то не так расположены — на Саню трудно угодить. И с его стороны это не мелочные придирки. Просто, мне кажется, он и в самом деле каждую эпоху видит глазами того времени, и у него это получается само собой.

Человеку свойственно увлекаться, и это прекрасно. Но вот как иногда бывает. Я, например, знаю мальчика, собирающего марки. И огромный отдел в его коллекции — марки по искусству. А он, живя в Москве, ни разу не был в Третьяковке, и слово «искусство» для него ничто. Просто однажды кто-то принес ему марку с изображением известной картины, потом другую, третью, и он начал их собирать. Он обожает свою коллекцию, знает ценность каждой марки, а мне иногда хочется спросить: ну и что? У него уже выработалась привычка собирать, но ведь начини он в свое время коллекционировать марки, а монеты, он с такой же страстью отдался бы нумизматике. Или завешал бы всю комнату значками. А Саня — прямая противоположность таким коллекционерам. Уже сейчас, в свои двадцать лет, он прекрасно чувствует время, он умеет соединять время и вещи, старину и современность. Он консультирует фильм, оформляет сцены из толстовского «Воскресения» в школе-студии МХАТа, ставит учебный спектакль «Виват, королева, виват!» по пьесе Роберта Болта, а по вечерам терпеливо реставрирует парижский веер середины прошлого века и страховые перья...

Я не верю, что мы можем поссориться, но если это случится, то лишь потому, что я никак не соглашаюсь поехать с ним в один подмосковный городок за дореволюционными журналами мод. Ехать туда надо три часа на электричке, а потом на чердаке холодного загородного дома искать это «сокровище». Каждую субботу Саня звонит, и первая его фраза: «Завтра в девять утра встречаемся на вокзале». А я отговариваюсь изо всех сил — уроками, делами, днями рождения друзей и родственников. Но самое интересное, что мы, конечно, из-за этого не поссоримся и, конечно, совершим эту экспедицию. Тут уж мне никуда не деться.



МАРИЯ
СОРИАНО



УВИЖУ ЛЬ Я ТОТ БЕРЕГ ДАЛЬНИЙ?..

Рисунок Е. БОГОЛЮБОВОЙ.



— В от видишь, замок с башней? Это твой. Тут балкон с видом на море, чтобы ночью ты могла видеть лунную дорожку... А вот ты сама. На белой лошади въезжаешь по перекидному мосту. Ты одета в длинное платье синего цвета... Послушай, а почему ты все время в джинсах ходишь? Я понимаю, так удобней, но ведь это не женственно... Ну ладно, смотри, вот это я — твой верный паж — держу на красной бархатной подушке ключи от замка... А на крыше башни я посажу три березы и поставлю телескоп...

Никита самозабвенно рисовал город, который собирался назвать своим именем, а я смотрела то на его рыжую макушку, то в свою тетрадь по обществоведению. Минутами мне казалось, что я слышу топот копыт, шум прибоя, чувствую запах водорослей...

— Здесь будет главный городской собор, соединенный переходом с твоим замком. Видишь? Ты сможешь ходить туда-обратно когда захочешь. Вот переход из собора в большой замок, где буду находиться и управлять городом я, твой покорный слуга... А вот крепостная стена. Я ее поставлю таким образом, чтобы у меня под стенами замка проходил канал. Как в Венеции.

Он все бубнил и благоустранивал, благоустранивал, и я тщетно пыталась сосредоточиться, услышать, что нам диктует историк.

Потом я вдруг подумала, как будет здорово, если ко мне в этот город придет Андрей... Но город, кроме моря, никак не был связан

с миром, а порт еще был недостроен, и я сказала:

— Никит, мне нужен аэродром, может, я захочу куда-нибудь вылететь...

Никита немного растерялся. Видимо, он не предполагал, что я могу пожелать от него куда-нибудь улететь.

— Ты понимаешь, — сказал он, — на аэропорт у меня нет места. Вот только если мы выведем его за черту города... Я назову его твоим именем!

Он нарисовал четырехугольник и написал на нем «Аэропорт Аня».

— А сейчас мы проведем железную дорогу...

...Я услышала стук колес, говор тысяч людей. Представила, как Андрей вышел из поезда и, щурясь, оглядывается. Потом, пожав плечами, неторопливо идет куда-то в глубь вокзала... За этот год, что мы не виделись, он совсем не изменился...

— Подавляющая часть населения страны занята в различных отраслях народного хозяйства... образования... культуры...

А это наш историк.

Наконец я его услышала. Нужно хоть чего-нибудь записать.

— Вот здесь вот будет сад, — это шепчет Никита. — Прямо перед твоими окнами. Ты сможешь гулять в нем, когда захочешь. А чтобы в сад не заходил никто чужой, мы загородим его забором. Ключи от ворот будут лежать у меня...

Никита оторвал клочок бумаги, нарисовал на нем ключи и спрятал клочок в карман.

Забор постепенно превращался в глухую каменную стену...

— Никита, перестаньте разговаривать, — заворчал историк.

— Давай я его повешу, — прошептал мне Никита.

— Нет.

— А все-таки я его вздерну. В следующий раз не будет делать замечаний. — Никита нарисовал виселицу и на ней какую-то букашку. Это был наш историк.

— Как жестоко, Никита!.. Он был неплохим человеком.

— Не расстраивайся. — Никита ласково поглядел на меня, зачеркнул виселицу и занялся строительством порта.

...Море вечерами светилось, а звезды были яркие-яркие. Иногда они падали... В кустах летали светлячки, а песок был еще теплый... Мы с Андреем шли по воде и ели груши. И мне казалось, что в мире уже ничего не существует — ни замка, ни историка, ни Никиты...

А тем временем город постепенно превращался в крупный аграрно-индустриальный центр. Я поняла, что Андрей сюда уж точно не придет. Что ему тут делать?

— ...его действие ведет к расслоению товаропроизводителей и товаровладельцев... — это опять наш историк.

«Когда же он кончит? Ведь уже два часа... А на улице солнце. Снег тает. Вечером он опять замерзнет. А у меня дел куча, — думала я. — Надо к Стасику заглянуть, взять билеты по физике, купить картошку, кефир. Еще надо бы к Ирке в больницу зайти...»

— Главную улицу в городе я

тоже назову твоим именем, — сказал Никита.

...На море начался отлив. На песке лежало несколько янтарей, очень похожих цветом на мед, который я ношу Ирке в больницу... Я вышла из башни на балкон. Внизу плескался канал, а по нему прыгали солнечные зайцы. Из сада шел Андрей, нес два апельсина и напевал: «Кило крупы... мешок муки... тарелка супа...» Увидев меня, он помахал апельсинами и сказал: «Лисица видит сыр — лисицу сыр пленил». «Сосед соседа звал откупать...» — крикнула я ему...

— Вот здесь вот будет зоопарк. Ты каких животных больше любишь?

— Обезьян.

— Нет, обезьяны не годятся. Они очень на нас похожи. Пусть лучше в зоопарке будут жирафы. Правда, жирафы экзотично?

Зазвенел наконец долгожданный...

— Вы свободны, — провозгласил историк.

В одно мгновение я бросила тет-

радь в сумку и приготовилась бежать.

Никита схватил меня за руку. Это значило, что целый час мы будем выяснять отношения. А наши отношения были выяснены еще в детском саду...

Никита вдруг скомкал бумажку с городом и бросил ее на пол. Потом он, наверное, подумал, что не следовало бы это делать на моих глазах. Он хотел нагнуться, поднять ее, но передумал и сказал:

— Я тебе завтра другой нарисую...

— Пусти, я спешу.

— Куда? — заботливо спросил он.

— Ну пусти, дел много...

— А мне надо с тобой поговорить...

— Никита, мне некогда. Отпусти, пока не получил.

— Вот, действительно, бог создал женщину в минуту отчаяния. Ты глупа, сколько лишних слов сказала. За это время мы бы уже обо всем договорились.

В городе все пылало. Горел вок-

зал, порт, собор, сад рядом с моим замком... В аэропорту что-то взрывалось. Люди, топча друг друга, бежали к морю. Но на море поднялся шторм, и все утонуло...

«Уж утро холодное сияло на темных полированных гор, но в дивном замке все молчало», — декламировал по радио приятный мужской голос, знающий себе цену. Я жарила яичницу и вспоминала, что еще мне нужно было сделать. Ко мне подошла сестра.

— Ты знаешь, — сказала она, — если лист ватмана свернуть в трубочку и приложить к уху, он шумит, как морская раковина. На, послушай...

— Положи на место! И не трогай мои вещи! — закричала я на нее.

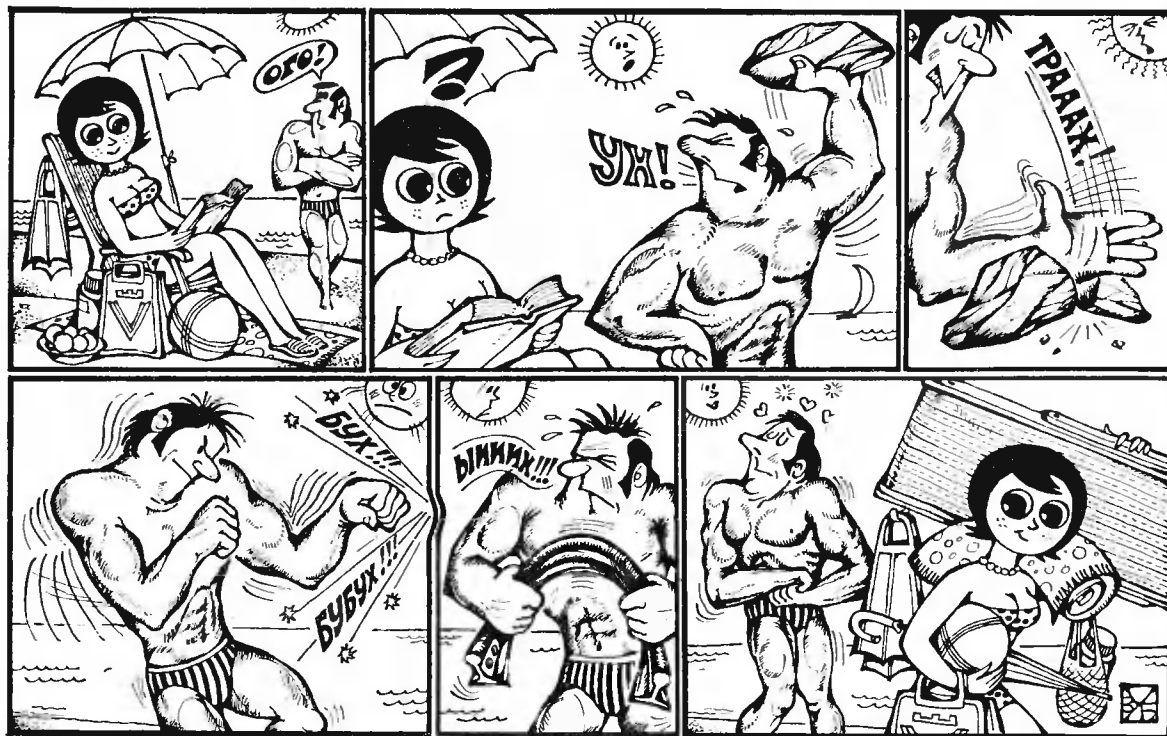
Поздно вечером, когда я мыла пол и повторяла про себя особо важные даты из истории нашей страны, вдруг позвонил Андрей. Он сказал:

— Поехали летом в Прибалтику.

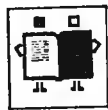
— Там нет жирафов, — ответила я и повесила трубку.

КОМИКС ГАЛКИ ГАЛКИНОЙ

Рисовал В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ.



В НОМЕРЕ:



ПРОЗА

ЭЛЬЧИН. Туман Шушу окутал. Рассказ	7
Сергей ЕСИН. «Р-78». Повесть	20
Лев ХАХАЛИН. Шаровая молния. Повесть. Окончание	51



ПОЭЗИЯ

Агния БАРТО	5
Павло МОВЧАН	16
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ	17
Елена АНАНЬЕВА	19
Виталий КИСЛОВ	48
Николай СТАРШИНОВ	49
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ	74
Владимир МОЩЕНКО	78
Виктор ПОТИЕВСКИЙ	97



ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий КОРОТЕНЬКОВ. Превзойди учителя!	2
Алексей ФРОЛОВ, Юрий КОЗЛОВ. Свидание на Кичере «Любовью дорожить умеете...»	83
	91



КРИТИКА

Мария ПРИЛЕЖАЕВА. Строгий и добрый талант . . .	73
П. САНИН. «Западают в душу, как стихи...»	77
Александр КАМЕНСКИЙ. Опыт Сарьяна	79
Олег ПОПЦОВ. Будущее—в настоящем	94
Леонид БАХНОВ. Пушкин и драма	96
Круг чтения (рецензии М. Борщевской, Т. Кузовлевой, О. Гарибовой, А. Арканова)	98
И. ДЕЛЯТИНСКИЙ. Надя Павлова: «Это счастье — работать в Большом...»	102

На 1—4-й стр. обложки рисунок В. А. БЫЛИНКИНА.

Главный художник
Ю. А. Циншевский.

Художественный редактор
О. С. Коккин.

Технический редактор
Л. К. Зябкина.



ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Людмила КИСЕЛЕВА. «Мне повезло...»	100
--	-----

Рукописи не возвращаются.



СПОРТ

Кирилл НАБУТОВ. О пользе нахальства	105
---	-----

Сдано в набор 19.01.79.
Подп. к печ. 21.02.79.
А 10433.
Формат 84X108^{1/16}.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,82.
Тираж 2 805 000 экз.
Изд. № 550.
Заказ № 104.



ФАКТЫ И ПОИСКИ

Анна МАЛЫШЕВА. Никуда не деться от Сани Васильева . . .	107
---	-----



ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Мария СОРИАНО. Увижу ль я тот берег дальний!.. . . .	110
Комикс Галки Галкиной	111

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты
«Правда»
имени В. И. Ленина.
125863, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



ТАШКЕНТСКАЯ ОЛИМПИЙКА

«Бегущая олимпийка» — мозаичное панно на фасаде спортивного комплекса ДСО «Трудовые резервы» в Ташкенте — одна из первых в стране монументальных работ, посвященных Олимпиаде-80. Ее авторы — московские художники Л. Г. Полищук и С. И. Щербинин.

Их новая работа поражает своими грандиозными размерами: 624 кв. метра из 2,5 миллиона наклеенной смальты, весом более 20 тонн. Пожалуй, в практике европейской и даже мировой монументальной живописи это единственная по своим размерам фигура, которая занимает такую громадную плоскость. Но было бы упрощением монументальность этого образа сводить к величине его метража. Общеизвестно, что лучшие творения величайших мастеров кисти и резца всегда были в подлинном смысле монументальны, независимо от размеров.

«Бегущая олимпийка» — это внутренняя гармония целого и единичного, когда само единичное (любой фрагмент панно) через целое (образ) становится всеобщим (мир и время, в котором оно живет). Здесь точно соблюдена мера искусства как со стороны формы, так и со стороны содержания.

Панно удачно вписывается в сооружение, не выходя от стремительно несущихся вверх железобетонных конструкций и кончая их логическим завершением в виде геометрически четкой сетки-блокировки на самом изображении.

Художники Полищук и Щербинин органически завершили (а может быть, и обозначили) своим панно архитектурную структуру самого здания, его современные линии и пропорции. Монументальность на этом уровне приобретает свойство гармонии самой формы, образа. Монументализм панно, его романтическая возвышенность находят свое завершение и продолжение в окружающем мире, когда изображение стремительно летящей фигуры не замыкается в графическом прямоугольнике фасада здания, а, наоборот, сливается с небесами, травами, птицами, солнцем, самим обликом древнего и юного Ташкента.

Илья КЛЕЙНЕР.



Ціна 50 коп.

Індэкс
71120

